

№ 3(15). 2016

Берега



Калининград

Берега

Литературно-художественный и общественно-политический журнал

Цитата номера

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит.
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!...»

Федор Тютчев

Из стихотворения «Наш век»

**Июнь 2016 № 3 (15)
Калининград**

Главный редактор: Лидия Владимировна Довыденко
Телефон: +7 9118630467
E-mail: dovidenko_L@mail.ru, <http://www.dovydenko.ru>

Редакционная коллегия:

- Григорий Блехман** — член Союза писателей России
Дмитрий Воронин — заместитель главного редактора, раздел «Проза»,
E-mail: pimin00@rambler.ru
Игорь Ерофеев — член Союза писателей России
Николай Иванов — член Союза писателей России, сопредседатель Правления
Союза писателей России
Александр Казинцев — член Союза писателей России, заместитель
главного редактора журнала «Наш современник»
Сергей Кириллов — писатель, поэт, публицист
Валентин Курбатов — член Союза писателей России, член Совета
по культуре при Президенте РФ
Александр Николашин — заместитель главного редактора, ответственный
редактор
Александр Новосельцев — член Союза писателей России
Андрей Растворцев — член Союза писателей России
Вадим Салеев — доктор философских наук, профессор, главный редактор
журнала «Артефакт» Белорусской государственной академии искусств
Светлана Супрунова — заместитель главного редактора по разделу «Поэзия»,
E-mail: suprunova60@rambler.ru
Владимир Шемшученко — член Союза писателей России

Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 39-00302 от 24 сентября 2014
Дата выхода номера в свет: 15 июня 2016 года
Тираж: 1000 экз.
Адрес редакции, издателя: 236010, Калининград, ул. Белинского, 44-58
Учредитель: Довыденко Лидия Владимировна, адрес:
236010, Калининград, ул. Белинского, д. 44, кв. 58
Цена свободная
Издание предназначено для лиц от 12 +
Дизайн обложки — Анна Степанова
Фото на обложке Валентины Архиповской
Вёрстка — Елена Балантаева
Отпечатано в типографии ООО «График Артс»
г. Калининград, проспект Мира, 5, тел. 92-14-90, e-mail: 921490@mail.ru
При перепечатке материалов, в том числе использовании их в электронных СМИ,
ссылка на журнал «Берега» обязательна.
Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных материалов,
может не разделять точку зрения опубликованных авторов.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Правила подачи материалов в журнал «Берега»

Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях. Присылаемые рукописи должны быть сохранены документом Word (шрифт — Roman, кегль 14, межстрочный интервал — 1). Текст не форматировать, не подчеркивать, разрешается части текста выделять курсивом. Файл называть своей фамилией, в начале текста — краткие сведения об авторе — *курсивом*. Решение о публикации принимается редакционным советом журнала.

СОДЕРЖАНИЕ

Проза

Александр Пономарев. Прозрачное небо Сирии. <i>Повесть</i>	6
Анатолий Байбародин. Скотник Еремей. Одинокая бродит гармонь. <i>Рассказы</i>	17
Михаил Тарковский. Стройка бани. <i>Рассказ</i>	43
Александр Новосельцев. Бахтинские записки. <i>Начало. Продолжение в следующем номере</i> ...	62
Юрий Жекотов. Ревнивое море. <i>Рассказ</i>	74

Поэзия

Геннадий Иванов. <i>Стихи</i>	78
Сэда Вермишева. Со всей страной говорить... <i>Стихи</i>	83
Сагидаш Зулкарнаева. У каждого на свете есть причал... <i>Стихи</i>	87

Берега малых жанров

Священник Николай Толстик. Приходинки	91
Владимир Молчанов. Литературные байки	100

Калининградские берега

Леонид Глинский. Над Неманом зарниц далёких всполохи... <i>Стихи</i>	106
Маргарита Беседина. Сказ про нас. <i>Поэма</i>	110
Анатолий Мартынов. <i>Стихи</i>	113

Берега памяти

Валентина Киселёва. Мое босоное детство	115
--	-----

Молодые берега

Алина Серегина. И мне покажется.. <i>Стихи</i>	133
Евгений Соя. <i>Стихи</i>	135
Евгений Журавли. Естественна ли поэзия для мироздания? <i>Беседа с поэтом Евгением Соя</i>	137

Берега культуры и искусства

Протоиерей Георгий Бирюков. Русские победы на полотнах Александра Коцебу	145
Михаил Федоров. Встреча с Василием Паниным и Евгением Дога	149
Александр Федоров. «Сердце города» как мечта калининградского либерала... ..	158

Русский мир без границ

Берега Лондона — Москвы

Никита Лобанов-Ростовский. Юбилей Ильи Зильберштейна в ГМИИ им А.Пушкина	162
---	-----

Берега Лос-Анжелеса

Анатолий Берлин. <i>Стихи</i>	171
--	-----

Берега Аризоны

Натали Гагарина. Жизнь как шаттл. <i>Очерк</i>	174
---	-----

Берега Парижа

Елена Лебедева. В Русском доме под Парижем в 2014 году	179
---	-----

Критика

Григорий Блехман. «Земля — это берег надежды»... <i>О творчестве Геннадия Иванова</i>	186
Людмила Поликарпова. У слова есть не только будний смысл... <i>О творчестве Юрия Куранова</i>	190

Бережок

Александр Мамнев. Как Турунька-Бурунька на охоту ходила. <i>Сказка</i>	194
---	-----

Наши друзья

Советуем почитать	196
Подписка и приобретение журнала	196

Калининград

Жилой комплекс **«Цветной Бульвар»**



Монтаж бронзового фонарищика. Скульптор Николай Фролов

Запишитесь на экскурсию по Цветному Бульвару
8 (4012) 37-99-96

Красота и тщательная планировка архитектурного ансамбля
из семи домов в стиле неоклассицизм,
особое внимание к житейским мелочам делают **«Цветной бульвар»**
жилым новым поколением.

Офис продаж:
Калининград, ул. Артиллерийская, 71.
(здание у стройплощадки комплекса)
Телефон: 8 (4012) 37-99-96
Email: cb39aip@gmail.com

Веб-сайт: <http://www.cb39.ru>
Местоположение:
ЖК «Цветной Бульвар», Артиллерийская ул. 71-83



Проза

Александр Пономарёв



Александр Пономарев — член Союза писателей России, Межрегионального Союза писателей Украины, Конгресса литераторов Украины, член-корреспондент Крымской литературной Академии. Его произведения публиковались в журналах: «Берега», «Молодёжный вестник», «Нева», «Луч», «Неоновый Город», «Подъём», «Доля», «Русское Эхо», «Театральный мир», «Петровский мост», «Жеглов-Шарапов и К», «Балтика», «Театральный вестник», «Слово писателя», «Саровская пустынь», «Двина», в литературных альманахах «ЛитЭра». А также более чем в 20 интернет-изданиях России, Украины, Белорус-

сии, Германии, Финляндии, США, Греции. Лауреат национальных и международных литературных конкурсов «Золотое перо Руси -2009», «Славянские Традиции – 2011», «Большой Финал – 2011», «Русский Стиль – 2012», Литературного конкурса на приз Президента Международной гильдии писателей «Её Величество книга», литературного конкурса МВД России «Доброе Слово» 2011, 2012 и 2015 годов, «Славянская Лира – 2014», «Славянские Традиции – 2014». Дипломант международных литературных конкурсов «Славянские Традиции – 2010», «За далью – даль – 2015»

Прозрачное небо Сирии

Повесть

*Посвящается Герою России,
подполковнику российских военно-космических сил
Олегу Анатольевичу Пешкову и его товарищам...*

Я вижу перед собой своих предков —
всех до единого. Они зовут меня.
Они призывают меня к себе в чертоги Валгаллы,
туда, где храбрецы живут вечно.

Молитва древних викингов перед смертельным боем

Небо над Каспием

Когда винты самолёта высвистывали блюз, Олег любил вспоминать что-нибудь: приятное или не очень. Он уютнее уселся в кресле и, расшнуровав ботинки, вытянул ноги. Пальцы, затекшие от долгого сидения в одной позе, приятно заныли.

Когда он заболел небом? Он не помнил. Наверное, ещё там — в Косихе. Олег родился в селе Косиха, что на Алтае. Воспоминания далёкого детства почти совсем стёрлись из его памяти. Он помнил только большой бревенчатый дом с резными ставнями, запах угольного дыма да салазки, на которых с братом Саней лихо съезжал с горки.

И ещё отца Анатолия Григорьевича. Он приходил всегда поздно, когда на улице было совсем темно. От отца пахло морозом и крепким табаком. Олег с Саней наперегонки бросались к нему, а он хватал их и высоко подбрасывал к потолку. От этого у Олега сердце падало куда-то вниз, а дыхание перехватывало. Наверное, тогда он и испытал первое, самое первое чувство полёта. Отец колот Олега щетиной и, поставив сыновей одного за другим на пол, говорил: «А что, мать, у нас сегодня на ужин? А то так есть хочется, что и переночевать негде!» — и смеялся — весело, с перекатами.

Счастливая мама всегда улыбалась, и от этого Олегу становилось приятно, что отец смеётся, а мама вот так по-доброму улыбается.

А потом все садились за стол и начинали есть суп. Супа Олег не любил, но эти семейные вечера ему очень нравились.

Отец погиб через несколько лет в автокатастрофе. Как это было? Уже не вспомнить. Утром, когда Олег и Саня ещё спали, пришли незнакомые женщины и стали завешивать простынями зеркала. А мама стояла рядом и комкала в руках старую пуховую шаль.

— Командир, мы сейчас где? — на Олега с соседнего кресла смотрел штурман Костя Мурахтин — он только что проснулся и спросонья тёр глаза, оглядываясь по сторонам.

— В самолёте... Ты же штурман, вот и разберись...

Костя улыбнулся и снова закрыл глаза...

Когда отец погиб, мама связала в узлы нехитрый скарб, собрала сыновей, и они все вместе отправились в Усть-Каменогорск, откуда иногда приходили письма. Там жила мамина двоюродная сестра.

В восточном Казахстане прошло его детство с синяками, ссадинами, пирогами с яблоками, походами на рыбалку на Иртыш, бесконечными ветрами и суровыми зимами.

И ещё небо. Там, над Казахстаном, было совсем другое небо. Совсем. Не такое, как на Алтае. В Косихе небо было низким, кажется — вытяни руку и достанешь. А когда по нему бежали тёмные грозовые тучи, оно было немного страшным. Но неба Олег не боялся никогда.

Его мечтой с самых ранних лет было летать по нему. Не так как сейчас на борту транспортной авиации. А самому управлять боевым самолётом. Или гражданским. Неважно. Лишь бы самому.

Олег улыбнулся — даже на одном из чудом сохранившихся фотоснимков из детства — русоволосый крепкий мальчуган стоял, сдвинув брови, и крепко прижимал к себе игрушечный самолёт. Этот самолёт подарил ему дядя Володя — новый мамин муж.

Своих детей у дяди Володи не было, поэтому к Олегу с Саней он относился как к собственным. Особенно Олег был ему благодарен за время, когда они с братом были подростками и частенько оставляли лоскуты своих рубаш на соседских заборах. Дядя Володя человеком был немногословным и, усмехаясь в усы, говаривал:

— Ты их, не суди строго, Оля, пацанва, что с них взять?

У дяди Володи имелась родная сестра, у которой была дочь Лена. Иногда её приводили в дом. Взрослые уходили, а Олегу мама строго наказывала:

— Олечка, ты за старшего, гляди за малыши. Да чтоб Санька Ленушку ненароком не обидел.

На Лену тогда он внимания не обращал. Подумаешь, девчонка, какая-то. Но отмечал про себя: внимательный и не по-детски серьёзный взгляд голубых, как небо, глаз.

Олег выглянул в иллюминатор. Внизу было море, оно, отражая солнечные блики, слепило глаза. Как в самый первый полёт. Настоящий полёт, правда, с инструктором, на Ла-пятом. Только там была река. Какая? Он уже не помнил. Это было на аэродроме под Харьковом. Первый полёт, и всё то же чувство, когда всё внутри замирает, и хочется закричать от восторга...

В сентябре 2015 года решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами России в Сирии, в районе провинции Латакия была создана российская военная база Хмеймим. А несколькими днями позже звено самолётов СУ-30СМ из состава 120-го смешанного авиационного полка авиабазы Домна, что в Забайкалье, были перебазированы сначала в Моздок, а потом, в сопровождении военно-транспортного самолёта Ил-76, пролетев через воздушное пространство Азербайджана, Ирана и Ирака, приземлились на базе Хмеймим. А группа из шести СУ-34 выполнила перелёт в Латакию, минуя Азербайджан — через Каспийское море.

Свои боевые задачи пилоты знали ещё дома. Нанесение бомбовых и ракетных ударов по базам боевиков запрещённой в России группировки ИГИЛ.

Исламское государство Ирака и Леванте — так именовали себя «джихадисты». В Сирию со всего мира съезжались исламисты всех мастей: кто-то пострелять, кто-то заработать лёгких денег, а кто-то и вправду за идею.

Через несколько часов Ту-154, сделав круг над аэродромом, с моря зашёл на посадку. Самолёт засипел, качнулся и грузно зашуршал колёсами шасси по взлётке.

Российская военная база Хмеймим. Провинция Латакия. Сирия.

Командир авиабазы, генерал-майор с красными от недосыпа глазами водил лазерной указкой по большой карте песочного цвета со шторками.

— Прошу обратить внимание, товарищи офицеры, вот здесь и здесь, аэродромы подскока. В провинции Хомс — Шайрат, здесь Аль-Тайас близ Пальмиры. Прошу штурманов пометить на своих лётных картах. При возникновении нештатных ситуаций, а также отказе техники можно присесть — но, хочется надеяться, такого не случится, — и генерал, отвернувшись в сторону, трижды поплевал через левое плечо. Охрана базы осуществляется подразделениями морской пехоты Черноморского флота и формированиями специального назначения 7-й десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ. Кстати, товарищи офицеры, обращаю внимание — «десантура» также будет осуществлять вашу радиоподдержку с земли, вблизи поражаемых целей, а также отслеживать качество бомбовых и ракетных ударов. Далее — выполнение задач противовоздушной обороны базы поручено кораблям постоянного оперативного соединения ВМФ во главе с ракетным крейсером «Москва» — эскадра расположена в восточной части Средиземного моря — вот здесь, — и генерал вновь провёл по карте лазерной указкой.

Кроме того, воздушное пространство над Сирией прикрывает развёрнутая система ПВО в составе: ЗПК «Панцирь — С1», ЗРК среднего радиуса действия «Бук-М2Э», ЗРК малого радиуса действия С-125 «Печора — 2М», ЗРК «Оса». Но, опять-таки, надеюсь, до этого не дойдёт — по нашим разведанным боеприпасов, способных поражать воздушные суда, у террористов нет...

Олега сразу поразило небо над Сирией. Здесь оно тоже было другим — прозрачным. Как будто кто-то накрыл пустыню большой стеклянной банкой. И облака здесь были другими, пушистыми и в то же время колючими, как стекловата.

Расположились лётчики в деревянных сборных модулях, которые стояли тут же, неподалёку от аэродрома.

В вагончике, на койке с алюминиевыми пружинами, спал незнакомый лётчик. Он тут же проснулся, спросил курева и, повернувшись на бок, выглянул в окошко.

— Жарко? А, пустыня, чёрт её дери. Тут всегда жарко. 22-23 градуса, как на пляже. Только прилетели? А я тут уже две недели парюсь, — лётчик зевнул. — Короче, парни, располагайтесь. Вот эти две кровати свободные, кондиционеры только поставили, не забывайте отключать. Здесь только днём жарко, а ночью до -8-10, вот так вот. На ночные полеты, если запишетесь — предупреждайте. Ключи под порогом.

— Часто, ночные-то? — Костя Мурахтин бросил вещмешок на одну из кроватей.

— Вот поживёшь здесь, летаешь, всё сам узнаешь. Поспать не дают, — и лётчик, отвернувшись к стенке, тут же громко захрапел.

Усть-Каменогорск. Восточный Казахстан

Олег шёл по извилистым улицам города. Всё, как положено военному человеку. Шинель, шапка, одетая с шиком — на затылок, тёплые ботинки, начищенные до блеска, в руке чемодан. На плечах красовались голубые погоны с жёлтой буквой «К» посередине. Это был его первый отпуск, в который он приехал домой из Харькова. Курсант Харьковского высшего военного авиационного училища лётчиков — гордо звучит? Гордо!

До этого Олег учился в Свердловском суворовском училище, которое закончил с отличием. Выбирать вышку долго не пришлось. Небо манило его, как и прежде.

Из «суворовского» Олег в отпуск почти не приезжал. Зимой находились какие-нибудь дела в училище: оформление музея боевой славы или ремонт, а летом — полигон. Да и отпускали их в увольнения и отпуска не очень охотно. Боялись, что пацаны наворочают что-нибудь, за нарушение дисциплины строго наказывали.

Навстречу Олегу шла девушка в чёрном пальтишке. Стройная, как берёзка. Тёмно-синяя шаль слегка подчёркивала пышные тёмные волосы и правильное бледное, лицо. Девушка остановилась и улыбнулась Олегу.

— Привет...

— Добрый день, красавица. А мы знакомы?

— Ещё бы, — девушка вновь улыбнулась и пристально посмотрела на него синими, как небо глазами.

— Ленка, — ахнул Олег, — ну надо же, извини — не узнал. Совсем невеста! Мои -то дома?
— Дома, где ж им быть. Тебя дожидаются, что ж ты телеграмму не прислал? Тётя Оля вся истекалась...

— Ну, ты вечером приходи...

Лена вновь посмотрела на него небесными глазами и кивнула.

Она шла по улице, а Олег всё смотрел и смотрел ей вслед, не в силах оторвать глаз.

База Хмеймим. Сирия.

Незнакомый лётчик оказался штурманом из Забайкальского округа.

— Капитан Саенко Николай, штурман — представился он, когда лётчики проснулись.

Он уже всю расхаживал по модулю и напевал какую-то незнакомую «попсовую» песенку.

— Командир мой домой улетел, кто из вас пилотом будет, ах, вы, — и он пожал руку Олегу, — значит, вместе летать придётся.

— А я как же, — Константин перенёс ноги с койки на пол и неуклюже сел на постели.

— Налетаешься ещё, — засмеялся Саенко, — я уже тут 21 боевой вылет сделал. Местность знакомая. А ты карты полётные изучать будешь. Да не переживай, 2-3 вылета сделаем с командиром твоим, а там уже сам будешь работать. Вон смотри в окошко — видишь «такси» наши отдыхают?

Олег первым посмотрел в окно: — И много их тут?

— Хватает. Два звена истребителей Су-30 СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24 М и Су-34 с десятком, и четыре звена штурмовиков. Вы на каких работаете, товарищ подполковник?

— Да на любых, — Олег, кряхтя, поднимался с постели — я пять типов самолётов освоил.

— Пя-я-ть? — недоверчиво протянул Саенко, — снайпер? А давно?

— С год уже, после Академии получил...

В военно-воздушной Академии имени Гагарина учиться пришлось заочно. Учёба всегда давалась Олегу без труда. Суворовское с отличием, Харьковское военное с отличием, да и в Академии учиться труда не составляло — тоже окончил с отличием. Единственное, что напрягало его — это тоска по семье. Вроде недолгие сессии, но всё-таки...

После окончания Харьковского высшего военного училища лётчиков, Олег начал службу лётчиком-инструктором на авиабазе Кант в Киргизии. Через год пришла замена — его отправляли в авиационный гарнизон в Возжаевку Амурской области.

Но прежде ждало его одно дело в Усть-Каменогорске. Пора было жениться. Там уже три года ждала его Лена.

Это не было любовью с первого, второго, десятого взгляда — чувство рождалось постепенно. Оно росло, крепло и разливалось множеством бурных потоков.

— Ты меня любишь?

Она кивнула.

— А ждать будешь?

Она опять кивнула и почему-то покраснела.

— Лен, я серьёзно. Мне ещё полтора года учиться.

Она обняла его и уткнулась в плечо.

— Я буду любить и ждать тебя хоть всю жизнь...

Он посмотрел ей в глаза. Такие глаза не врут. В них отражается небо, а оно его ещё никогда не подводило...

А потом были десятки, сотни и тысячи писем.

Олег записался на КП в список личного состава, заступающего на боевое дежурство. Вылет через четыре часа. Его штурманом и вправду оказался капитан Саенко.

Обслуживающий персонал медленно катил авиабомбы на специальной тележке к бомбардировщику, вторая группа аккуратно подвешивала их в бомболюки.

Николай поманил его пальцем: — Олег Анатольевич, айда в чайную — кофейку попьём.

— Да ну её, там очереди всегда.

— Это когда обеда нет, очереди. А сейчас, видишь — все в столовую потянулись. В самый раз — там теперь никого...

Кормили на авиабазе прилично. Да и быт был налажен серьёзно: душевые, баня, стиральные машины. Все продукты привозили из России. И готовили наши же повара. Местных к этому и близко

не подпускали. Мало ли? Сирийцы строили дороги и мосты за пределами базы. Иногда через кого-нибудь из них морпехи покупали местные сим-карты.

Ещё в России всех убывающих заставили сдать мобильные телефоны, вместе с «симками» естественно. Но купить «мобилу» не проблема. А звонить как? Или хотя бы смс отправить? Вот тут-то на помощь приходили сирийские коллеги.

У них же можно было купить сувениры, как-то: тарелочки с нарисованными достопримечательностями, статуэтки из красного дерева и прочую мелочь...

Хотя Олег был пилотом наивысшего класса, высококвалифицированным специалистом — в боевых действиях участвовать ему пока не приходилось.

— Товарищ командир, прошу отправить меня в командировку для выполнения служебно-боевых задач, вот рапорт...

— А ты не торопишься, Олег Анатольевич?

— Нет, товарищ генерал, я же всё-таки боевой лётчик, пора когда-нибудь на практике применить всё, чему учили. И так уж неудобно: Чечня, Осетия — всё мимо меня прошло...

— Добро, Пешков, — и генерал, написав на рапорте «В приказ», поставил свою витиеватую подпись, — удачи тебе, Олег Анатольевич.

Олег возвращался с ЦКП, получив боевое задание. Саенко ждал его у самолёта.

Су-24 М, доработанный под СВП-24. Олег погладил борт бомбардировщика. Натянул шлем и по лесенке полез в кабину. Уже там передал штурману размеры целеуказаний: — На, в БЦВС забей, если координаты поменяются в полёте — ЦУ на борт передадут, понял?

Штурман кивнул. Он быстро набрал координаты, переключил несколько тумблеров на приборной доске, повернулся к Олегу и показал большой палец.

— Самара, я восемьдесят третий, прошу разрешения на запуск.

— Восемьдесят третий, запуск разрешаю.

Олег запустил двигатель, кабина наполнилась шумом — затем проверил оборудование, связь с наземными службами. Приборы работали в штатном режиме.

— Самара, я восемьдесят третий, прошу разрешения вырuler на взлётную.

— Восемьдесят третий, я — Самара, вырuler на взлётную разрешаю.

Олег вырuler на взлётную полосу, включил форсаж, двумя ногами надавив педаль до пола, самолёт начал набирать обороты, проверил курс ВВП, уточнил запрос на взлёт и, получив утвердительный ответ, поднял самолёт в воздух.

Машина медленно оторвалась от земли, перестала сипеть и, плавно покачиваясь, прошла насквозь прозрачное сирийское небо.

Олег левой рукой убрал шасси, а когда на табло, замигав, погасли три ромбика, совместил на табло марку лидера и положил руку на гашетку.

Между ног пилота рычаг управления — семь кнопок, всё легко и просто, как джойстик на «компе», только чуток побольше и массивнее, даже медведя за пару лет научить можно.

Закат в Сирии тоже был необычным. Небо окрашивалось в ярко-горчичный цвет. Наверное, оно отвечивало от песков пустыни, которая здесь расстилалась насколько хватало глаз.

Даже в полёте на выполнении боевых задач он не переставал любоваться небом. Ночью и днём, в любое время года.

— Командир, заходим на боевой, цель слева 20 градусов.

— Понял.

Олег совместил перекрестье прицела с целью, откинув на ручке управления скобу, и указательным пальцем правой руки нажал на красную кнопку.

Бомболюк выкинул вниз створки. Бомбы неторопливо оторвались от днища бомбардировщика, и ушли вниз, медленно покачиваясь, одна за другой.

На земле поднялся столб пыли, которая заволочла несколько десятков километров земли. Олег сделал крен влево и встал на курс.

— Земля, я небо. Как там наши подопечные внизу?

— Небо, я — земля. Подопечные в стране вечной охоты. Спасибо за работу, — ответили с земли.

Саенко вновь поднял вверх большой палец.

— Отработали, командир. А теперь на базу, а то к завтраку опоздаем.

На Дальнем Востоке, когда Олег служил командиром эскадрильи в разведывательном полку, в семье Пешковых родился первенец — дочь Алина. Её Пешковым подарило небо. Алина родилась, когда Олег был в воздухе, радостную весть с ЦКП аэродрома передали ему прямо в полёте. А когда он приземлился, весь лётный состав встречал его с огромным плакатом «Поздравляем папашу с дочкой! Так держать и не останавливаться на достигнутом!»

Олег очень переживал, что не пришлось быть в это время рядом с женой — в полку проходила проверка, и две недели он находился на полётах.

Выручали соседи по общежитию Заикины. Они навещали Лену в роддоме и помогали во всём.

Уже через несколько дней новоиспечённый отец смог обнять Лену и маленькую дочку лично.

— Всё правильно, Олег Анатольевич, — захмелевший Юра Заикин, обнимал его за плечи, — план полётов верный. Сначала нянька, потом лялька.

И он со звоном чокнулся с раскрасневшимся от удовольствия Олегом.

Олег, выпив бокал, повернулся к Лене: — И верно, Лен, уж сына не пропущу. Это как пить дать.

— Не пропустишь — не пропустишь. Не позволим, — Лена, замерев от счастья, смотрела на своего мужа влюблёнными глазами.

Заход на посадку аэродрома Хмеймим проходил с моря. Самолёт, медленно снижаясь, достиг береговой линии и потихоньку опускался, пока шасси не коснулись земли. Олег убрал обороты и свернул с взлётной полосы на боковую рулёжку.

Олег, не торопясь, отстегнул ремни, посидел немного в кабине, отходя от перегрузок. Затем приподнялся и вылез из неё, вдохнув полной грудью свежий воздух.

Саенко стоял рядом с самолётом и наблюдал, как стальные птицы, оторвавшись от земли, делали круг над аэродромом, и с раскатистым гулом, расколов небо, уходили в облака.

— Сила, — он обернулся к Олегу.

— И мощь, — улыбнувшись, добавил тот.

Четвёртый полёт Олег проводил уже с Константином. Саенко, накануне вечером попрощавшись, улетал в Россию.

— «Домой, домой, домой — стучат колёса», — напевал он, разливая по алюминиевым стопкам коньяк. — Понемножку, Олег Анатольевич, — он смутился, поймав недовольный взгляд Олега.

— Понемножку можно, — Костя Мурахтин тоже смотрел на Олега.

— Что с вами делать, наливай. Только на улицу ни ногой — а то патруль комендантский шарится и днём и ночью. И каждого обнюхать норовит.

Лётчики чокнулись.

— Оставайтесь с Богом, парни, — Саенко смахнул со щеки нежданную слезинку, — привык я к вам.

— А ты перебирайся к нам, в Липецк.

— Попробую. У вас там Черноземье тепло, поди, а то достали эти ветра и холода.

— Это точно, я и сам туда пять лет как перевёлся. Перелетали звеном на ремзавод во Ржев. Знакомого встретил. Отношение на перевод помог мне оформить, и переехали всей семьёй. Ты, Николай, координаты свои мне оставь. Поможем? — и Олег обернулся к Косте.

— Конечно, поможем, — Константин хлопнул Саенко по плечу.

— Спасибо, парни. До скорой встречи тогда.

— Ну, повечеряли, теперь отбой в советской армии.

— Есть, командир, — оба штурмана легли на кровати и вытянулись по стойке смирно...

Очередной полёт проходил нормально, только целеуказания в воздухе им изменили. Отбомбился уже кто-то.

— Восемьдесят третий, я Самара. Приказываю дозаправиться в воздухе.

— Есть, дозаправка в воздухе. Координаты заправщика.

— Квадрат 17. От вас 7 минут лёта.

— Самара, я восемьдесят третий, ухожу на дозаправку, — и Олег развернулся, сделав петлю вверх.

Заправщик, массивный и грузный, как нефтеналивной танкер, ждал их в назначенной точке.

— Восемьдесят третий, я Уфа. Дозаправка слева по борту. Поехали.

— Как скажешь, Уфа. Поехали.

Олег снизил обороты, поднял заправочную стойку и начал медленно приближаться к левому крылу заправщика.

На левом крыле гиганта заморгали три разноцветных фонаря, как на светофоре. Когда красный и зелёный перестали моргать, а загорелся только жёлтый — Олег приготовился.

— Вошёл в жёлтую зону, Уфа.

— Понял тебя.

Из левого крыла заправщика выехал, похожий на полицейский жезл, шланг. Такой же чёрно-бело-полосатый, только длинный — метров 50, не меньше. Это, чтобы лётчик видел и постоянно регулировал длину. Ближе подходить нельзя — шланг перегнётся, отставать тоже нельзя — соскочит и несколько тонн соляры умоет твой ненаглядный самолёт.

Заправочный шланг с муфтой, похожей на перевернутую воронку, на конце потихоньку приближался к стойке самолёта.

Щелчок. Есть захват. Муфта намертво поймала наконечник стойки.

Теперь заправка. Расстояние надо чётко выдерживать до конца заправки, во избежание неприятностей, которые ждали котёнка Гава во дворе. Десять минут, полна корбочка.

— Восемьдесят третий, я Уфа. Заправку закончил. Отчаливай, удачи на дорогах.

— Понял тебя, Уфа. Спасибо за заботу и тебе не хворать.

Бомбардировщик ушёл влево и лёг на заданный курс.

Сын Александр родился на Дальнем Востоке незадолго до переезда в Липецк. Не обманул Олег — супругу с цветами и «Шампанским» встречал из роддома лично.

— Ну, как, Елена Прекрасная? Не подвёл я тебя? Все, как и положено: вот муж, — он ткнул в себя пальцем, — вот автомобиль. Домой-то поедем? А ты давай-ка мне сына — не женское это дело — богатырём на руках носить.

— А как же я? — Лена бережно передавала свёрточек с голубыми ленточками мужу, — это же ты меня обещал всю жизнь на руках носить.

— А я и не отказываюсь. Сейчас домой приедем — передадим парня Алине на воспитание. Я тебя на руки возьму, да так и буду везде носить.

— И на полёты? На полёты тоже?

— Нет, на полёты нельзя, не положено, — смутился Олег.

— Ну, так и быть. Договорились. Раз не положено, значит не положено. Где тут, ты говорил, автомобиль. Поехали домой, родной. Соскучилась по Вас — сил нет...

Когда семья перебралась в Липецк, Олег, как и положено её главе — задумался о постройке своего дома. Он всегда мечтал именно о доме. Воспоминания детства будоражили его душу. Такой же бревенчатый, с резными ставнями, как в Косихе.

— Потянем, Лен?

— Конечно, потянем, нас же четверо. Да, Сань?

— Конечно, потянем, пап, как в «Мушкетёрах»: один за всех и все за одного, — Александр смотрел на отца снизу вверх. Взгляд у него такой же серьёзный, внимательный, как у матери. Олег вспомнил Усть-Каменогорск и улыбнулся. Затем схватил в охапку жену, дочь и сына и закружил по комнате.

Дети визжали от восторга. Стоп.

— Только, дорогие мои домочадцы. Первым делом на участке посадим яблони и груши. Очень уж они мне нравятся. А потом дом строить. Согласны?

Олег и Константин лежали на койках, отдыхая после полётов.

— Спишь, командир?

— Да не спится что-то. Про своих вспомнил. Ты знаешь, я с дочерью люблю уроки делать. Она мне иной раз говорит: — Пап, да сама я уже. А то может, вместо меня в школу пойдёшь?

Я отвечаю: -А что? И пойду, вам, молодым, фору ещё дам. А она смеётся. Был я у них в школе. Мальчонка там один занятный — всё авиацией интересуется.

— Может, он Алиной интересуется больше, а не авиацией?

- Может, и так, — улыбнулся Олег, — но всё равно хороший парнишка, правильный.
- В отпуск ездили в этом году? Или сад-огород закружил?
- Как же! Весь Краснодарский край исколесили. От Сочей до Ейска. На двух машинах. Брат из Казахстана приехал со своей семьёй. Целый месяц куролесили.
- Он у тебя тоже военный?
- Подполковник полиции. У нас с ним пари: оба мы подполковники, так уговор — кто первым полковника получит — снимается и приезжает в гости, где бы не находились! Но, думаю, обскачет меня братка, уж такой весь из себя начальник! А сад-огород я тоже люблю. Грешным делом в земле покопаться нравится. Яблоки с кулак — сладкие, как мёд. И соленья на зиму сам закрываю.
- Да ладно!
- Правда. В следующем году в Крым поедem. В этом побоялись на пароме застрять. Ну, давай спать, а то завтра утром вылет, — Олег зевнул.
- Тринадцатый, командир.
- Полёт-то? Ну, это у меня тринадцатый, у тебя-то одиннадцатый. Я в приметы не верю. Вернее, в хорошие верю, а в плохие — нет.
- Ну и ладно. Давай спать, командир.
- Горы Туркоман. Сирия
- Джамалу сегодня тоже не спалось. После того, как русские самолёты начали бомбить нефтяные караваны, дела пошли совсем плохо. Многие из его отряда сбежали. Денег давно не присылали, да и с боеприпасами начались перебои. Даже пришлось пристрелить пару пойманных дезертиров, но и это не помогало. Отряд таял, как снег весной.
- Джамал, тебя вызывает Большой Брат, — к нему в палатку заходил один из боевиков. Он протягивал полевому командиру сотовый телефон с длинной антенной.
- Джамал, не торопясь, взял телефон и поднёс к уху.
- Салам, Джамал, — заскрипела трубка.
- А это ты, Абу-Хайят. И тебе салам. Что плохого хочешь сказать сегодня?
- Почему плохого? На этот раз хорошие вести.
- Последнее время я привыкаю слышать только плохие новости.
- Только не сегодня. Большой Брат сказал, что завтра утром твоим серым волкам придётся поработать. Можно заработать неплохие деньги.
- Что я должен сделать?
- Завтра утром приедут люди с телекамерами. Расставишь их так, чтобы хорошо был виден 43-й квадрат. Примерно между десятью-тридцатью и одиннадцатью часами смотри шоу. И всё. Большой Брат всё сделает сам. Да, и гляди, чтобы с журналистов не упал ни один волос. После со снятым материалом сопроводишь их до турецкой границы.
- Американцы?
- Это неважно. Важно то, что там же на границе они заплатят тебе 50 тысяч зелени наличными.
- Это хорошие вести, Абу-Хайят, спасибо, брат, я в долгу не останусь.
- И Джамал нажал на клавишу сброса.

«Ни одно лицо, покидающее на парашюте летательный аппарат, терпящий бедствие, не подвергается нападению в течение своего спуска на землю»

п.1 ст.42 Протокола Женевских конвенций 1949 года.

- Небо Сирии. Провинция Латакия.
- Тринадцатый полёт в прозрачном сирийском небе проходил в штатном режиме. Цели были удачно поражены и одобрены с земли. Оставалось только добраться до базы и отдохнуть.
- Мы где сейчас, штурман? — Олег повернулся к Константину.
- Входим в 43-й квадрат, командир. Вот здесь, — и Костя ткнул пальцем в развёрнутую карту. Слева по борту встал, покачивая крыльями, военный самолёт Ф-16 С. На его борту был нарисован красный флажок со звездой и полумесяцем.

Турецкие ВВС. Союзники, мать их. Видать, недалеко граница.

Олег помахал турецкому асу рукой и показал поднятый вверх большой палец. Турецкий лётчик, кивнув в ответ, улыбнулся и, сделав крен влево, зашёл в хвост.

Самолёт потряс страшный удар, в кабине запахло гарью, приборы на доске сошли с ума, они крутились и вертелись в разные стороны. Самолёт начал резко терять высоту и через несколько секунд сорвался в крутое пике.

Олег посмотрел вниз — земля, состоящая из зелёных и рыжих квадратов, стремительно приближалась.

— Катапультируемся, Костя!

— Что!

— Прыгай! — и, дождавшись пока Константин пулей вылетел вверх, Олег сам нажал на кнопку катапультирования.

Константина бросило вверх и вправо, от резкого толчка закружилась голова и затошнило. Затем над ним, хлопнув, раскрылся белый купол, а он, повернув вправо голову, увидел, как их бомбардировщик плавно, как в замедленной съёмке прочертил воздух, и, оставив за собой чёрный шлейф, наткнувшись на гору — взорвался, подняв вверх столб пламени.

Порыв ветра подхватил его и понёс в сторону от гор, где степные завихури катали по пустынным прогалинам ветки саксаулов.

Перед его глазами завертелась вся его жизнь. Как кинолента: Одесская область, посёлок Петровка, здесь он с мамой и папой ходил на демонстрацию. Отец посадил его на плечи, а он, размахивая зелёным шариком, кричит: «Ура!» Германия, где лётчиком фронтовой авиации служит его отец, маленький Костя, зажав в руке букет цветов, идёт в первый класс, а топающая сзади девочка с белыми бантами, всё время больно наступает ему на пятки. Челябинское высшее военное училище лётчиков: он стоит в строю и, любуясь на лейтенантские погоны с новенькими блестящими звёздочками, бросает вверх фуражку. Липецк: он уже капитан авиации, возвращается домой после ночных полётов...

Из оцепенения его вывело резкое падение. Костю протащило по горному склону. Парашют, попав в очередной порыв ветра, набрал воздуха и юзом поехал вверх. Штурмана продолжало тащить по камням и впадинам, а он хватался за землю руками, ломая ногти, и никак не мог остановить этот калейдоскоп. Потом, собрав силы, встал на колени, и обеими руками, резко дёрнув стропы вниз, погасил купол. Парашют дёрнулся и обмяк. Костя отстегнул лямки строп, сел на землю и закрыл голову руками. Затем вскочил на ноги, ощупал себя — вроде цел. И начал карабкаться на сопку, чтобы посмотреть — не видать ли где командира.

А командир в это время качался на стропях. Он не попал в порыв ветра и медленно спускался на землю, уже приглядывая участок, удобный для приземления...

Джамал приложив руку козырьком ко лбу, разглядывал с земли качающегося под белым куполом человека.

— Эй, Назим, ты его видишь? Этого русского?

Назим, сидевший за ЗУ-шкой осклабился: — Вижу, Джамал!

— Ну-ка сбей мне этого путинского сокола! Большой Брат за это не обидится на нас!

Назим навёл оба ствола на парашютиста и произвёл длинную очередь.

— Аслан, эй, Аслан!

— Да, Джамал, — один из бандитов подскочил к главарю.

— Свяжись с Хуссейном, второй русский приземлился на его территории. Его будут искать. Пусть подготовится к встрече.

— Я понял тебя, Джамал, — Аслан уже доставал из разгрузки носимую радиостанцию.

Джамал отвернулся в сторону журналистов.

— Есть кино?

— Окей, окей! — закивали те.

— Ну, тогда в машину, я хочу быстрее получить заработанные мною деньги. Поехали, янки, мои серые волки разберутся здесь без нас.

Армейский джип, хлопнув парой дверей, запылил по горной дороге в сторону турецкой границы.

Джамал вовремя успел унести ноги, он тогда не знал, что всего через два часа двойка российских штурмовиков разнесёт его лагерь вместе с серыми волками в труху...

Костя Мурахтин очнулся от холода. То ли закемарил, то ли потерял сознание на какое-то время, он и сам не понял. Над сопками сгустились сумерки. От всего пережитого сегодня голова шла кругом, а Костя никак не мог поймать её и поставить на место. Он, то резко вставал, готовый действовать, то вновь садился на землю. Вначале надо было выработать план действий. Хотя бы минимальный. Первым делом разобраться, где он, собственно находится. Но это он знал: хотя карта полётов и осталась в кабине самолёта, но помнил, что самолёт был сбит при вхождении в 43-й квадрат. И кто их сбил? Ведь рядом находился турецкий борт. Почему он их не предупредил об атаке? Союзники ведь. Или их сбили средства ПВО Турции? Но в турецкое воздушное пространство они не вторгались. Это он знал точно. Кому же ещё это знать как не штурману. А может, с земли? ПЗРК? Заметили бы. В конце концов, Костя решил отложить решение этого вопроса на потом.

Его стало слегка подташнивать от голода и произошедших сегодня событий. Костя начал шарить по карманам разгрузки. Так, чего у нас тут? «НАЗ» (независимый авиационный запас). Штурман вскрыл его и разложил на земле. Негусто: пол-литра воды в пластиковой бутылке, 100 граммов леденцов, добрая половина из которых тут же отправилась по прямому назначению; нож, коробок водостойких спичек, сухое горючее, и одна зелёная ракетница.

После Константин бережно достал из бокового кармана АПС (автоматический пистолет Стечкина) и две обоймы, протёр их носовым платком и положил обратно. Как знать — возможно, пригодится, главное не стрелять очередями.

Бандиты видели, куда он приземлился — могут искать. Костя хлопнул себя по лбу: искать! Наши тоже будут его искать, если уже не ищут. Сколько времени он находится здесь? А сколько вообще сейчас времени? Он поднёс левую руку к глазам. Командирские часы разбились: время, которое отпечаталось на них 10.37. В это время их сбили.

Что делать? Оставаться на месте или идти искать командира? Он катапультировался сразу за мной. Стало быть, в радиусе 5—7 километров. Только в какую сторону?

Ссадина на локте саднила. Всё тело ныло. Да, хорошо его по склону протащило. Как только руки-ноги целы остались?

Что-то неудобно кольнуло его в правый бок. Костя, недовольно хмурясь, полез рукой в карман разгрузки. Тыфу ты, ёлки-палки. С этого же и надо было начинать. Радиомаяк! Если бы не эта чехарда, точно вспомнил бы и он, уперев маяк в землю, нажал на красную кнопку активации...

— Есть радиосигнал, товарищ генерал, — молодая радистка, срываясь на визг, вскочила из-за стола с передатчиком, — есть! Вот он, миленький!

— Тихо-тихо, не кричи ты так, в каком квадрате?

— Вот здесь, в квадрате 43!

— Слава Богу, хоть один жив. А, может, оба — тогда, считай, у ребят второй день рождения сегодня.

В ЦКП после многочасового тягостного затишья даже дышать стало как-то полегче.

Начальник базы уже связывался с командиром охранения.

— Пятый, это первый! Есть радиомаяк — да, да и слава Богу. Поднимай своих «морпехов» — две вертушки и в 43-й квадрат. Будете там к утру. Радиосигнал чёткий, за несколько километров до точки присядете и пойдёте пешком, вдруг засада. Пеленг радиосигнала с борта вертушки 1-3 градуса по азимуту.

Константин Мурахтин в это время двигался на юго-запад. Направление он определял по звёздам и по внешним признакам — луна освещала местность довольно прилично. Двигаясь по сопкам, он забирался вначале на вершину, осматривал окрестности, обходил населённые пункты или опасные, на его взгляд, места. Везде присматривал лёжки, которые могли пригодиться при внезапном нападении, занять оборону — хотя бы на некоторое время. Пустынные участки проходил короткими перебежками, либо по-пластунски — на пузе.

Он и сам удивлялся: почему ничего не боится? Наверное, весь страх остался там — в кабине самолёта.

За 7 километров до точки, из которой исходил радиосигнал, вертушки разделились. Одна поле-

тело прямо на сигнал — вторая решила обогнуть горный массив и осмотреть — нет ли поблизости крупных отрядов «джихадистов».

Здесь-то она и нарвалась на засаду. Бандиты открыли кинжальный огонь из всех стволов, борт был расстрелян как решето и сел у подножья одной из гор. Забрав одного двухсотого и трёх человек ранеными, «морпехи» связались с экипажем первой вертушки и отошли в указанный район.

Штурман Мурахтин услышал звуки вертолѐта перед самым рассветом. Он вначале затаился, но увидев бортовые номера, обозначил себя зелёной ракетой. Пригодилась.

К утру о том, что подполковник Олег Пешков погиб, было уже известно всем. Западные журналисты очень оперативно выставили кадры предательской атаки в интернет.

Липецк

Иногда ночью, укутавшись в тёплый пуховый платок, Лена выходит в сад и смотрит на звѐзды. Она гладит рукой деревья, которые посадил Олег. Затем подолгу стоит, глядя вверх и вытирает слѐзы, которые катятся и катятся по щекам.

— Где ты, Олечка? Может быть, ты не погиб, а улетел на другую планету? Там нет земли, а только небо. Куда ни кинь взгляд, одно только небо — небо — небо...

Шелестит листва в саду. Падают звѐзды. Медленно плывут облака, чтобы через какое-то время пробежать по прозрачному небу Сирии, которое так подвело её Олега...

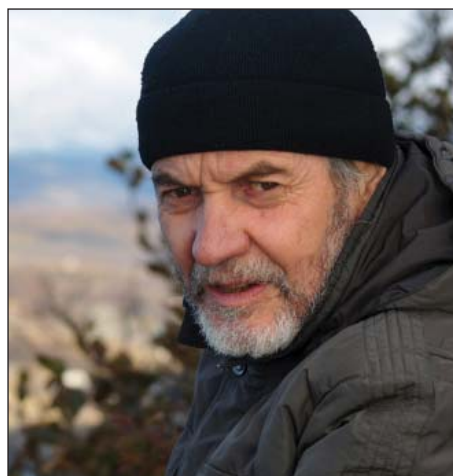


Проза

Анатолий Байбородин

Анатолий Григорьевич Байбородин родился в 1950 году в забайкальском селе Сосново-Озёрск.

Автор книг: Старый покос. Повести. Иркутск, 1983; Поздний сын. Повесть. Москва, 1988; Яко богиню землю нареки. Очерки. Москва, 1991; Боже мой... Роман. (Предисловие: В.Распутин), Москва, 1996; Воля. Повести, рассказы. (Предисловие: В.Личутин), Иркутск, 1998; Диво. Сибирские байки, сказы, рассказы. 2001; Утоли мои печали. Роман, повести, рассказы. Иркутск, 2006. Не родит сокола сова. Роман, повесть. Москва, 2011. Озерное чудо. Повести, рассказы. Москва, 2013; Небесная тропа. Рассказы. Иркутск, 2014. Составитель книг: Россия древняя и вечная. Иркутск, 1992; Русский месяцеслов. Обычаи, обряды, поверия, приметы русского народа. Иркутск, 1998; Думы о русском с древнейших до нынешних времен. Иркутск, 2016. Лауреат областной литературной премии имени святителя Иннокентия Иркутского (1997) и премии Губернатора Иркутской области (2002, 2011, 2012, 2014); лауреат «Большой литературной премии России» (2007) и премии «Золотой Дельвиг» (2016).



Владимир Личутин в статье «Песнь родимой земле» написал: «Анатолий Байбородин – писатель талантливый. Обладает стилем, образным языком, музыкаю слова, верным глазом, душою чуткою к душевным переживаниям героев. Природа щедро наделила Байбородина всеми литературными качествами, из чего и вылепливается истинный народный художник. Читал книгу повестей и рассказов и нарадоваться не мог: вот, в глубине Сибирской, какой новый писатель возрос; своим восторгом поделился с Валентином Распутиным, и тот подтвердил... Анатолий Байбородин в Сибири и в России, может быть, один из немногих, а может, и из самых первых стилистов и знатоков русского слова».

Владимир Личутин в статье «Песнь родимой земле» написал: «Анатолий Байбородин – писатель талантливый. Обладает стилем, образным языком, музыкаю слова, верным глазом, душою чуткою к душевным переживаниям героев. Природа щедро наделила Байбородина всеми литературными качествами, из чего и вылепливается истинный народный художник. Читал книгу повестей и рассказов и нарадоваться не мог: вот, в глубине Сибирской, какой новый писатель возрос; своим восторгом поделился с Валентином Распутиным, и тот подтвердил... Анатолий Байбородин в Сибири и в России, может быть, один из немногих, а может, и из самых первых стилистов и знатоков русского слова».

Скотник Еремей

Памяти Василия Шукшина

Чудом дюжил колхоз «Заря Прибайкалья» ...власть уже добивала горемычное село, и без того лежащее под святыми ликами... но и «Заря», избитая, изволоченная, зачахла на обморочном закате усталого века. Обмелели колхозные пашни и покосы в долине Иркуты, заросли травой лебедой, осотом, чертополохом с лиловыми шишками; и стали нивы похожи на мужика, забородатевшего по самые очеса, залохматевшего, почерневшего от паленого спирта; и лишь увеселял взгляд озорной березняк и осинник, стаями кочующий по житным полям. Сдали на убой обредевший скот, и Андриевский Еремей Мардарьевич, потомственный скотник, лишился работы. Виновато погладил унылую буренку ...слеза блуждала в седой щетине... и в слезной мгле попрощался со скотным двором, дрожащей ладонью обласкал листовничные прясла ворот, вышарканные до бурого блеска, с присохшей коровьей шерстью. Как чалка сдох, и мужик засох: затосковал Еремей, поминая скотный двор, бывало оглашённый сытым мычанием, поминая и чалого коня: взял степняком, не ведающим узды, седла и хомута, объездил, и лет десять пас телок и бычков.

Эх, было времечко, ела кума семечки... От кумачового рассвета до глухого, дымного заката жизни Еремей обихаживал рогатый скот, и хотя еще не ночь, а синеватые житейские сумерки, хотя еще поработал бы вволюшку ...раззудись плечо, размахнись рука... да нет, Ерема, сиди дома или дремли на завалинке, копти небо махрой и гляди: в багровых закатах до слез тоскливо чернеют

скелеты бывших овечьих кошар, ферм, скотных дворов, где сутулыми тенями слоняются мужики, обезумевшие от паленого пойла. Слушай, Ерема, как рыщет, свищет варначий ветер на былых пашнях, треплет лихие, сухие травы, словно седые старческие космы; и, словно светлые призраки, лишь Еремею видимые, плывут по ниве миражные виденья, — былые комбайны, трактора, стада, отары, табуны... Эх, сплыло времечко, осталось лишь беремячко...

Сидел бы по-стариковски на завалинке, положила зубы на полку, коль пенсию пока не дали, да голод не тетка, погнался в тайгу, где Еремей валил строевой лес на хозяина; да шибко уж мерзко было на душе от пакостного, воровского ремесла, да и лес жалко. «Эх, что за народ люди?!» — сокрушался Еремей, перво-наперво себя и коря; и если бы его укоризненные думы обрели книжную обличку, то выглядели бы так...

Хотя у Бога и милости много, не как у мужика горюна, и не по страстям и похотям жалостлив Бог, но попустил скорби и печали, ибо, отрекаясь от старого мира, от брехливых попов, люди изуверились в бессмертии души, отвергли Царя Небесного и Царство Небесное, возжелали земного утробного рая без Бога и помазанника Божия. Но, отрекаясь от Вышнего, братолюбивый народ не отрекся от ближнего, не отрекся и от Божиих заповедей, запечатленных в Нагорной проповеди, а посему, в поте лица своего созидая утробный рай даже не себя ради, но ради грядущих потомков, рвал жилы, ломал спины. И уж вроде замаячил «рай», но избаловался, извередился народец, даже деревенский, не говоря уж о городском; на Бога не уповав, зажил народец своеумно и своевольно, как савраска без узды, а своя воля — страшнее неволи. Воистину, посельга беспутая: робыли шалаяй-валяй, через пень колоду, а с полочки, бывало, гуляли даже в сенокосную страду, когда всякий солнечный денек на вес золота. Лонясь гуляшки, да нонесь гуляшки, вот и по миру побрели без рубашки... Трудяги, матеря лодырей, из остатних сил держали колхозы и совхозы на матерых плечах, но... тут, изъеденная крысами, рухнула держава и погребла трудяг в камень, пыли и крови.

На Руси кудеса — дыбом волоса: на окровавленных камнях, напялив маскарадные хари, кобели и сучки по-пёсьи лают и соромные песни поют. А то и на церковной паперти собачья сбеглишь... Одолели беси, святое место... Выросший подле богомольного деда Прокопа, а когда богомольцам дали волю и сам облаченный во Христа и даже в храме Божиим золотым венцом повенчанный с дояркой Ньюшей, Еремей с горечью выписал из божественной книги: «...И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями...»

Попустил Господь: морок печали и скорби укрыл черными тучами васильковое сельское небо, и счернели, обуглились солноликие подсолнухи... О ту злокозненную пору палёное пойло косило деревенских мужиков, словно курносая со стальной косой на плече, и деревня Шабарша обезлюдела, а могилки зловеще разрослись в отрогах степного увала. Скотник Еремей и раньше, не сказать, что запивался, но пил редко да метко: ежели шлея попала под хвост, мог за присест литр осадить, а потом люто хворал, яро проклинал гулянку, и зарекался. Ну, да зарекался блудливая имануха¹ в чужой огород не шастать!

И вдруг на исходе лет Еремей попрощался с зеленым змиищем, и... чудно для деревенского скотника... привадились к чтению, отчего бабы сердобольно вздыхали, а мужики, косясь на книгочея, крутили пальцем у виска: мол, у Еремы не все дома, в тайгу ушли. А Еремей... на всякий роток не накинешь платок... плевал на суды и пересуды с пожарной каланчи; и, бывало, выкинет навоз из-под коров, отложит совковую лопату, из внутреннего кармана телогрейки явит на белый свет Библию и читает. Книжечку с ладонь, похожую на резной ковчежец, книгочей разорился и купил в свечной лавке Ильинского храма, куда за пять верст похаживал на Всенощное бдение и заутреню.

Почитывал Еремей Святое Писание, а безбожные книги, кои, помнится, в школе проходили, в руки не брал, чурался, — страшился искуса, как и царь Давид: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе... но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и ночь...»

На закате лет забывалось ближнее, но чаще и чище, отраднее виделось дальнейшее или воображалось, ибо о ту пору еще пешком бродил под столом. Злым и тоскливым, волчьим воем выла крещенская метель, грызла венцы, зелеными зрачками пучилась в заросшие куржаком окошки, ведьмой плакала в трубе, но благодатью, покоем дышала жаркая русская печь. Лютые крещен-

¹ Имануха — коза.

ские морозы загоняли домочадцев в избу: отроче младо полеживали на печи, а мать Еремы, пряха смолоду, сидя на изножье пряслицы, тянула нить из кудели, словно из белесого облака, мотала нить на юркое веретено; отец, вековечный пастух и скотник, посиживая на низкой лавочке, под ласковым печным боком, чинил хомуты и сбруи, и, до слез умиляясь, слушал, как набожный дед Прокоп, привязав к ушам круглые очёчки, придвинув мерцающий жирник-светильник, степенно читал Четьи-минеи¹ о житие-бытие святых угодничков. Бывший древлев², потом единове³, скудный книгочей, коего в церковно-приходском учении азы, буки, веди страшили, яко медведи, тихой поступью, бережной ощупью, по слогам одолевал дед Прокоп божественные глаголы про пустынников, скитских постников и молитвенников, вечевых юродов, страстотерпцев, а по весне поведал и о пророке Иеремии⁴.

Из дедова бормотания Ерема уразумел лишь то, что Иеремия, словно бык впряженный в соху, ходил с ярмом на шее; но, зажив за полвека, Еремей самолично прочел житие страстотерпца, и даже красного словца ради выписал в заветный свиток из святого Иеремии: «Сие глаголет Господь: Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром; а вы вошли и осквернили землю Мою, и достояние Мое сделали мерзостью... Раб Мой и домочадец, как резвая верблюдица, как дикая ослица, рыщущая в пустыне, в страсти души своей глотающая воздух, сказал: не надейся, нет! Ибо люблю я чужих и буду ходить путями их... И вот за то, что они поступают по упорству злого сердца своего, Я приведу на них с севера бедствие и великую гибель...»

В память о святом Иеремии по святцам и с молчаливого родительского согласия богомольный дед Прокоп, самочинно окрестив, нарек отроче младо Еремеем; и чаду с ветхозаветным имечком, вроде, ничего не осталось, как, заматерев, сунуть шею в ярмо скотника.

Коли пророк Иеремия бродил с бычьим ярмом на вые, зримо запечатлев безбожным евреям грядущий полон и рабство, коли память святого юрода пала на зачин вешней страды...пора пялить на быков ярмо, запрягать тягловую скотину и сеять жито... то мужики повеличали первое мая по старому стилю — Еремей-запрягальник, Ярёмник, проще говоря. И может, не случайно, и власть, хотя и безбожная, а все же народная, день Еремей-запрягальника намалевала в численнике красным цветом: мол, гуляй подъярёмный труженик серпа и молота.

Еремей явился на белый свет в месяц травень-цветень, когда деревенские мужики и бабы с хмельной и тихой радостью, с молитвенным упоением, всем сердцем чуяли, сколь щедра и красовита, сколь обласкана Богом Русская Земля, будто воистину в месяц травник, в пору юных зеленей и робких цветов, среди вешнего половодья древний сказитель воскликнул о земле российской: «О, светло светлая и украсно украшена, Земля Руськая!.. Всего еси исполнена Земля Руськая, о правоверная вера христианская!»

В честь рождения Еремей полыхало зелеными таежное и степное Прибайкалье; девьими щеками зардеел сиреневый багул на таежных солнопечных угорах; зацвела черемуха и боярка в поймах рек, и жор напал на карасей, коих мужики гребли и бродниками⁵, и сетями, и удами. Хвалили старики май: травень леса наряжает, лето в гости поджидает; явился май — под кустом рай; радовались конюхи и скотники: май — коню сена дай, положи вилы на сарай, а сам на печь полезай. Лишь коню и нужен навильник сена, а коровы и овцы на вольном выпасе прокормятся. Хотя деревенские темноверы сокрушались: мол, родился в мае — век промаешься, в мае женишься, от венца добра не жди. Еремей же, уроженец мая, и женился в мае на доярке Ньюше Житовой, и лишь под старость познал маету, когда овдовел, когда и деревня овдовела, осиротела, запустела.

Помнится, дед Прокоп говаривал, глядя мутными, слезливыми глазами в сельскую старь: де,

¹ Минеи-четы (греч., слав. «ежемесячные чтения») — сборники житий святых.

² Древлев — раскольник, исповедующий «древлюю» («старорусскую») веру, что образовалась после церковных реформ патриарха Никона и царя Алексея Тишайшего.

³ Единове — православный, признающий благодатность «Староверческой Церкви» и Патриаршей Церкви.

⁴ Святой пророк Иеремия (VI в. до Рождества Христова) — пророчествовал в Израиле, обличая иудеев за отступление от Истинного Бога и поклонения идолам, предрекая евреям бедствия и опустошительную войну. По повелению Божию Иеремия надел на шею вначале ярмо деревянное, потом железное и так ходил среди народа, изображая иудеям рабство царю вавилонскому. За пророчества, которые предрекали евреям, богоборцам и богоотступникам, кары Господни, был убит иудеями.

⁵ Бродник, бредень — короткий невод.

к Еремею-запрягальнику мужики чинят плуги, бороны, телеги, дуги, сбруи, хомуты, а бабы и девки ткут из конского волоса личины — сетки от мошки и комаров и прочего летучего гнуса. Ждут мужики, когда земля прогреется; смышленные, расторопные навещают поля и, преклонив колена, кладут обе руки на пашню, гадают: тепла ли мать сыра земля?.. А то пошлют старика, хлебороба вековечного, и старче, дабы проверить поспела ли земля для сева, прогрелась ли, скидывает порты и садится на пашню, яко насадка цыплят выводить. Дед Прокоп поминал: «На Еремея погоже, то и уборка хлеба пригожа... На Еремея-запрягальника, и ленивая соха выезжала в поле. Да... Одни мужики, бывалочи, пашут пары, другие под пашню вздымают залежи — отдохнула заморенная земля, иные орут залогои — у тайги отвоевали пашню. В мае же, паря, начинают сеять яровые... Перед севом мужики на заутрене в церкви молились — душу очищали; а глядя на ночь в бане парились — плоть омывали, хворь из костей изгоняли; и с бабой не спали — упаси Бог... Но жили, не тужили... А в поле, снявши шапку, молились на солновсход: «Батюшка Илья, благослови семена в землю бросати. Напои мать сыру землю студеной росой, дабы снесла пашня зерно, всколыхала зерно, возвратила зерно щедрым колосом...» Плох овес — наглотаешься, паря, слез; не уродится рожь — по миру пойдешь, а безо ржи, паря, жеребцом ржи...»

* * *

Науськанные лукавыми мудрецами мира сего, галдели пустозвоны: перестройка!.. перестройка!.. порушим былое и заживем, как за бугром, а там народец, как сыр в масле катается. Поверили... ждали обоза... дождались навоза. Спихватившись, начальство, кто за гриву, кто за хвост растащило весь колхоз; дурнопьяным бурьяном заросли пашни, где пахотные мужики с Еремея-запрягальника сеяли жито; лишилась деревня и скота, и обредело полесное поселье; иные, опившись паленой сивухи, заселили могильный угор, иные укочевали в губернские города и живые села, лишь приросло к подворьям старичье, а мужичье либо глухо спивалось, перебиваясь случайными калымами, либо, неисповедимо обзаведясь скотом, инвентарём, пахало от зари до зари, абы выжить да ребятишек выкормить, выучить. Отчаянные, подрядившись у барыг, кинулись пластать тайгу, — валить строевой лес, трелевать, возить на нижний склад; и... застучали колеса по рельсам, погнажи сибирскую тайгу в страну восходящего желтого солнца, а барыши мимо государевой казны с золотым, зловещим звоном посыпались в сусеки мироедов.

Слава Те, Господи, отец Еремея, Мардарий Прокопьевич, раненный, контуженный да и умалишенный, не узрел мерзости опустошения... Иисус Милостивый лишил старика дольного ума и, может, одарил горним... не видел вековечный пастух и скотник... сердце бы лопнуло... как супостаты, искусив художий народец, полонили и разорили русскую землю. Схоронив богоданную, что надорвалась в войну на лесозаготовках, Мардарий Прокопьевич коротал век подле Еремея... иные сыны и дочери рано упокоились либо разбрелись по земле... но жить в избе старик не пожелал, а ради молитвенного уединения закочевал в тепляк¹. Истоиво молился, страшась воздушных мытарств, когда ангел-хранитель поведет грешную душу по лестнице на небеси, а тут налетят чернокрылые ангелы, заграят, закаркают, лихо зашипят: «Греш-шник!.. греш-шник, наш...» и повлекут в тартары, и оборонят ли белокрылые ангелы?..

Нюша кормила, поила, обихаживала старого Мардария, а Еремей беседовал; вернее, старик пытал, сын отвечал. Раненько, зажив лишь за восемьдесят, отец оскудел земным разумом, потерял память; но странно, забыв ближнее, ясно и живо зрел дальнее, довоенное и доколхозное, когда Прокоп Андриевский и сын его Мардарий пасли пять коров, восемь телок и бычков, трех коней и дюжину овец, а после Покрова Божией Матери, когда выстаивался снежный наст, креп санний путь, промышляли ямщиной. А ныне, Мардарий, остаревший, выживший из ума, вопрошал Еремея, когда тот заворачивал в отеческий тепляк: «Ты коней-то, сына, напоил?..» «Напоил, тятя, напоил...» «А коровам сенца кинул?..» «Кинул, тятя, кинул...» — послушно отвечал Еремей, хотя из живности бродил по усадьбе лишь лохматый сибирский кот да вяло брехал одряхлевший пес. «Гляди, сына, в оба: Зорька стельная, со дня на день отелится; не заморозить бы телка...» Для интереса Еремей другой раз перечил: «Кого стельная?» Зорька же

¹ Тепляк — теплый флигель в деревенской усадьбе, где варили корм коровам, свиньям, а иногда в тепляках доживали век старики либо наоборот заселялись молодожены, которые пока еще не срубили избу.

нонче ялова...» «Ты меня не путай, баламут. У меня чо, шарабан совсем не варит?! Я же сам Зорьку к быку водил...» Дак ты, батя, не Зорьку, ты Красулю водил...» Так и судачили сын с отцом...

Погрѣб Еремей тятю, затем сына винопивца, что однажды дозелена упился паленой водки, а год назад и жену, Богом данную, и, вдовый, безработный, удумал кочевать в Иркутск, где в Знаменском предместье бобыльничала старшая сестра, которая и сомушала в город.

В канун кочевья собрался на могилки, где утихомирился сын, от безбожья, безробья и тоски запивший, да так во хмелю и загинувший, где упокоился и прах сердобольной Нюши. Еремей во-лочился на могилки, устало шаркая подошвами; шел прощаться, просить совета у Нюши: кочевать или век в Шабарше доживать. Брел по улице, пустынной, добела опаленной августовским зноем, тоскливо озирал гнилые, черные избы, утаенные в сырых и заплесневелых сумерках черемухи и боярки, высматривая выбитые глазницы окон, выломанные двери. Словно слепцы-христорадники очутились посреди степи без поводыря, затагнули кручинную старину, и ветер, по-волчьи подвывая, треплет лохмотья, укрывающие иссохшую, костистую плоть. Угрюмо дыбились и добротные пятистенки, рубленные из матерого леса, да, как повелось в притрактовых деревнях и селах, крытые на четыре ската матерым тѣсом. Кулацкие хоромины, счерневшие, словно облаченные в предсмертные, монашеские рясы, с мрачной горделивостью, не падая ниц пред супостатами, молчаливо и страстотерпно глядели в небеса крестообразно заколоченными ставнями. Иные усадьбы уже смела лихая судьба черным, дымным хвостом; рассеялся дым, осел пепел, и вместо изб, амбаров и бань ныне чащобный березняк и осинник.

Чахла лесостепная деревенька Шабарша, вытянутая в поредевшую избами, притрактовую улицу, похожую на обезумевший и обеззубевший, провалившийся старческий рот, обметанный сухой ковылью, где вольно гулял и ночами разбойно свистел гулевой ветер, бухал ставнями, взвизгивал калитками.

Глухо в закатной деревушке; лишь подле речушки Шабарши, что тихонько шабаршила среди буйно зеленой осоки и лохматой кочкары, Еремей встретил Настасью, костистую, жилистую бабу, что по-соседски подсобляла горемычному вдовцу по-хозяйству и, сама давно уж овдовевшая, в душевном потае, похоже, метила в хозяйки. Но Еремей, и тоскующий по жене, и палимый виной перед покоенкой, чтит Настасью лишь как пособницу да сестру во Христе, дружески склоняя ее ко святому крещению и тоже подсобляя, если в усадьбе нужна была мужичья рука. Настасья черпала воду во флягу, умошенную в детскую коляску без кузова, и при виде Еремея заговорила было, но сосед лишь кивнул головой; о чем толковать, коль с утра перетолковали?! Сулилась присматривать за домом.

А подле магазина Еремей рысью обогнул родича ...дальний, седьмая вода на киселе... который раньше пахал без продыху, а ныне пьет не просыху; миновал торопливо, иначе взаймы попросит, и, как обычно, без отдачи: дай мне, а возьми на пне. Проморгал родич Еремея; спорил с козлом по прозвищу Борька, которого винопивцы привадили жевать окурки и, злобясь на Президента, величали иной раз Николаичем, прости, Господи, пьяным безумцем, не ведали, что творили. Еще вчера рослый и русокудрый, ныне счерневший, оплывший, до срока оплешивевший да и завшивевший, родич шатко сидел на магазинском крыльце и, глядя мутными, заиленными глазами, вопрошал козла, повинно опустившего рогатую башку:

— Эх, Борька, Борька, сука ты лагерная, обычай у тя бычий, а ум телячий... Ты чо, пахан, решил народ голодом уморить?! Коровью бурду лопают... Кого, кого?.. чо?.. чо говоришь?.. Чья бы корова мычала, твоя бы молчала... Сам-то, сука, коньяк хлещешь... пять звездочек, а мы катанку, паленку¹... Кого?.. Не ври, сучара!.. Кто врет, тому бобра в рот... Видали мы тебя в гробу в белых тапках...

«Пропал мужик, — обернувшись на ходу, посетовал Еремей. — А был механизатор широкого профиля; губерния гордилась, грамот полон комод и две медали; а как рухнула держава, рухнул и мужик. По-первости хоть и заглядывал в рюмку, но, бывало, и калымил на лесоповале, трелевал лес на тракторе; а ныне каждый день да через день пьяный в дымину. Пропил мозги, коли со козлом скандалит. Чудится, видно, что Борька ему еще и отвечает...»

За порушенной поскотиной ...жерди мужики растащили на дрова... среди бодыльника бродила

¹ Катанка, паленка — контрабандный (паленый) спирт низкого качества.

жалкая дюжина коров ...а вроде, еще вчера Еремей пас стадо... и в небе, что добела выгорело на палящем августовском солнце, одиноко и сиротливо кружил ястреб-куроцап.

На могилах, кои слезливо и понуро разбрелись по степному увалу, Еремей заупокойной мольбой помянул спящих родичей, а перво-наперво отца Мардария Прокопьевича, потом деда Прокопа, бабу Настасью и горемычного сына, сгоревшего от паленой водки... «Эх!.. — Еремей покаянно заскрипел зубами, заплакал, помяная сыновей, — надо бы растить не всё лаской, а ино и таской: старший бы не пил, младший бы по белу свету не блудил. В люди бы вышли... Старики же говорили: толк-то есть, да не втолкон весь. Ремнем-то и втолкал бы через задние ворота... Брать бы сосновую орясину, чем ворота подпирают и варнаков угощают, и выхаживать через день да каждый день. Ноне бы руки целовали... Мужик умён, пить волён, мужик глуп — пропъет и тулуп. Вот и мой... Царствие ему Небесное... — вина вновь опалила Еремееву душу. — Слава Богу хоть окрестился...»

А вот и Ньюшина оградка, словно женой и крашенная васильковым цветом... Еремей виновато уложил на могильный бугорок голубоватые и белые ромашки, со вздохом вспомнил, что сроду не дарил Ньюше цветы, сроду не пел в ее уши о любви, — стеснялся, пень горелый, а Ньюша любила ромашки... Издалека, из юности, тихо доплыла песня: «Если б гармошка умела всё говорить, не тая... Русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя?..»

«Да-а, где ж ты, ромашка моя?..» — Еремей тяжело вздохнул, вгляделся в морщинистый, пепельный крест, в замытую дождями, хоть и застекленную, туманную карточку, и накатила рябь в глаза, и лицо Ньюши поплыло, стало далеким-далеким, заоблачным, бесплотным. Но лишь отвел взгляд от креста, увидел Ньюшу живой: крепко сбита, но махоня, Бог росту не дал и красы бабьей, да коль отпахнутые глаза лучились любовью, а с бугристых губ не сходила странно виноватая, смиренная, ласковая улыбка, с чем и почил, то на Еремееву жену соседи, бывало, налюбоваться не могли. А что уж говорить о муже... Правда, сырая уродилась, слезливая: ладно бы в горе, а то, бывало, и в застолье радостном люди поют и пляшут, а Ньюша улыбается и слезами уливается...

Еремей трижды перекрестился на солновсход, и, давно уж вызубривший молитвы, промолвил заупокойную:

— Помяни, Господи, душу усопшей рабы Твоя Анна, и прости вся согрешения вольная и невольная, даруй ей Царствие Небесное и причастие вечных Твоих благих и Твоя бесконечныя и блаженныя жизни наслаждения...

Молитвенно помянув жену, пал на колени, сунулся лбом в щетинистый, могильный бугорок, и, давясь слезами, глухо зашептал:

— Прости, Ньюша... прости, Христа ради... Настрадалась ты, Ньюша, подле меня... ох, настрадалась, прости мя, Господи... — Еремей осенился крестом и покаянно вжался лбом в сырой могильный бугорок, словно надеясь услышать прощение из земного чрева. — Прости, и попивал, бывало-чи, и гулял... очухался, дак и жизнь за увалом... Наплакалась, Ньюша, прости меня грешного...

И вдруг Ньюшин голос почудился, но не тяжкий, из могильной глубины, а ветерком спорхнул с облака, плывущего в синеве, колыхнул чахлую листву кладбищенской березки:

— Бог простит, Ерема, а я не виню тебя... Без стыда рожи не износишь, без греха век не изживешь... Един Бог, Ерема, без греха... А слезы мои... слезы — роса: ночью пала, а утром солнышко слизало. Да лишнего-то не присбирывай... А год лежнем лежала, дядя за мной ухаживал?! Мыл, горшки выносил, кормил и поил?! А ты и скотом не попускался...

Помолчав, собравшись с мыслями, Еремей поведал нынешнюю беду и просил благословить на кочевье:

— Надумал я, Ньюша, кочевать в Иркутское... к сеструхе. Тяжко в деревне, один же как перст... — помянулась дочь, что мотается по белу свету за мужем офицером; помянулись и сыны: один в деревне угорел от паленой сивухи, другой на Тихом океане болтается, как навоз в проруби, вроде, треску и селедку из океана гребет совковой лопатой да шлет изредка весточки: мол, жив-здоров, лежу в больнице, с переломом поясницы, но скоро гряну с долгими деньжищами, и, однако, уж пятый год грядет. Ньюша, бывало, в печали родительского сердца молилась преподобному Сергию Радонежскому и великомученнику Евстафию Плакиде за чад, безвестно летающих по белу свету; а за сына, палимого вином, денно и ночью Иисусу Сладчайшему: де, умоляю Тя пощадить мое чадо и избавить сына от пьянства греховного; истреби зависимость мерзкую и на-

влеки на сына волю дерзкую. Пусть к питью он не притронется, и тяга его успокоится...» Но опоздала заздравная молитва, заупокойной пришел черед...

— Лихо мне в деревне, Ньюша, глаза б не глядели, как деревня загибается... А в Иркутском, Ньюша, хоть душа родная — сеструха... Зовет... Тоже одна кукует... Говорит, в Иркутском и пенсию оформишь... Ничо меня в Шабарше не держит, Ньюша; а вот как с тобой расстаться?..

— Езжай, Ерема, с Богом. С родной душой и доживешь век. Вот и будете напару домовничать... А добрая баба подвернется, дак и женись, не монах же. Вон и Настасья одна горе мыкает... О могилке не печалься, в могилке — прах, а в город укочуешь, сходи в церкву, поставь свечку на помин души рабы Божьей Анны да помолись о многогрешной...

— Помолю-юсь... чего не помолиться? Да вот беда, услышит ли Бог... во грехах, как в шелках... Писание-то почитываю, а...чо уж греха таить... лоб перекрестить забываю. Да... Помолюсь, конечно... помолюсь, Ньюша, и ты молись за меня, грешного...

— Молюсь...

Еремей хотел бы молвить ходовое, могильное: мол «пухом тебе земля», но смекнул, что костям безразлично: земля — пух, камень, корень, песок, суглинок, а вот душе...; а посему повторил заупокойную мольбу:

— Упокой, Господи, душу усопшей рабы Божией Анны, и прости ей вся согрешения вольная и невольная, и даруй ей Царствие Небесное.

«Даровал, поди; недаром батюшка и отпел на святую Анну-пророчицу... Ежели Ньюше рай не даровать, дак кому тогда?! И Богу молилась, и билась, как рыба об лед, всем пособить норовила; никого не осудила... и сроду худого не помыслила. Век прожила, на чужом дворе щепки не подобрала... Крутилась, как берёста на огне: и на дойку поспеть, и свою скотину обрядить, и домочадцев накормить...»

Вернувшись с могилки, словно во сне, неприкаянно бродил по усадьбе, глядел сквозь слезный туман, и везде — в коровьей, куричьей, овечьей стайках, в амбаре, на сеновале, в сенях и избе, — везде виделась Ньюша: плечом к плечу городили, обихаживали подворье, что досталось от деда Прокопа. Старик...а тогда еще маслатый мужик... срубил избу, стайки, амбары и баню не в лапу, как привадились иные плотники, а по-старинке в охряп, когда, высунувшись из угла, венцы светятся, словно череда солнц. Даже баня...опять же от деда Прокопа, Еремей поменял лишь нижние венцы и полы... даже баня, как встарь, топилась по-черному, дым валил через волоковое окошко. Не рушил Еремей заведенной стариком подворной облички, и когда верей, на коих висели тесовые ворота, подгнили у земли, вкопал свежие листовничные столбы, а заодно поменял и тес на воротах и на двухскатной крыше. Потом обновил свежим лесом и бревенчатый заплот. А сколь в завозне выжило дедова инвентаря, начиная от стожней, длинных трезубых вил для метания сена в зароды, и кончая кожемьялкой.

Сглупа Еремей пытался продать усадьбу, но даже по-дешевке никто не брал, коль и брошенные гнили под дождем-сеногноем. «Оно и ладно: может не заживусь в Иркутском, прибегу в Шабаршу, — подумал Еремей. — На всё воля Божия...»

По доброму-то погодить бы до бабьего лета, выкопать картошку, моркошку, свеклу, ссыпать в подпол, но не лежала душа, все валилось из рук, и мужик попустился; огородину на корню отдал соседке, — сгодится: через три дома от Еремея жила Настасьина невестка, безработная, овдовевшая с тремя чадами, мал мала меньше. Муж, тридцатилетний Настасьин сын, по-первости горбатился на воровском лесоповале, и крох, что хозяин кидал с барского стола, едва хватало семью прокормить, а надо и голь прикрыть; благо, мать подсобляла, выкраивала из пенсии на внуков, благо, корову, бычка да кур держали, а то хоть по миру бреди с холщевой побирушкой-помирушкой. Если при народной власти сельские, а ино и городские, пряткие мужики мотались за длинным рублем на севера и великие стройки, то сын соседки, отчаявшись, завербовался на кавказскую войну, где и сложил буйную головушку; да так сложил, что и отыскать не могли; друзья-однополчане нашли лишь обезглавленной тело. Мать от горя почернела; а невестка все глаза повыплакала...

Еремею собраться — подпоясаться; укутал в наволочки дедовы иконы и семейные карточки, набитые в узорчатую раму, лобзиком самолично выпиленную из фанеры, потом собрал скудные пожитки в заплечный сидор и чемодан, повесил на сенные двери ржавый амбарный замок без ключа, земно поклонился родному подворью, в заветном укроме души чая вернуться, и тронулся с Богом.

* * *

Поселился у сестры; слава Богу, у вековечной бобылки водилась за душой двухкомнатная квартирешка в древнем бараке Знаменского предместья, затаенном в тополевой чаще. Ветхое жилье, сырое, зябкое, но век доживать можно; да и грех жаловаться — с крушением страны столь народу обездомело.

По приезде огляделся, прописался, вспомнил, что пора пенсию выхаживать, и рванул в собес... так по старинке звал Еремей пенсионный фонд... и подивило мужика: пенсиишки — грошовые... хлеба купишь, на чай занимай... а собес — роскошный дворец, похожий на муравейник с гору; задерешь башку, чтобы крышу узреть, фуражка падает; а в муравейнике мельтешат чинуши мурашами, бумагами шелестят, перьями скрипят, меж собой судачат на тарабарном говоре, где изредка мелькают словеса русские.

Долго потомственный скотник выхаживал пенсию; пластался по собесу, как савраска без узды; в муравейнике то выходной, то проходной... поцелуй пробой и вали домой... да еще на кого нарвешься. Еремей и нарвался на пучеглазую, дебелиую деву, маскараднo крашенную, со взьерошенной копной белесых волос; про эдакие прически в деревне говаривали: «Не одна я в поле кувыркалась...» да приговаривали: «Щеки свекольно напонадила, глаза насурьмила, — черные да узкие, как у дикой тунгуски, королюки на шею наздевала в три нитки, и пошла трясти подолом, мужиков сомущать...»

Топорно рубленный в охряп, скуластый, в черном, коробистом пиджаке, на лацкане которого алел знак «Ударник коммунистического труда», Еремей стеснительно мялся с ноги на ногу подле стола, тряскими руками скручивал в жгут фуражку с долгим, похожим на клюв, жестким кондырем. Мысленно бранил себя: «От чучело замшалое, от чухонь, и кого начепурился?! Еще и фурагу американскую напялил; смешно смотреть, сидит на башке, как седелка на корове...»

Похожая на сову, дива пучеглазая вальяжно посиживала, растекшись крупом на вертлявом стуле, и, не глядя на мужика, кроваво крашенными коготками скребла бумажную гору, лениво листала бумаги. Над ее лохмами в бурой, слизистой раме висел кичливый, горделивый Президент, вылитый тать придорожный, атаман разбойный. Еремею почудилось: глаза Президента, как у быка необлегченного, вспучены хмельной удалью; и отчаянные, мутные думы забродили в Еремеевой голове; но если, обличая варнака придорожного, поведать мысли книжным слогом, думы горемычного простеца обрели бы эдакую обличку...

С упованием на чудо, с надеждой на грядущего отца народа, и выживало бабье и мужичье, а то и просвета в ночи не зрело. Под чужебесный шабаш кремлевской нежити, что за тридцать сребреников продали Русь, под звериное рыканье кабацкого ярыги — кремлевского самозванца-самохвала, — холопы тьмы и смерти похабили и грабили Россию, уже лежащую на смертном одре под святыми ликами; хитили тати российское добро, что отичи и дедичи кровью и потом добывали, а для содомской утехы и потехы изгалялись, нетопыри, над русским словом, древним обычаем и отеческим обрядом, чтобы народ и голодом-холодом уморить, и душу народную вынуть и сгноить. О ту злочастную пору смешно и грешно было бы стучаться в кремлевские ворота с горестями; се походило бы на то, как если бы мужики из оккупированной смоленщины и белгородчины били челом германскому наместнику, лепили в глаза правду-матку и просом просили заступиться: *мол, батюшка-свет, наше житье — вставши и за вытье, босота-нагота, стужа и нужда; псари твои денно и ношно батогами бьют, плакать не дают; а и душу вынают: веру православную хулят, святое порочат, обычай бесчестят, ибо восхотели, чтобы всякий дом — то содом, всякий двор — то гомор, всякая улица — блудница; эдакое горе мыкаем, а посему ты уж, батюшка-свет, укроти лихомцев да заступись за нас, грешных, не дай сгинуть в голоде-холоде, без поста и креста, без Бога и царя...* Пожалел бы чужеверный правитель горемышное русское народишко, как пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву: ухмыльнулся бы в рыжие арийские усы и подпалил сигарету от горящей челобитной.

Еремей тут же покаялся в душе, что всяко высрамил Президента; все мы — день во грехах, ночь во слезах, да и речено же в Писании: не судите, ногами не топчите, а то и сами в лоб схлопочите.

С горем пополам крашенная дива вырыла Еремеевы бумаги, которые он давненько уже всучил собесу, и стала заполнять бланк.

— Ере...мей... Мар...дар...евич... — диве почудилось имя смешным, а отчество еще потешнее, и она едва сдержала смех, распирающий пышные щеки. — Еремей Мардарьевич?.. верно?

— Верно...

— Вначале «мар» или «мор»?

— Мар... Не от «морды», от «мар» и «дар»...

Вспомнился колхозный ветфельдшер Яша Ягодицын, — конский врач по женским болезням, как величал себя во хмелю, — лысоватый, узенький, суетливый мужичок с ноготок, который, знакомясь в застольях, протягивал сухонькую, нервную руку: «Ягодицын — не от ягодицы, от ягоды...»

С фамилией у Еремея ладно — Андриевский, а вот с именем, а тем паче с отчеством, ох, не подфартило... Боговерущий дед Прокоп, начитавшись житийных сказов, одарил внука эдаким имечком, от коего Еремушка заплакал в школьном отрочестве, — потешались сверстники, дразнили: «Ерёма-дрёма, сиди дома, вокруг дома бродит бома¹...» Бывало, впорхнет Еремушка в избу, размазывая слезы по щекам, пожалуется деду Прокопу, а дед утешает, поучает: мол, дразнят, а ты им: не ставь кулему на Ерему, сам попадешь... Сплошь Владимиры в память об Ильиче, повально Юрии в честь парня, что занебесной тропой обошел землю, а тут Ерёма... дрёма; отчество же и того хлеще — Мардарьевич. И угораздило же отича родится по святцам в день памяти святого Мардария... Отроком Ерема подслушал, как хмельной отец жалобно пытал деду Прокопа: «Отец, а отец!.. ты пошто меня Мардарием назвал?» «По святцам, сына, по святцам... — дед Прокоп кивал по-птичьи махонькой, белопушистой головушкой. — Ты же, сына, родился в память святого Мардария, Киево-печерского рачителя нищеты...» «А получше-то имя не нашлось?.. Чо, в святцах один Мардарий был?.. Видел я в святцах и Сашу, и Вову, и Колю, и Женю... Ты пошто, отец, мне страшное имя-то дал?..» Дед хитро и ласково глянул на сына: «А для смирения, сынок...»

Хотя Еремей на своем веку встречал имена и похлеще, навеянные волчьими ветрами: в деревне померла древняя Изаида²Ивановна, избачка, так в досюльные лета звали библиотекарей в избечитальне; колхозом одно время правил Мэлс³ Исакович, а на районном слете доярок, пастухов и скотников...запомнилось же... вручала похвальные грамоты секретарь райкома партии Даздрамыгда⁴ Ибрагимовна Мухутдинова.

— Год рождения? — спросила дива, глядя в бланк сквозь синие ресницы.

— Сорок первый.

— Место рождения: деревня Ша-бар-ша... — дива опять ухмыльнулась.

Еремею хотелось тихо и зловеще попросить: «А вот этих ухмылочек не надо, а то мы тоже можем...», но что мы можем, мужик не ведал, а посему лишь кивнул головой, и далее отвечал послушно; лишь споткнулся, замешкался, когда дива пыталась насчет образования.

— Образование?

— Образование! — дива раздражалась.

— ШРМ...

— Это что, колледж?..

— Школа рабочей молодежи! — отчеканил закипающий скотник.

— ШРМ... — крашенная дива не удержалась, рассмеялась: похоже от созвучия, соцветия ШРМ с «шарашкой» и «шарамыгой».

Еремей, отроду комолый — так в деревне звали безрогих быков и смирных мужиков, что муху не обидят, нынче, словной блажной, психанул, и, катая желваки под скулами, про себя зловеще упредил: «Смотри, телка, не лопни!..»

— Кем работали последние годы?

— Скотником.

— Профессия такая? — опять ухмыльнулась дива.

— Профессия... за коровами говно убирать...

— Вы как разговариваете?! — вспыхнула дива. — Вам здесь что, скотный двор!?

— А чо ты мне, халда, дурацкие вопросы задаешь?! И хайло распазила... Не с той ноги встала?..

1 Бома — одно из многочисленных имен чёрта.

2 Изаида — иди за Ильичем, детка.

3 Мэлс — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин.

4 Даздрасмыгда — от сокращения лозунга «Да здравствует смычка города и деревни».

Еремей не глядел на диву, а вроде лаялся с Президентом, холодно и презрительно глядящим на скотника из глубокой и грузной, резной рамы, словно из лакированного гроба. И, вроде, стыло усмеяется, пуская мимо ушей Еремееву брань: собака лает, ветер носит, караван бредет...

Дива презрительно глянула на потомственного скотника и, грозно молотя копытами, ускакала из кабинета. Еремей подивился: и как она, дура, ходит на эдаких высоченных каблуках, словно на скоморошьих ходулях?! Лодыжки же вывернешь, упадешь, убьешься... Не успел Еремей додумать горестную думу, как дива и ворвалась с начальником, таким же стильным, молодым, хотя и с брюшком, начальственно нависающим над брючным ремнем. Оглядел Еремей начальника, глянул на размалеванную красу, и мужичье чутье подсказало: блудят исподтишка...

— Вы почему грубите?! — начальник со свинцовой тяжестью уставился на Еремея сквозь толстые очки.

— А кого она смеется?! Прекраса, кобыла савраса... Чо смешного? ШРМ да ШРМ... Я с четырнадцати лет пошел в колхоз чертомелить, из-под коров навоз выгребать. Отец хворал... раненный с войны пришел, и мать хворающая... Вот и доучивался в ШРМ...

— Мужик, нам до фени твое гребанное ШРМ!.. ты, хамло, извинись перед сотрудницей!.. — по-рачьи пуча зенки под очками, багровея опухшим лицом, начальник пёр брюхом на мужика, дива заполошно кудахтала, словно кура, кою петух оттоптал, но Еремей уже худо слышал, худо видел: уши забило сенной трухой, глаза заволокло жарким туманом, и привиделось во мгле: вроде парень — бульдог с тупым рылом — бежал, бежал, хрясь об столб, и харя плоская, и глаза налиты кровью, а дива — долгая такса, и не люди, а псы лают на него, потомственного скотника.

Еремея затрясло, как в родимчике; потомственный скотник, обходя взглядом начальника, глядел на портрет и бранился с Президентом:

— Ты норки-то не раздувай, не раздувай, не боюсь, — это звучало молитвенно: де, «...страха вашего не убоимся, ниже смутимся: яко с нами Бог...». — И на арапа не бери, глотку-то не рви, глаза не пучь... Ты чо, думаешь, я пыльным мешком из-за угла пуганный?! Не на того нарвался; на Руси не все караси, есть и ерши... Страну разворовали, сволочи... Да, вам!.. — Еремей обреченно махнул рукой на Президента, — вам хоть наплюй в глаза, всё Божья роса!..

Как пробка вылетел из собеса, пал на садовую лавку под корявым тополем, и когда дрожь унялась, гнев утихомирился, горестно сплюнул в ржавую траву: «Тьфу! И почо, балда, обляял мужика и девку?! От язык, а!.. прежде ума рыщет, беды ищет...» А тут еще и голос Ньюши померещился: «Эх, Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил веретёна... Кого ты на них накинудся, будто пес цепной?! А дед Прокоп, помню, говорил: злое слово и добрых обращает в злых, а доброе слово и злых обращает в добрых...»

В Еремеевых глазах потихоньку разъяснело, словно ветер-верховик угнал стадо серых туч, и в стыло синих небесах привиделось: мужик молодой, а весь оплыл, мамон как у бабы на сносях, лицо одутловатое, багровое, — однако, паря, не заживется на белом свете. До слёз стало жалко мужика: палит душу, гневливый, горделивый, надсаживает тело, — любит крепко выпить, закусить, чревоугодник. Пузо лопнет — наплевать, под рубахой не видать... Не долго протянет, бедолага... И дева приоблазилась: пустоцвет, махом отцветет, опадут лепестки в осеннюю лужу, где кочуют облака, обнажится жалкий пестик, и рванет октябрьский ветер-листодер, сломит хилый стебель... — словом, женатый мужик... в поле ветер, в штанах дым... с коим жила в блюде, бросит ее, увядшую, бесплодную... грязно выдавила плод, сгубила душу ангельскую... и запьёт, и запоет «лазаря» обесположенная бабонька, и озлобится, да следом за мужиком и улетит в тартары...

Выветрилась обида, и томительная жаль стиснула душу, словно сам и породил парня с девкой; и так стало жалко горемычных, что, преодолев сомнения, робость, Еремей вернулся в кабинет, где, как и ожидал, застал начальника и подопечную. Сидят и, поди, его мужичьи кости перемывают... Смутно помнил Еремей, как путано... чухонь чухонью же... бестолково извинялся, но врезалось в память, что вдруг и начальник извинился, потом и дива смущенно опушила глаза синими ресницами...

А в сестрином бараке, некогда сиреневом, ныне облупленном, утаенном в тополином плетеве, у Еремея впервые мучительно защемило душу, кинуло в жар, перед глазами поплыла цветастая рябь, и белый свет померк. С горем пополам доползла до Знаменского предместья «скорая помощь», утортала сердечного в губернскую клинику. Пенсионные документы оформляла сестра, а

Еремей, выйдя на волю, опять занедужил и лежал под святыми образами, едва живой, как осенний лист, как догорающая лучина.

Но прежде веку не помрешь; одыбал, и подолгу сидел недвижно, томился, непривычный к праздному сидению без заделья; а истомившись без дела, пошел искать хоть завалиющую работенку, но нигде не брали пенсионера, невзрачного и нерослого. По настоянию сестры, богомольной бобылки, прибился к Знаменскому собору, и, почитывая Писание, исповедуясь и причащаясь Святых Тайн, стал помышлять о Царствии Небесном, куда, полагал, скоро Господь поманит. И однажды после литургии, укрыв левую ладонь правой, пробился к батюшке под благословение и посетовал на то, что мается без работы. Батюшка и пристроил Еремея церковным сторожем; а уж дворничал безкорыстно: в отраду прохладным летним утречком подмести ограду, в утеху, рдея щеками, пихать, кидать хрусткий снежок.

Но лишь оттепело, и городской снег побурел, набух влагой, Еремей, чуя себя кукушкой без гнезда, по-вешнему остро затосковал по дедовой избе; даже виновато плакал ночами, словно и не избу, а мать родную бросил; и мать, одинокая, скорбная, печалиться у калитки да, заслонив ладонью закатный светит, долго глядит сквозь слезный туман в край улицы: не покажется ли блудный сын... Оно, и перемогся бы, перехворал тоской... пенсию выходили, выхлопотали и работа благодатная при храме... но скучно стало Ерёмушке на чужой сторонушке, да вдруг от шабаршинской соседки Настасьи еще и письмо пришло, где после вестей — кто спился, кто утопился, кто женился, кто родился, кто крестился, — Настасья писала: «...бывший зоотехник Илья Гантимуров, у которого два магазина и заправка, надумал хозяйство открыть, скота держать. Говорят уже справил бумаги на землю и ферму, что возле речки, хорошо хоть не успели ее расташить. На собрании говорил, что по весне будет скот закупать. Работников нанимает, и тебя спрашивал. Чо уж у Ильи выйдет, Бог весть, но мужики надеются...»

Сколь не отговаривала сестра, по весне Еремей собрался в родную Шабаршу: мол, пора картошку сеять...

Сентябрь, октябрь 2015.

Одинокая бродит гармонь

*Памяти славного сибирского гармониста
Юрия Григорьевича Ззнетова*

Аполина-арий... Серафи-имыч...

Сочно синело рукотворное осеннее море, цветастыми зарницами полыхали рябины и черемухи, пряча в чаще старые двухэтажки-деревяшки, где я блуждал, отыскивая дом гармониста Ухова. В глухом дворике, устланном палой листвой, словно домоткаными кругами и дорожками, где плескались на ветру высохшие простыни, наволочки и пододеяльники, выглядел старушек... тихо судачили меж собой Божии одуванчики... спросил о гармонисте, и древние указали на отпахнутое окошко второго этажа: «Да вон... играет на гармошке. Выпил, поди... гармонист молодой...» И верно, из окошка вначале плыли «амурские волны», тая в багровой, черемуховой листве, потом светло, безгорестно заплакала «одинокая гармонь», и душа моя запела:

Снова замерло все до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Только слышно — на улице где-то
Одинокая бродит гармонь.

Веет с поля ночная прохлада,
С яблонь цвет облетает густой...
Ты признайся, кого тебе надо,
Ты скажи, гармонист молодой...

Напевая, нырнул в темный подъезд, полез по лестнице, узенькой, крутой, певучей, старчески скрипучей, пахнущей котами и кошурками; а вот и дверь, странно, что деревянная ...горожане по лихим временам давно уже, словно в тюрьмах, обитают за решетками и железными дверями... да мало, что деревянная, ромашками раскрашена, и апельсиновое солнышко светит на ромашковый луг. «Детский сад...» — весело подумал я и пуще повеселел, когда увидел хозяина, похожего на расписную дверь.

В узеньких сенях красовался приземистый, ершистый мужичок: щекастое, румяное лицо, задорно вздернутый нос, полыхающие васильковые глаза, сивый чуб, нависающий над бровью, долгополое, светло-серое, русское рубище, перепоясанное цветастым кушаком; по вороту, рукавам и подолю — рябиновые обережные кресты. Подждал, видно, нарядился...

И узрелось дальше, деревенское, гаснущее в сумерках... Коль семейство наше, щедрое чадами, жило хмельно и бедно, то мне, отроку, чтобы не ходить босым и не сверкать заплатами, приходилось зашибать копейку: мерзнуть и мокнуть на зоревых рыбалках, потеть на лесопосадках, на комбайне «Сталинец» глотать пыль, сластящую и першашую горло. Гранит науки бы грызть, но жизнь... Все сельские заделы, кои в охотку и азартно исполнял, теперь не упомнишь, но, глядя на гармониста, петушинно наряженного, вдруг выглядел из отрочества, как со сверстным цыганенком калымил в магазинах и складах «Райпотребсоюза»: запрягши матерого, но тихого мерина в телегу-одноколку с коробом, возил мусор на степную свалку. По-птичьи легкий и вертлявый, парнишонка из оседлой цыганской семьи бойко играл на гармонии, пел и плясал, даже на брюхе; и, случалось, красовался на клубной сцене в атласной алой рубахе с кушаком, в синих шароварах с напуском на сморщенные яловые сапожки рыжего цвета. И в сем концертном наряде цыганенок и явился на калым... Загрузив на телегу с кузовом битые банки, бутылки, мятые коробки, ломанные ящики, упаковочную стружку, гнилую хозяйственную бумагу, укрыв хлам брезентом, уселись сверху и тихо колесили по трактовой улице, что выгнулась вдоль озера на восемь верст. Я ивовым прутом погонял сонного мерина, а цыганенок горланил во всю луженную глотку, хлеща по пузу, словно по гитарным струнам:

Замурдынэ дрэ большэн о чергэня,
Амари яг брышынд баро зачингирдя.
Со ж гилы ырим э на шунава?
Кай, кай, мэ тут дужакирава, кай, кай гилы тыри?..¹

И вдруг из поперечной улицы на тракт вывернул завклубом, — дебелый мужик в светлом пиджаке, с портфелем и при галстукке; взгляделся завклубом в мусорную повозку и, когда та уже миновала, вдруг узрел, что цыганенок сидит на мусоре в клубном костюме... Мужик схватился за голову и понес цыганенка по кочкам, а потом ...и откуда прыть взялась... бодро порысил за нами. Я с перепугу ожег мерина прутом, и конь лениво затрусил по тракту, но завклубом уже догонял; и тогда цыганенок, соскочив с телеги, поскакал впереди мерина, которого и завклубом обогнал. Так они бежали по деревне, пока мужик не запыхался; но долго еще грозил цыганскому отродью кулаком. Рубаху, шаровары, рыжие сапожонки отобрал у цыганенка и выдавал лишь на концерты.

— Ухов... Аполинарий Серафимыч, — гармонист подал руку ...корявая, ржавая лопата... и, работяга, так нарочито и железно тиснул, что я поморщился: силишша!.. эдакого пенсионера лишь в соху запрягать да пахать.

— Как Вас?.. не понял...

— Аполинарий Серафимыч, — улыбнувшись, Ухов сверкнул позолотой вставных зубов. — А Вас?

— А нас проще: Анатолий... Байбородин.

— Слыхал, слышал... Кажись, читал... — прищуристо взгляделся в меня. — А-а-а, вспомнил: мужик прилетел на метле... ну, кривой, как турецкая сабля, — Ухов щелкнул пальцем по глотке, — а баба хлесть его сковородкой по лбу...

— ...и у мужика в голове сворохнулось: бросил пить, курить, поет в церковном хоре...

— Во, во, во!.. в церковном хоре.

¹ «Забилась в небе звёзды, /Наш костёр потушил большой дождь. /Что же песню твою я не слышу? / Где, где, я тебя жду, где, где песня твоя?»

— Нет, это не я писал, Апо...

— Аполинарый Серафимыч... — весело подкасал гармонист, а я невольно ухмыльнулся: кругленький, махонький, эдакий колобок с голубыми глазками и пуговкой вместо носа, а имя высокое и величавое: Аполина-арий... Серафи-имыч...; хотя с фамилией не подфартило, короткая — Ухов, но, опять же, по росту. — Дед учудил ...кержак¹, по святцам вычитал... а батя против деда хвост не задирает, подчинялся... Короче, вышел я Аполинарый Серафимыч. Вот и кличут по-бабьи: кто Полиной, кто Линой... Да по мне, Анатолий, хоть горшком обзови, да в печь не сажай...

Я тут же нашарил в кармане записную книжку, ручку и записал имя и отчество.

— Аполинарый: с одним «л»?

— В паспорте с одним... А Вас как по отчеству?

— Григорич...

— Ну, Григорич, милости просим... Баушка убежала ...как вы с ей разминулись?.. стол сгношила и в церковь уметелила — божественная бабка...

— А Вы?

— Не-е, — вздохнул гармонист, — хожу в церковь по великим праздникам... Я и крестился под старость. Но в Бога верю. А как же, без Бога ни до порога. Да...

«Снится мне гармонь...»

Из прихожей свернули в горницу, красную углами и пирогами, где ...искушение чревоугодников... поджидал гостя щедро накрытый, овальный стол; вокруг пузатенького графина — хоровод закусок: исходящая паром рассыпчатая картошка, омуль сухого посола, квашеная капуста с клюквой, соленые огурчики и, нежданно-негаданно, подслащенная, талая брусника. К столу жмутся гнутые венские стулья; светятся бурым лаком; на сиденьях круги, сплетенные из цветастых лент.

— Ну, Григорич, присаживайся, и не взыщи, чем богаты, тем и рады, — Аполинарый Серафимович, чинно поклонившись, широким жестом указал на закуски.

Помолившись, перекрестившись ...в красном углу я узрел иконы... уселись за стол; крякнули, пригубив рябиновки ...шибко забориста... и гармонист оценивающе вгляделся в меня.

— Из газеты, Григорич?

— Из журнала.

— А-а-а... — гармонист почтительно покачал головой, услужливо плеснул в рюмку. — Про меня писали, и в телевизоре казали. Да... Помню, первый раз сняли, спрашиваю журналиста: «А можете передачу на диск записать?» «Легко... — говорит. — Завтра приходите на студию, оставлю диск на Ваше имя... Внизу, у охранника спросите...». Прихожу, взял диск, вечером пошли с баушкой к сватам — у них можно диски глядеть. Родня подвалила, стол накрыли, сели, как путние, врубили диск... Я гляжу, ёкарный бабай, ничо не понимаю: где я-то?.. кажут девок полуголых, а меня нету... Галя, баушка моя, психанула: «Вот ты где снимаешься со своей голяшкой!..», и убежала... От, Григорич, опозорился. Этот журналист, холера его побери, диски перепутал... Но потом меня и в Иркутске, и в Москве казали... рядом с Завокиным, с Геннадием. Их же двое, Геннадий и Александр... на балалайке-то играет... Видел «Играй, гармонь»?..

— Кого видел?! Участвовал: на заборе с дочкой сидел, когда в Тальцах «Играй, гармонь» писали... Были в Тальцах?.. музей под открытым небом... Ну, как едешь на Байкал...

— Да я, Григорич, в Тальцах на Масленицах играл...

— Да?.. И вот, значит ...а я о ту пору дворничал в музее... и значит, прикатали Заволокины «Играй, гармонь» писать... Лето, поляны в цветах, а я познакомился с Александром — брат Геннадия; и вот сидим мы в березнячке и, грешным делом, выпиваем, а тут Геннадий прибежал, такой шум поднял ...он уж весь избегался, искричался, Александра искал... ну и, короче, разогнал нашу бражку...

Аполинарый Серафимович с почтением оглядел меня и сочувственно спросил:

— А допить-то дал?

¹ Кержак (керженец) — старообрядец, принадлежащий поповскому согласию, центр которого находится в Нижегородской губернии на реке Керженец. Керженцы или «кержаки» были против существующей государственной власти, и считали Петра Первого воплощением антихриста.

— Ага, дал; догнал да еще поддал... Так что, могу воспоминания писать. А что?! Помню, на шукшинских чтениях ...на Алтае было дело... мужик вышел на сцену и говорит: «Я с Василием Макарычем встречался с глазу на глаз...» «Ой, расскажите...» — всполошились люди. «Я, — говорит, — сижу в приемной у второго секретаря Алтайского крайкома партии, и вдруг Шукшин выходит — в кожанке, в кирзачах и кепке, — сердитый такой. Ну, я к нему: «Здравствуйте, Василий Макарыч...» А Шукшин мне: «Да пошел-ка ты...». С тех пор, — мужик-то говорит, — не одобряю я творчество Шукшина...»

— Ладно, Григорич, соловья баснями не кормят, давай-ка еще по рюмочке. Своя, натуральная, на рябине выстоял...

Я поднял здравицу за русскую гармонь, и Аполинарий Серафимыч от умиления прослезился, — не завыл, но в отуманенных глазах блеснули слезы.

— Веришь, Григорич, ничо не снится, — ни водка, ни курево, — одна гармонь. Снится мне гармонь и снится... И такие во сне переборы выдаю, сам диву даюсь: откуда чо берется. И что интересно, вспоминаю днем, и начинаю играть, как во сне играл... Так капитально вжариваю!.. Счас покажу...

Аполинарий Серафимович взял с комода гармонь, петушинно расписанную ...листочки, цветочки, лепесточки и певчие птахи... присел, и-и-и!.. горница вздрогнула, пошаталась, пошла в пляс, где цветочным венком сплелись «подгорная» с «камаринским мужиком» и «цыганочкой». А гармонист играет, припевает:

Если вы потонитя,
И ко дну прилипнитя,
День ляжите, два ляжите,
А потом привыкнитя...

Пока Аполинарий Серафимович «вжаривал» на гармошке, я вспоминал; помянулся мне именитый, мастеровитый живописец, праздно и тоскливо доживающий век, смоля трескучую «Приму», попивая горькую... в одиночестве либо с приятелями, коих случайным ветром заносило в мастерскую. «Анатолий, беру краски, кисти, а писать не могу, — плакался живописец. — Хоча есть, а мочи нету... А во сне пишу, как молодой... И такие пленэрные пейзажи, такие натюрморты рождаются!.. Просыпаюсь — пусто, не могу писать...». Аполинарию Серафимовичу повезло: просыпается, играет, как во сне.

«Увяданья золотом охваченный...»

Я оглядываю опрятную, старомодную горницу: над кожаным диваном, облаченные в резные рамы, подмалеванные карточки гармониста и жены: Аполинарий Серафимович — снежная сорочка, черный пиджак и удавка на мужике, что седелка на корове; подле лунолика я супруга, — в берете и черном платье, с белым кружевным воротничком, похожим на изморозь; а над комодом картина, вышитая крестиком: Иван-царевич, обняв деву-красу, летит на сером волке, а за окном зорево и смущенно рдеют гроздь рябины.

Аполинарий Серафимыч запыхался, выворачивая из гармонии затейливые переборы, и, склонив голову, томно укрыв глаза, стал тихо играть мелодию за мелодией, а потом... гармошка навзрыд, и — песнь:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым...

Похоже, Аполинарий Серафимович вдруг томительно ощутил увядание ...седьмой десяток потек... и в изнеможении сронил на меха сивый чуб, потом рукавом рубахи смахнул слезу.

— Ну, давай, Григорич, помянем Сергея. Наш брат, гармонист, любил по деревне хаживать с тальянкой...

Выпил рябиновки, потрянул плечами, отпугивая кручину, и опять заиграл сперва тихо, потом

лихо, и горница набухла игривыми переборами. Потом еще и, закатывая глаза к потолку, пошел частушить:

Гармонист у нас чудак,
Залез с гармошкой на чердак.
Гармониста чудака
Тащили девки с чердака...

Аполинарий Серафимович вначале сидя притопывал под частушечные переборы, потом вскочил, заиграл «яблочко» и, выделывая ногами замысловатые коленца, пошел кочетом по горнице.

Эх, яблочко,
Куда ты котишься?
К басурманам попадешь,
Не воротись...

Наяривая «яблочко», Аполинарий Серафимыч подплясал к распахнутому окну, где после шальных переборов резко осадил гармонь.

— Григорич, иди посмотри...

Мы высунулись в окошко, посмеялись: на лавочке посиживали уже не две, четыре старушки, и два старичка подпирали дородный тополь.

— Ну, чо, старичье, билеты взяли?.. — крикнул гармонист Божиим одуванчиком. — А то привыкли на халяву... — и уже мне пояснил. — Старушонки мне то пирогов, то шанег напекут, а моя ругается: «Кого ты куски собираешь?! Побирушка...» Огрызаюсь: «Они же от души, раз любят гармошку...»

— А «Камаринского» можешь? — спросил дед со двора.

— Кого, кого? — гармонист выпучил глаза.

— «Комаринского мужика», вот кого.

— А плясать будешь, Петр Фомич? С выходом из-за печки...

— Можно и с выходом... из-за печки.

— А на запчасти не посыплешься, Петр Фомич? Потом собирай тебя...

— А ты не переживай, не переживай, ты играй... играй.

— И сыграю. Ну, держись, худая жись...

Аполинарий Серафимыч рванул меха, гармошка рявкнула, потом чуть стихла и пошла выкидывать коленца, а гармонист куражливо зачистил:

Ой, комар ты, наш камаринский мужик,
Собрался в лес, по дорожке бежит.
Он бежит, бежит, пошучивает,
Свои усики покручивает...

Похоже, слегка выпивший, Петр Фомич, «увяданья золотом охваченный», под умиленные старушечьи взгляды стал приплясывать, одной рукой покручивая, другой опираясь на тополь, чтоб не пасть лицом в грязь.

«Дайте в руки мне гармонь...»

Увижу опечаленным взором родное село, пылающее в багровом, пыльном закате, и слышу гармонь, — плачет, родимая, плачет сиротливо на ветхом, заросшем лебедой да крапивой, зеленоватомшистом подворье, а то вдруг взъярится и, как в бражном застолье, захлебнется лихим перебором. И поминаю далекую-далекую, деревенскую гулянку, запечатленную в сказе про позднего сына...

...В избе уже пошел стукоток каблуков, крики «и-и-их!», где сразу же по клочкам растерялась начатая было «Рябинушка», зато теперь чаще слышалась гармошка, набравшая удали, как-то незаметно заигравшая «Цыганочку».

Я в Америке бывал,
Кое-что я там видал,
Там и русский, и бурят,
Все по-русски говорят!..

— чуть не ревом проревел Хитрый Митрий, развалив меха своей по-петушиному раскрашенной переводными картинками, старенькой, но еще ладной хромки. Когда приспели баяны и даже гитары, редко вынимал Митрий на Божий свет свою распотеху, задвинув ее в темный, обросший седыми тенетами угол кладовки, но коль уж собралось немало людей пожилых, и гармошка пришлась впору.

Я с матаней пел на бане,
Журавли летели,
Мне матаня подмигнула,
Башмаки слетели!..

Тут уж гармошка — это вам не тренди-бреньди-балалайка — закатилась от смеха; захлебнулась, родимая, сплошным и радостным перебором, из которого, казалось, ей сроду не выбраться, но вот Хитрый Митрий, жарко светясь красным, похожим на переспелый помидор, круглым лицом, отрывисто, с подскоком вывел хлесткую частушку, похоже, своеручно переделанную из старой, поменяв Подгорную на улицу Озерную, где застольники и обитали:

Ты Озерна, ты Озерна,
Широкая улица,
По тебе никто не ходит,
Ни петух, ни курица!
Девки юбками взметнут,
Парни все с ума сойдут.

Про юбки и сдуревших парней Хитрый Митрий пропел не шибко внятно, да еще и приглушил слова лихими переборами, но все учуяли соромщину, кто хохотнул, кто кисло сморщился; кто шуточно погрозил вилкой, но короткие, землистые пальцы Хитрого Митрия уже бросились вдоль пуговок, гармошка медвежьей рявкнула, рванула, словно забилась в родимчике, и гулко застучали каблуки:

Эй, товарка, дробь бей,
Под ногами воробей!..

Ох, сколь под гармошечьи страдания девьих слез лито: «Если забудет, если разлюбит, если другую мил приголубит, я отомстить ему поклянуся, в речке глубокой я утоплюсь...»; а сколь парни набедовались от любви безответной, сколь гармошек изорвали: «Зиму лютую не спал, по матанечке страдал. Я бы замуж ее взял, говорит, что ростом мал...». А сколь про голосистую гармонь, отраду и отраву, песен свито, сколь виршей сплетено.

Вообразилось, словно явилось из вешего сна, как восходит луна из ночного, речного омута, увиделось в желтоватом и синеватом покойничьем свете, будто сельское мое семейство слетелось в гнездовище, на отчее пепелище и уселось в горнице за круглым столом. По случаю гостей мать смегла пыль с розового абажура, подвешенного на потолочную матицу, вишневой скатертью с кистями утаила столешню, залитую чернилами, истерзанную изрезанную. Но не долго горница красовалась вишневой скатертью; мать одумалась, смахнула скатерть и, несмотря на уговоры дочерей, спрятала в комод. На столешню привычно легла линялая клеенка, где ромашки спрятались, завяли лютики; впрочем, некогда цветастая, ныне угасшая клеенка вскоре спряталась под закусками и напитками: окуневая жарёха, сало, холодец, капуста и картошка, а на сельскую снедь нетерпеливо, свысока косились белоголовые бутылки. За круглый стол лишь мужики вошли, — отец, довоенные братья Гриша, Ваня, Коля, Саша, зять Коля и я, в лето семейного свидания ввинтивший в лацкан пиджака «поплавок», говорящий, что я окончил университет. За наращенный, узенький столик уселись мать, сестры Валя, Анна, Вика и две молодухи.

Когда мужики, степенно чокнувшись пожелтевшими от старости, гранеными рюмками, выпили, а женщины пригубили, смочили губы в красном вине, братья, посмеиваясь, наперебой стали вспоминать, как облапошились на рыбалке. Особо зубоскалил зять, родовой фартовый рыбак.

А вышла потеха так... По утру на двух легковушках, кинув в багажник бродничок¹ и сети, упылили на Красную Горку, — дальний берег озера Большая Еравна, что скатилось с таежного хребта в степь и калтусы голубым, диковинным яйцом, улеглось, верст на пятнадцать укрыв забайкальскую степь. Затабарились мужики, развели костерок, и пока варился, прел чай, кинули сети, пару раз завели бродник, но заудили на скудную варю пару окуней, пару чебаков да мелкую щучку-травянку. Вся надежда на сети, а поставили конца три, которые отец плел и насаживал долгими, вьюжными вечерами. И вот посидели возле шающего костерка, выпили и уж собрались было проверять сети, как из-за каменного быка вынырнула моторная лодка, осадилась подле сетей; и рыбнадзор, веслом задрал сеть, крикнул: «Эй, земляки!.. ваши сети?..» Братья замешкались, и отец, ведая какой тяжкий штраф и позор их ожидает, скрепя сердце, со слезами в голосе отозвался: «Нет, не наши...» Рыбнадзор с пособником стал выуживать сети прямо в лодку, а братья и отец тихо матюгались, зарились, глядя, как плещутся красноперые окуни с лопату, как могуче бьют плесом по воде матерые щуки, как взблескивают на солнце серебристые чебаки...

И вот сейчас за семейным столом мужики с горя выпили, брат Коля, утешая отца, посулился привезти сети из города, а Иван — ветфельшер или, как он себя величал, конский врач по женским болезням, — заиграл на отцовской гармошке. Застолье умолкло, и отец, с высокой колокольни плюнув на горемычные сети, на пустопорожнюю рыбалку, отмахнув сивые крылья с засиневших глаз, раздвинул плечи, горделиво встопорщил петушиную грудь, повел сипловатым, прокуренным, остаревшим голосом:

Дайте в руки мне гармонь,
Золотые планки,
Парень девушку домой,
Провожал с гулянки...

Мать и сестры подтянули, а потом — братья, и отцово пение утонуло в молодых сыновних голосах, и слышался наособицу сильный и верный голос брата Коли, первого песельника на селе. Помню, раньше меня и сестру Вику за стол не сажали — малы, и мы полеживали на печи, жевали калачи... мать, бывало, исподтишка сунет... и, раздвинув васильковую занавеску, дивились певучему застолью; а когда брат Коля заводил «Враги сожгли родную хату...», чудилось нам, малым, радио поет, — черная воронка, висящая над комодом. Обычно застолье, слушая солдатский плач, стихало, словно в минуты горестного молчания, и когда брат печально молвил: «Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой: хотел я выпить за здоровье, а пить пришлось за упокой...», после обреченных слов, мать беззвучно плакала, из глаз Аннушки слезы текли на клеенку, и лишь сестра Валя, степенная воспитательница детского сада, удерживала плач.

Нынче горестных песен не пели... Смущенно и умиленно вслушиваясь в русские песни... сам я даже не подтягивал: медведь ухо оттоптал... вспоминая слова, я подивился: уйма же песен про гармонь!.. Вот слышу: Исаковский, грустный, но беспечальный, возлюбленный селом:

За рекой гармонь играет —
То зальется, то замрет...
Лучше нету того цвету,
Когда яблоня цветет...

А вот Фатьянов, молодой, озорной:

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь...

И опять Фатьянов, нежный и закатный

Если б гармошка умела
Всё говорить не тая,
Русая девушка в кофточке белой,
Где ж ты, ромашка моя?

¹ Бродник — небольшой невод, который заводят два рыбака, *бродя* по мелководью и вытягивая бродник на сухо.

А вот Есенин, плачущий по древлесельскому отрочеству:

Дальний плач тальянки, голос одинокий, –
И такой родимый, и такой далекий...

«Под кроватью прятался с гармошкой...»

...Гармонь, тальянка, воспетая, оплаканная русской душой, пока не смокла, не вывелись на Руси гармонисты, вроде Ухова, мужика сибирского. Потешил, подивил земля Россия-матушку лихой игрой, хотя музыке сроду не учился ...самородок, слухач, самоучка ... всю трудовую жизнь трезво и мастеровито отпахал монтажником и сварщиком. Года три варил за границей; и хотя курица — не птица, Монголия — не заграница, но и в пустыню Гоби балбеса не пошлют. И в Монголии мужик гармонию спасался, чтоб не остыла душа посреди вьюжной степи, не спеклась на палящем солнце; да и легче под гармошку укрощать тоску по родине.

Я гощу в покойной горнице, напоминающей родную деревенскую, и закатное солнце, сочась сквозь листву, задумчиво плавает по вышивкам, где царевич с девой скачет на сером волке, по старым карточкам, где, подкрашенные, красуются гармонист с женой. Аполинарий Серафимович назойливо потчует рябиновкой и хвастливо живописует свою судьбу сварщика и гармониста, а я привычно черкаю в записную книжку.

— ...А родился я, Григорич, на Алтае... Слышал, Солоновка?.. Кержаки там... Но я на белый свет народился — месяц стукнул, семья наша уочевала в Мишелевку. Слышал, поди?.. под Иркутском... А потом отец завербовался в Якутию, на Лену-реку. Отец был простой работяга, — печник, каменщик. Еще при царе окончил четыре класса церковно-приходской, и его, как грамотного, серьезного мужика, выбрали десятником, а потом — мастером на кирпичный завод. Все его в поселке уважали — работяга был добрый, справедливый, и такой здоровый, за пятерых чертоломил. Силища была... Помню, бык разбушевался, народ гонял; одну девку на рога поймал и в речку кинул. И веришь, Григорич, батя мой дал быку в лоб, тот на колени упал и больше не бушевал. О как... А сколь, Григорич, у бати наград было — море; одних медалей — уйма, пиджака не хватало. У меня тоже грамот пол-комода, можно стены заклеить вместо обоев. Да...

И вот началась война, батя трижды сушил сухари, на фронт собирался, и трижды его, как незаменимого мастера, оставляли на брони, — мастер незаменимый: дескать, мы без тебя, Серафим, как без рук. А завод же работал для фронта... Вот так отец всю войну на заводе и пахал.

Ну, кончилась клятая война, стали мужики с войны возвращаться. Кто целый, а кто раненый, контуженый, кривой, слепой... Приходят, в каждом доме светлый праздничек: поют и плачут... Гуля-ает народ. Но гуляли не по-нынешни... Ныне же как?! Напьются, аж из ушей хлещет, и пошли куралесить... А раньше за столами сидели чинно; выпивали, конечно, но не до упаду же. А уж напоятся, напляшутся от души... И приносили мужики с войны трофейные аккордеоны, немецкие баяны, а иные и — гармошки... русские. И вот, значит, гуляют на встречах, играют кто на чем горазд, а потом, ясно дело, подопьют и спать. А мне тогда уже девять лет было... И вот как мужики стихнут, возьму я гармошку и пробую играть. Пошто-то именно гармошку любил. Вот не баян же, не аккордеон. И так мне понравилось играть, что, бывало, гармошку не могли отобрать. Веришь, Григорич... Плачу: дескать не отдам, мол. Под кроватью прятался с гармошкой, веришь. Ключкой выгребали. Вот до чего меня гармошка завлекла.

Ну, стал брать у мужиков гармошку, песни разучивать. Мама моя, — певня: бывало, посуду моет и поет, а я следом играю. Вроде, подыгрываю. В школе все больше пионерские песни разучивали, а я велел маме петь взаправдашние — русские, народные. Она поет, я за ней мелодию на слух подбираю. Я же слухач...

Потом отца послали в Красноярск повышался на прораба. А мать без него пошла проверять облигации и посулила: «Ну, если ты, сыночек, счастливый, и я выиграю двести рублей — купим тебе гармонию. Будешь играть...» И выиграла... Видно, судьба моя такая... смалу с гармошкой жить. А потом это... У меня были брюки коричневые, суконные — отцовский подарок. Дак мы купили у цыган гармошку, и отдали за гармошку двести рублей и брюки в придачу. Гармошка старая была, деревянная вообще, не играла, а ворчала. Но что делать, на цыганской стал играть. А скоро и отец

приехал с повышения; ну, я как врезал, отец аж глаза вытарашил: уезжал еще ничем ничо, а тут махом, моментально стал играть. Он цыганскую гармошку убирает и покупает мне другую, получше. А тот цыган, который нам гармошку продал, тоже был гармонист, и вот послушал-послушал меня и говорит маме: «Тетьа Валя, у вас сын капитально будет играть...»

И как в воду глядел... И что интересно, никто же не учил — у нас в родне никто сроду не играл, а у меня сходу пошло, как будто так и надо. Стали меня, парнишку, на вечера, на танцы приглашать, чтоб на гармошке играл... А тогда строго было. Учителя давай ругаться: дескать, сам пионер и отец коммунист, а ты на танцах играешь. Пришлось убавить прыть.

Правда, я не всё же на танцах играл, и — в постановках... «Алеко» Пушкина, знаешь? Про цыган?... Я в «Олеко» с гармонью выходил. Да... И на концертах играл... Помню, одна девушка меня шибко любила, я ей в клубе играл, она пела... Эх, «прощай, Антонида Петровна, неспетая песня моя...» Девушку Тоня звали...

«Играл я для зеков, матросов и солдат...»

— Когда мы кочевали из Якутии, друзья плакали, со слезами провожали, — жалко было терять такого гармониста. А я уж большенький был, пятнадцатый год шел. Ну-у, и я им, Григорич, такую отвальную, такую прощальную сыграл, что и мужики слезы утирали. Да-а... Сперва на берегу Лены, потом в лодке. Пароход далеко от берега заякорился — пристани не было, а ближе к берегу мелководье; и вот плывем мы с семьей на лодке, и я играю. Кругом белая ночь — светлынь, красота... Потом уж на палубе как врезал!.. саратовский переборы, все попадали. А дружки на берегу из ружей палят, прощаются со мной. А у меня там осталась первая любовь, такая, Григорич, сильнейшая девчонка. На берегу стоит, плачет... У меня у самого слезы бегут. Но играю для девчонки, терзаю гармонь. Тут вышел капитан и говорит: «Прекратите играть на гармошке, люди отдыхают...» Всё, отец мой завязал гармошку в узел, и пошли мы в корму ночлег искать. А там — крыша, чтоб дождь не капал, а стенок нету; река кругом — холодно, сыро, ветер. Но плывем...

А на пароходе зэки возвращались с отсидки, целая банда, Григорич. А ихний главарь ...пахан, вроде... ночью-то слышал, как я на палубе саратовские переборы выдавал, а он сам из Саратова. И утром давай искать: «Кто же играл так здорово?» Все его бояться, никто на меня не кажет, — мало ли что у того на уме, варнак же. Но один мужик продал, указал на меня: «Вот этот пацан играл». И этот главарь так, Григорич, культурненько обошелся с папой, с мамой: нашел нам в общей каюте двухъярусное место; хоть и третий класс, а все не палуба. А потом маме — шоколадку, батю — бутылку. «Вот за вашего сына. И я его заберу на время. А вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, ни один волос у парнишки с головы не упадет. Он будет мне играть на пароходе. Будет ходить со мной. Всё будет в порядке. И вас никто не тронет. А сына я у вас забираю... на время» Они поверили, мать и отец... Ну что, беру я гармонь и пошел. И веришь, Григорич, восемь суток плыли мы с Якутии до Усть-Кута, восемь суток я играл для зеков. Четко!.. И стал я с этими бывшими зэками ходить в ресторан, а ресторан, Григорич, сильнейший. А в ресторане — пианино, а я его сроду в глаза не видел, а тут даже маленько пробовал играть. Да-а... И вот сидят они, ухари, у их выпивка, закуска — всё, как у путных людей. И мне дают поесть, а выпить не давали, — парнишка же. Я поем и ка-ак!.. врежу!.. Они аж слезами умываются ...тоже люди, хоть и накуралесили... и поют: и блатные, и народные песни; и деньги мне суют... Случай был: один зэк шибко приревновал, что главарь меня уважает и привечает, и так нахально себя повел, что я пожаловался главарю. Не слышал, что он сказал наглому, но после тот мне кушанья подавал. О как...

Ладно, плывем... А мою музыку любили слушать и матросы. И что интересно, так они полюбили музыку, что на какой-то пристани три матроса купили себе гармошки. Григорич, хошь верь, хошь не верь, крест тебе даю, купили гармошки. И давай пиликать. Они же думали, у их сразу и пойдет. Я уж учил их кнопки нажимать, а что толку?! Клопа дают. Если тямю нет, хошь лопни, ничо не сыграешь, кроме «собачьего вальса»...

А в трюме ехали еще и солдаты. Самый низкий класс — трюм. Когда солдаты узнали, что я играю, позвали меня в трюм: «Парень, иди и нам поиграй, для солдат». Поиграл я, и, веришь, Григорич, красненькие мне суют. Я им: «Не, не надо. У меня же мама есть, папа, и денег у меня море...» Мне же зэки-то насовали. «Солдат дает, — один там сказал, — бери. Никогда не отка-

зывайся. Дай и нам отблагодарить тебя...» Так их моя музыка разобрала... Вот моя гармошка и семью выручила, — после войны жили голодно, а тут столь денег привалило... И всю дорогу, пока плыли по Лене, играл я для зеков, матросов и солдат...

«Гармониста впервые вижу...»

В пятьдесят четвертом приехали мы с семьей на строительство Иркутской гидроэлектростанции. Отцу — он работяга сильнейший, к тому же мастер, — ему сразу же квартиру дали. Где я поныне и живу... Я тогда учился в «вечёрке», работал на стройке монтажником. Высоко над Ангарой монтировали, даже страшновато бывало. А всё свободное время на гармошке играл. Таскали меня по гулянкам, по концертам... Франц Таурин ... знаешь, Григорич, такого писателя?.. в Иркутске жил... книгу написал, как строили гидроэлектростанцию, и меня прописал, как я играю на гармонии. Да...

Пришло время, забрали меня в солдаты, и послали аж в самую Москву, в противовоздушную оборону. Вон аж куда меня закинуло... А пошел я по своей специальности — сварным. Ладно, служу... А тут в части ищут музыкантов, но чтоб грамотные, чтоб ноты знали, а я же — слухач. Но как-то взял гармошку, да ка-ак врзал: меня и засекли, — капитан подле оказался. Послушал, послушал и удивился: «Как так, — говорит, — баянистов у нас море разлитое, гитаристов пруд пруди, а гармониста впервые вижу...» Капитан меня и засек; говорит: «Поедешь на конкурс музыкантов в Балашиху...» Это под Москвой; там у нас был штаб армии. Ладно, поехал... Там сплошь баянисты, а я один с гармошкой. Зал такой здоровый-здоровый, красивый, весь лепной, с люстрами. Комиссия на сцене сидит, а мы все в зале. Вызывают меня, идут по ковру, вышел на сцену и ка-ак!.. врзал саратовские переборы, все попадали. «Ну — говорят, — хватит». Думаю, не глянулось, раз не дали доиграть; спускаюсь по лесенке, а весь зал кричит: «Доигрывай!.. доигрывай!..». Вышел в коридор, и там меня капитан нашел: «Отлично!» — говорит. Так я в первый раз стал лауреатом конкурса, как гармонист, и попал в армейский ансамбль. Колесили мы с концертами по частям, по деревням. И служба пошла повеселей, хотя сварным и отслужил.

А с армии-то, Григорич, пришел, в Иркутске поработал, и меня, как сварщика и классного специалиста, пригласили за границу, в Монголию. А там — клубы для советских специалистов. Один раз захожу, гляжу — мамочки родны! — гармошка... Взял ее, родимую, и ка-ак!.. врзал... и опять меня засекли... Где я потом только не играл... Весь Улан-Батор с концертами изъездил, вдоль и поперек. И у русских играл, и у венгров, и у чехов. Они же любят русскую музыку, иные поют по-русски. Да...

Гармошка и любовь

Вернулся с Монголии, опять сварщиком пошел пахать... Веришь, Григорич, мне гармонь жениться подсобила. Без гармошки, однако б, не женился, долго бы холостой ходил... Это еще до армии, глянулась мне одна ... Галя, звать, на стройке малярила... а Галя меня не видит, смотрит сквозь. Я к ней с того бока, с другого, толку нету... Оно, конечно, ростом повыше, покрасивше, а я кого?! Пень корявый: девка пройдет, не обернется, а обернется, так и плюнет вслед... А к ней инженер клинья бил; на танцах так и вьется хмелем, так и кружит шмелем, и умные речи говорит, образованный же... А у меня кого?! Три класса да два коридора... А я сохну на корню, хлеб в рот не идет и сплю худо; похудел, кожа да кости, штаны падали, веришь, Григорич. И как еще пахал, не пойму... Вот, Григорич, до чего любовь довела... Не видать бы мне Галю, как своих ушей, а тут смотр народной самодеятельности. В театре... Она туда с инженером пришла... Я как на сцену вышел... в русской рубахе, да ка-ак врзал на гармошке — поппури играл... по мотивам русских песен ... я люблю играть вариации... и веришь, Григорич, полчаса люди хлопали, со сцены не пускали, еще пришлось играть... В антракте с Галей встретился, она инженера бросила, с меня глаз не сводит. А потом меня на стройке «доской почета» наградили ... я же ударник труда пожизненный... так она и вовсе зауважала. Да... Ждала меня с армии; и вот уж сорок лет живем душа в душу...

Долго я с гармошкой не расставался, а потом дружок меня стыдит и стыдит: «Ты, — говорит, — Аполинарый, давай с голяшкой-то завязывай, бери баян. Бросай голяшку, не позорься. А то как дурак деревенский...» Прикинул я хвост к носу, бросил гармозею, взялся за баян. Обидел гармошку...

«Я и Геннадий Заволокин...»

...Играл я на разных вечерах, но уже на баяне. И вот однажды приезжает ко мне Миша, старинный друг, тоже сварной, и газету под нос сует: «Вот читай: в Иркутск приезжают братья Заволокины. Будут праздник проводить телевизионный... на всю Россию. Слыхал, «Играй, гармонь»?.. Отбор будет. Давай-ка, Аполинарый, тряхни стариной... «Да у меня же, Миша, и гармони нету...» «Найдем...»

И ведь нашел же мне гармошку, правда, чуть живую, старую... старе поповой собаки. Но поперли мы на телевидение. Там Геннадий Заволокин гармонистов отбирал. Ладно, приходим, народу — море. И все волнуются — кому первому. А мне чо, взял да и пошел первым. Ка-ак врезал!.. У Заволокина аж глаза на лоб. Спрашивает: «Ноты знаешь?» «Не-а, — говорю, — я слухач». «Ну, давай, давай, играй...» И столь я, Григорич, играл!.. аж упарился. А Заволокин велит: «Ты играй, играй... А песни поешь?..» «Пою... для себя, ежели выпимши...» «А что еще можешь?..» «А могу играть и сразу же плясать...» «О-о-о!.. Ну-ка, врежь...»

Ну, я сыграл и сплясал с гармошкой на руках. Все попадали. Хлопали-и... «Здорово даешь, — похвалил Геннадий. — Будешь «Подгорную» играть на Подгорной улице...» Старинная такая улица в Иркутске, на избах деревянная резьба... «Там, — говорит — «Играй, гармонь» запишем, и ты будешь играть и плясать. А потом на корабле пойдем по Ангаре, по Байкалу, и там сыграешь...» Они же кино снимали...

И вот, значит, прихожу я на Подгорную. Сижу в уголочке — я не люблю рисоваться. А он все же издалека меня усек. «Иди-ка сюда, — говорит, — вот будешь у меня в центре стоять. И никуда от меня. Будешь играть и плясать».

И все, Григорич, так красиво вышло в передаче: улица Подгорная, старинные дома, и я с гармошкой, и Заволокин с гармошкой. Как в деревне... Потом по Ангаре плыли, и в Байкал вышли. Геннадий — на баяне, я — на гармошке, а девушки поют «По Ангаре...». Красота! Не видел, Григорич? Несколько раз по телевизеру казали, по нашему, и по Центральному. Там я и Геннадий Заволокин...

Аполинарый Серафимыч не утерпел, взял гармонь, кургузые пальцы рыскнули по ладам и басам, поскакали, и мне послышались далекие-далекие голоса, эхом долетевшие из деревенского детства, — голосили сестры мои, старшеклассницы, когда я катал их на лодочке по закатному озеру, и :

...Верят девочки в трудное счастье.
 Не спугнёт их ни дождь, ни пурга,
 Ведь не зря звёзды под ноги падают,
 И любитесь ими тайга!
 А река бежит, зовёт куда-то,
 Плывут сибирские девчата
 Навстречу утренней заре
 По Ангаре,
 По Ангаре.

— В Иркутске прошла «Играй, гармонь», и вроде, про меня и забыли. Обидно, я даже с обиды в рюмку стал заглядывать, а Галя ругается... А через год — открыточка: Аполинарый Серафимыч, приходите на конкурс, чтобы потом ехать на Всероссийский в город Иваново. О как! Но пишут: если подфартит... Прибежал я в народный дом, там слушали, а отбор был, Григорич, ой-ё-ё-ё!.. сильнейший — тридцать гармонистов состязались. Я уж думал, мне ничо не светит... Но ка-ак!.. врезал!.. поппури на темы русских песен ...я люблю играть вариации... да как пошел плясать с гармошкой, — всё, сходу победил. В первом туре шестерых отобрали, во втором — двоих: мне подфартило да пожилому гармонисту... Корнев, слышал?..

В Иваново, помню, собрались на репетицию; гармонисты разнаряженные, а Заволокин им: «Это что за маскарад?! Вы куда вырядились?! Что это за кисточки на сапогах?! Вы зачем цветочки на кепки навтыкали?! Снимите, будьте простыми, как в жизни, вы же не ансамбль песни и пляски. Выходи, в чем ходишь, хоть в свитере...»

Я покосился на ряженого гармониста: «Ишь, бранит мужиков напару с Заволокиным — вырядились, а сам вечно в русской рубахе...»

— А жили мы шикарно, в гостинице, кормились в ресторане, там можно и выпить. Геннадий... умный мужик... так и говорит: «Что вы все, как замороженные?! Ну, выпейте, как в деревне на Масленице. Может, повеселеете...» Все, дрожат, а я пошто-то, Григорич, не такой был, отчаянный, бедовый. Эх, мне бы грамотешки, так я бы не железо варил, я бы на гармошке в Кремле играл... в Кремлевском зале. А что?! Не боги горшки обжигают...

— Ишь куда занесло... Ты бы играл, а Ельцин бы плясал... — ерничал я.

— А что, Ельцин бы вжарил стакан водяры и сплясал... Ну, я в Иваново ка-ак врезал поппури на темы сибирских плясок, так, веришь, Григорич, ивановские ткачихи на руках носили...

Пытался я вообразить: дородные ткачихи носят на руках Аполинария Серафимыча, но воображения не хватило, даже писательского.

— Потом и Корнев сыграл... И вот... Григорич, запиши... стали мы с ним дипломанты Всероссийского конкурса «Играй, гармонь»... короче, дали мы жару в Иваново, сибиряки же. В телевизоре гляжу: сплошь я и Геннадий Заволокин.

«Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело...»

— Люблю играть... и даже для себя. Да... Летом окошки распахну и завожу свою шарманку. Гармошка у меня звонкая, далеко слышать, — по заказу сделали в Шуе, а я расписал... Соседи во дворе сидят, просят еще сыграть. Я смеюсь: дескать, билеты покупайте. А в молодости любил на реке играть. На Лене, бывало, возьмем лодку с другом, он гребет, а я играю; звук голосисто, широко, далеко плывет по воде. В Иркутске на Ангаре любил играть либо на море. Да...

И вот, Григорич, снится мне гармошка и снится. Замотали меня эти сны. И такие я во сне вариации даю, что и сам потом не пойму: откуда что берется?! Талант, видно; мне бы в артисты податься, а не железо варить... Раньше я так не играл, как сейчас... Проснусь, хватя за гармонь, и, веришь, Григорич, то же играю, что во сне. Помню, Есенина во сне сыграл и спел, а утром, еще ничем ничо, еще не чаевал, взял гармонь и...

Аполинарий сгреб гармонь, печально заиграл, запел осипшим голосом:

...Дальний плач тальянки, голос одинокий —
И такой родимый, и такой далекий...
Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.
А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.

Пропел гармонист «под чужую песню и смеюсь и плачу», и в глазах слезно засветилась кручина...

— Все играю, что душе угодно, а стильную музыку не люблю, — молот в кузне наяривает. Мелодии нету, души нету, дурь одна прет... А народ-то любит русскую музыку — живая, народная... Вот я бывал на свадьбах, на юбилеях, на провозинах, именинах, и только заиграю, всё, колотовку вырубают, и все, старые и малые, поют и пляшут под гармонь. У меня же музыка живая, и слова чистые, не то что в телевизоре помои... Случай был... Я дочь замуж отдавал. Взял гармошку на свадьбу. А дочь мне: «Там же, папа, молодые. Пусть аппаратура играет. Ты, — говорит, — папа, гармошку не бери. Вместе с мамой будете возле меня сидеть, как положено...» Но я свою гармозею все же взял, не задавит... И веришь, Григорич, во время свадьбы аппаратура накалилась... от рева-то... и замкнула, и задымилась. Всё, хана, без музыки остались... Вот тут моя гармонь-то и сгодилась. Взял, ка-ак врезал, все аж рты раскрыли. Так и отыграл на дочкиной свадьбе, и все напелись, наплясались, и довольны остались...

Слушаю я заносчивую похвальбу ..дитя дитём... посмеиваюсь про себя, но пишу в книжку: в Иваново ткачихи до упаду хлопали, губернатор руку жал, хмельной мужик на колени пал перед гармошкой, частушечницы всего исцеловали... Потом гармонист поплакался:

— Играть зовут, а не платят, — всё на дармовщинку норовят или за рюмку водки, а у меня пенсия грошовая, мать и жена... Да, Григорич, не будь гармошки — тоска, а не жизнь, когда нищета кругом, а барыги наживаются¹... Я же, Григорич, по-первости был демократ от кудрей до пят, Ельцина защищал, а теперь, ежели того черт приберет, стакан самогона махну, выйду во двор, буду на гармошке играть и плясать...

— Ну-у... Аполинарий Серафимыч, так тоже нельзя, грех, — живая душа...

— Живая, не живая... Угробил страну со своими причиндалами, а за Россию сколь народу головы сложили?! Миллионы... Мужики и бабы горбатились в холоде, голоде, строили Россию, а эти ...крысы!.. махом страну разворовали... Веришь, Григорич, на всю Россию прославился, трижды в телевизоре казали... «Играй, гармонь» видал?.. Напару с Заволокиным играл... — глаза гармониста вспыхнули хвастливым голубоватым светом и погасли, словно затянул небо сырой и стылый морок. — А эти... — безнадежно махнул рукой, и я догадался: в сторону здешнего начальства, — эти не ценят: сколь пороги обивал, рубаху русскую выхаживал, ничо не выходил, зря ноги исшоркал... Калымил ...я же сварщик классный... и на калым гармошку взял, рубаху сшил... Не ценят самородков... И на концерты перестали звать...

Позже я смекнул, почему на сборных концертах Ухова боятся, как огня: одеяло на себя тянет и власти обличает... Режиссер театра, старинный приятель, затеял губернский концерт народного творчества, и я слезно просил, умолял и Ухова на сцену выпустить.

— Эту, тигру?! — вздыбился режиссер. — не в жизнь!.. Начнет чудить, его же со сцены палкой не сгонишь...

— Да не бойся, я же поговорю с ним....

— Ой, боюсь я, как бы чего не утварил... Сам губернатор обещал... Мне же потом башку снесут, если что...

— Да он же, самородок, у Заволокина играл. Не бойся...

— Но смотри, Толя, если что, всё на тебя свалю.

— Вали-и, однова живем...

И вот концерт в разгаре; губернатор, словно на троне, чинно восседает на лепном балконе, рядом пышная жена, потом чиновники; а самородки поют и пляшут, лихо бренчат на балалайках. Приспело время Ухова... Выкатился колобом в подпоясанной кушаком, долгополой рубахе с красными обережными крестами, в рыжих, фасонисто сморщенных, хромовых сапогах, над которыми нависали шаровары. «Как еще лапти не напялил либо ичиги?! — подумал я с улыбкой. — С Аполинария бы сталось...» Поясно поклонившись, Аполинарий Серафимыч прежде чем развернуть гармонь, похвастался, что что у него за сварку и гармонь полкомода грамот, что вместе с Заволокиным играл в Иркутске и в Иваново, где снимались картины «Играй, гармонь». Потом гармонист посетовал, что губернные и столичные власти не ценят русскую музыку: год просил гармошку и концертную рубаху, не выпросил, на свои кровные купил.

— Это что же в России деется?! — голос Аполинария Серафимыча обличительно зазвенел. — Радио как врубишь, либо телевизор, — песенки дешевые, а то сплошь нерусские... Это что, в России уже русского народа нету?! Да еще тюремные песенки на всех углах: в автобус сядешь — хрипатые орут, в поезде едешь, — орут; на дачу убежишь, думаешь, там тихо, нет, и там хрипатые орут... Воля хрипатым, у которых голоса нету ... И куда власти глядят?! Это кого же мы вырастим на блатных куплетах?.. Катаржан?.. При народной власти, помню, хоть изредко, но крутили же в телевизоре русскую музыку, — народные хоры, баянисты, гармонисты. А нынче русскую музыку к телевизору даже близь не подпускают. Это кто же в России правит, ежели русскую музыку боятся, как черт ладана?!

Слушал я пламенную речь Аполинария Серафимыча, вспоминал, что и я печалился о том же лет десять назад, и даже запечатлел кручину в очерке «Что посеешь, то пожнешь»²: «В связи со сверхмощными, рвущими перепонки ушей, магнитофонными усилителями вся нынешняя бульварная и

¹ Встреча наша случилась в середине девяностых годов XX века, в разгар ельцинского правления.

² Очерк был написан в 1987 году и опубликован в очерковой книге «Яко богиню нареки» (Москва, 1991)

уголовно-блатная музыка стала воистину казнь Господня, превратилась в орудие наказания отцов чадами, в орудие насилия, истязания, от коего даже на лесной даче не утаишься. Вошел в трамвай или автобус, там уже врубили «музыку», и хочешь не хочешь, вынужден слушать «лязг и грохот железа» да сладострастные вопли, словно розовые сопли; вынужден мучиться, страдать, лютой ненавистью ненавидеть любителя лязга и кошачьих воплей; слушать и слушать до отупения, до отчаянья мусорный поток звуков, подвывание, повизгивание, скрежет, похожий на скрежет медного таза, когда им елозят по песку, отчего у тебя противно холодеет внизу живота. Потный, измочаленный, оглушенный машинным и «музыкальным» грохотом, отравленный бензиновым угаром, издерганный и до отказа набитый злобой очередей и давок, ступаешь в свое предместье, в надежде хоть в тени вековых тополей утаиться от воздуха, раскаленного музыкальным ревом, но тут же на твою больную, и без того гудящую голову каменным градом рушится из окон девятиэтажной вавилонской башни «тяжелый» или «чугунно-литейный» рок, или, словно «пером урки в кожаной тужурке», бурлит сердце куражливо-блатной, с хрипотцой под Высоцкого, нахальный голос, внушающий тебе: «Кто не курит и не пьет, тот здоровенький умрет. Водочка, ах, водочка...» или пугающий сценами из уголовной жизни «малины»: «За ненадобностью вам я отрежу уши...» А во дворе пасется детвора, не ведая, куда себя сунуть. И кого мы вырастим под эдакую «музыку»?.. Пьяниц?.. наркоманов?.. варнаков и жуликов?.. Злой, как цепной пес, бежишь в свою конуру, чтобы хоть в норе спрятаться от «музыкального разбоя», но и там тебя настигают вопли, — где-то в квартире ниже или выше, слева или справа обезумевший «меломан» врубает сверхмощную аппаратуру и... хоть заживо в гроб ложись или, как матушка говорила, глаза завяжи да в омут бежи. С горя махнешь на дачу, и в садоводстве та же песня, дикая, угнетающая душу...»

Жаркая речь сморила публику; в зале зашумели, зашаркали ногами, чтоб заглушить краснопевца; и тогда Аполинарий Серафимыч голосисто зачитал из Есенина:

Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело
Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?
Не шуми, осина, не пыли, дорога.
Пусть несется песня к милой до порога...

А уж после стиха гармонист, ка-ак врезал поппури по мотивам русских песен да ка-ак пошел плясать с гармошкой, пускаясь вприсядку, что и народ повесел, зашумел... похоже, иные мужики плясали сидя, топоча и шаркая башмаками... и разыгрался, расплясался Аполинарий Серафимыч без угомона и укорота.

Я слышал, как режиссер скрипел зубами, злобно шептал мне на ухо:

— Что творит, а! что творит.. Без ножа режет... Одеядло же тянет на себя... Ну, Толя, удружи-ил... — режиссер покосился на лепной балкон, и в ужасе узрел: губернатор и свита на ногах, — вроде, отчалить собрались, утомленные гармонистом.

Мне бы, словно козе пакостливой, покаянно опустить глаза долу, а я разлыбился, как сайка на прилавке: мне дед привиделся, Царствие ему Небесное...

Лазарь Ананьевич Андриевский, дед по материнскому крылу, прожил сто шесть лет — и я, народившись в половине прошлого века, до шести лет вертелся подле деда Лазаря, когда мать с оказией посылала меня в село Погромна на откорм; там древний старик обитал у материной сестры Валентины Лазаревны. В былые лета я поведал о том, что я запомнил деда сказочным ощущением, словно подслушал дремучую бывальщину, осевшую на доньшке памяти; и в ощущения вплелись поминания родичей, и ныне, продираясь сквозь туманную наволочь века, с тоской и любовью вижу, как дед Лазарь, облысевший и обмелевший, словно речка Погромка в сушь, сутулится возле самовара, спиной к окну, и усталое солнце озаряет старика тихим сиянием, и дедово лицо, опущенное реденькой, изжелта-белой, сухой бородой купается в задумчивом предзакатном свете, тает, и лишь оттопыренные уши по-младенчески нежно розовеют. Лет до ста дед Лазарь подсоблял вдовым молодухам, вдовым дочерям, — возил дрова из леса, но ближе к ста шести годам впал в детство, и мы стали годками, что старый, то и малый; бранились за столом до слёз, не поделив картоху, варёную в мундире, которую тетя Валя высыпала из парящей чугунок на некрашеную, но дожелта выскобленную столешницу. «Один задериха, другой неспустиха», — умиленно посмеиваясь, качала головой тетя Валя.

Братья-большаки поминали: на Троицу родня гуляла в ограде, озелененной троицкими кумушками-березками, и когда в застолье оживала гармошка, хохотала и рыдала над «камаринским мужиком», дед Лазарь пускался в пляс: постукивал ичижонками¹ в задеревенелую землю, помахи-вал сухими крылами. А гармонист дразнил, задорил деда:

Деревенский старичок
Помирал во вторничок,
Ему стали гроб тесать,
Он вскочил, давай плясать...

И вот, бывало, мужики и бабы запыхаются, опадут на лавки, гармонист истомится по рюмке, а дед пляшет и пляшет, словно заведенный до скончания века, да ручонками помахиивает, припевает:

Ох, топну ногой,
Да притопну другой.
Сколько я ни топочу,
Всё равно плясать хочу!

Чуя неладное... старик бы вусмерть не заплясался... мужики, бывало, ухватят деда под крылья и несут в избу, а старик, повисший на мужичьих руках, весело дрыгает ногами, пляшет на весу...

Вот и Аполинарий Серафимыч, вроде деда Лазаря, играл на гармошке и плясал, хотя уже явился ведущий с микрофоном — холеный малый в черном костюме с бабочкой, а за добрым молодцем уже и девицы в светлых сарафанах поплыли, словно лебедушки на пруду. Холеный с микрофоном, сладко улыбаясь, досадливо покосился на гармониста, исподтишка сладил ему страшное лицо, бранно прошипел, и Аполинарий Серафимыч с горем пополам угомонился. А режиссер облегченно вздохнул, углядев, что губернатор, а за ним и свита поднялись, но, похоже, не от возмущения, от восхищения... так лихо губернатор хлопал в ладони... и когда Аполинария Серафимыча согнали со сцены, чиновники вновь уселись в кресла. А спустя месяц гармониста осчастливили губернаторской премией, и народ судачил, что губернатор, слободской парень, и сам в отрочестве терзал гармошку, что самолично, хлебом-солью встречал Геннадия Заволокина и его конкурс «Играй, гармонь», где, может, и высмотрел диво-гармониста.

«Золотых огней гидростанции...»

Ликовали колокола Харлампиевского храма, сзывая крещенных к воскресной заутрене, и молитвенной душе слышалось в колокольном звоне: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя...» А в храме, еще малолетнем, по-зимнему сумеречном, клирошане читали молитвы, и богомольцы возжигали свечи возле аналоя, поясно кланялись, и, осенив душу троекратным крестным знаменем, целовали на-престольную икону. Затем, падая ниц, приникали губами к изножью Христова Распятья, к образам архангела Михаила, святых угодников и страстотерпцев. Пожилая мирянка, облаченная в черное, скорбное, почудилась мне знакомой; в лице ее, ныне иконном, зарницами плавали отцветы былой, смуглой красы; и вглядевшись, признал я в мирянке жену гармониста Ухова, с которым давным-давно не виделся. Галина шептала зауспокойную молитву, а коль я молился рядом с благочестивой богомолицей, то и услышал в зауспокойной мольбе имя раба Божия Аполинария... После службы, поцеловав крест, выискал Галину, и мы присели на лавочку возле серебристой крещальной купели, и вдова поведала:

— ...Преображение было... Яблочный Спас... Под вечер с Мишей... старинный друг, они напарники были, когда строили ГЭС... и вот, значит, Аполинарий с Мишей спустились к морю возле ГЭС, ну, сразу за плотиной... Аполинарий, Царствие ему Небесное, любил возле моря на гармошке поиграть, народ повеселить... И браво так сидели: Аполинарий на гармошке играл, Миша пел... Миша голосистый, на сцене пел, когда гидростанцию строили... Сидели, никому не мешали; нет, блатные подошли — за кустами гуляли, и один велит: «Ты, — говорит, — дед, заглохни со своей

¹ Ичиги — мягкие сапоги из сыромятной кожи.

галяшкой...» Аполинарию бы стихнуть, не лезть на рожон, не искушать, а он пуше разыгрался, а Миша запел... про гидростанцию — строили же... Ну и... напели на свою шею... — вдова заплакала, потом спохватилась, перекрестилась. — Миша-то помоложе, поздоровей, моего и привел. Я глянула... страсть Господня, краше в гроб кладут... С месяц помаялся... — вдова тяжело поднялась, побожилась на иконостас Харалампиевского придела. — Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Аполинария, и прости ему вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное... Слава Богу, батюшка исповедал, причастил Святых Даров, потом соборовал... Аполинарий всё скорбел: не грех, поди, что на гармошке-то играл? Поди, не грех... а чтоб народ не унывал: унынье же — грех...

Вдова поведала лихо и тихо ушла из храма, а я вообразил, как Аполинарий Серафимыч без надрыва, нежно и плавно играет, а голосистый Миша поет; и стелется песнь предсумеречным туманом над родной Ангарой, обращенной в рукотворное море: «...Ты навеки нам стала близкою, величавая Ангара... В золотых огнях гидростанции... вера юности горяча...» Помянулась первая встреча с гармонистом: в игривом, певучем застолье, поплакавшись на лихую судьбинушку ...на концерты не зовут, на гулянках не платят... Аполинарий Серафимыч опять заиграл; и я слушал гармонь, подобно душе русской то вечернюю нежную, то буйную, разухабистую, то куражливо перебористую; слушал, и душа купалась в усаде, словно приехал в родовое село, и под розовым абажуром, за круглым столом, укрытом вишневой скатертью с кистями, вся моя родова; сели чаевать, выпить винца с хлебцем, поразмыслить: выживем ли нынче, или заживо в домовины падать?.. И, вроде, мама жива, и отец играет на гармонии, — шевелюра крыльями, глаза светятся, что две победные медали на груди, и четыре брата, и две сестры в силе и здравии... И, вроде, не уходит в землю наша стемневшая, изрытая морщинами, подслеповатая изба, и вечер синий тихо кутает село...

2000, 2015 гг.



Проза

Михаил Тарковский

Михаил Александрович Тарковский, русский поэт и писатель, член СП России. Родился в 1958 г. В Москве. Закончил Московский педагогический институт им. В.И.Ленина по специальности география/биология. В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, где почти сразу же начал писать стихи, и где работал сначала полевым зоологом на биологической станции, затем охотником в с. Бахта, и где и живет по настоящее время. В 1991 году закончил Литературный институт им. А.М.Горького, заочное отделение, семинар поэзии В.Д. Цыбина.

Автор стихов, рассказов, повестей, очерков. Лауреат премий журналов «Наши современник», «Роман-газета», «Новая юность», и других, в частности премий Белкина, Соколова-Микитова, Шишкова, а также Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» и премии первого редактора Литературной газеты Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству». Автор книг: «Стихотворения», «За пять лет до счастья», «Замороженное время», «Енисей, отпусти!», «Тойота-креста», «Избранное», «Сказка о Коте и Саше». Главный редактор альманаха «Енисей»



Стройка бани

1.

«Батя, сделай мне рыбы»... — писал из Красноярска Серега, — путевой, осетрины, ведра четыре, флягу, короче, молочную, на «Матросове» у меня Славка, механик, он в курсе...» Серега кратко рассказывал о своих делах, желал отцу здоровья и обещал прислать электродов, проволоки-нержавейки и «бутылку тормозухи — зимой в замки заливать — милое дело. Иваныч, только что слезший со сруба новой бани, долго засовывал толстыми в корке мозолей пальцами прочитанное письмо в конверт, потом некоторое время сидел на диване, глядя в пол, крепкий, как кряж, большегубый, курносый, с твердым нависающим чубом, с мясистым, как бы надвое рассеченным лицом (глубокая складка меж бровей, над губой и на подбородке), и рядом, почти отдельно, сама по себе лежала такая же крепкая и мясистая его рука, темная и тяжелая загорелая кисть, даже в расслабленном состоянии стянутая мышцами и мозолями и похожая на клешню, все будто продолжающую сжимать рукоятку молотка или топорище. На внешней горбатой стороне толстой кисти темнела продолговатая лиловая шишка: Иваныч ворочал мокрое после дождя верхнее бревно — сруб новой бани тогда как раз дорос до уровня лица — оно крутанулось, и кисть попала между скользким круглым боком и острым краем только что выбранной чаши. В ту же секунду автоматически пронеслась мысль: «как соболев в кулемке¹», в ту же секунду, приподняв балан², он освободил руку. На ней белела яма и алели мелкие капельки крови, Иваныч сунул ее в бочку и держал, пока ледяная вода не перебила боль, потом вынув, пошевелил пальцами, убедившись, что сухожилия целы, и ушел точить цепи. На кисти вспух бугор, она несколько дней болела, но это была приятная боль, боль жизни что ли, и он согласился бы испытывать такую боль каждый день, если б можно было сменять на нее ту неизлечимую болезнь сердца, с которой он два года назад попал в краевую больницу и которая теперь так неотвратно меняла его жизнь.

¹ Кулемка — деревянная ловушка на пушного зверя.

² Балан — бревно.

Выйдя из больницы с диагнозом ишемии, Иваныч, несмотря на всю завидность своего положения, на необходимость расстаться с любимым делом — промысловой охотой, стал как-то еще кряжистей и духом, и телом, и сбавив внешний пыл, перешел на какую-то пониженную передачу жизни, от которой, как у трактора, медленней, но неумолимей стало его упрямое движение вперед.

Новый, шесть на десять, рубленый дом он успел закончить еще когда был в силе, а старая банька уже никак не смотрелась рядом с высоченным восьмистропильным кубом, давно превратившись в заваленную барахлом подсобку, где варился корм собакам и где он обрабатывал «ондатров». Еще хотелось проверить, обкатать эту свою новую пониженную, и еще Иваныч по-настоящему страдал без хорошего пара.

Лес на баню уже был давно готов и лежал на лежаках возле площадки. Чтобы никого не звать поднимать баланы, Иваныч сделал журавль. Сходил на пилораму к Сварному Генику, голубоглазому молодому мужику с очень хорошо растущей бородой, всегда выручавшего с искренней охотой, с полуслова понимая необходимость нового самоловного якоря или ремонта щечки балансира*. «Какой разговор, Иваныч — заварим», — сказал он, и, ворочая сварочный агрегат, продолжал рассказывать, как ловил тайменей «под камнями», сопровождая рассказ словечком «ага», с помощью которого как бы сверялся с какой-то своей внутренней правдой, отчего его рассказ приобретал особую независимую достоверность. Толковый и редко пьющий, Геник, выпив, становился неожиданно задиристым и вязким, и однажды, когда гуляли у Иваныча, безобразно докопался до Иванычева друга Николая, и тот выкинул его с крыльца. Утром, встретив Иваныча, Геник приветливо поздоровался и спросил: «Я че, говорят, бузил вчера?» — и, как механик о привычной и исправимой неполадке, добавил рабочим тоном, что, мол, надо было кое-чего подбросить, на что Иваныч, хохотнув, ответил, что примерно так и сделали.

Из-за плохого контакта не сразу прошел ток, и Геник несколько раз постучал электродом по железяке, на что каждый раз напряженным гулом отвечал аппарат, а потом с сухим шипящим треском заработала сварка, и Иваныч, отвернувшись, глядел, как озаряется неестественно ярким голубым отсветом трава, видел искры, синий дым, вдыхал едкий запах и, держа в верхонке горячий прут, наощупь прижимая ее к другому, почувствовал, как его наконец прихватило по некоей новой устойчивости, легкому общему зуду всей схватившейся конструкции. Между рукавом и верхонкой оставалась полоса голой кожи и одна искра, раскаленный кусочек электрода, попала туда, прилипла, прожигая кожу, и снова Иванычу стало хорошо от этой ласковой боли, снова повеяло продолжающейся жизнью, чем-то живым и поправимым. Отбивая шлак, он стучал молотком по шву, и тот еще некоторое время продолжал рубиново светиться, а потом потемнел и стал блестяще-синим. Потом они приварили к обрезку толстой трубы дно и получилось что-то вроде кастрюли, прожгли в дне дырку, в которую вставлялась уключина, и кастрюлю эту он надел, как шапку, на вкопанный рядом с будущей баней столб, в уключину легла длинная вага и получился журавль.

Потом Иваныч сделал новую пазовку, (прямое тесло)¹ — уж очень хотелось пустить в дело один старый топор, который он выменял у своего друга Коляна. В кузнице монотонно гудел компрессор, Степка, разворачивавший в тисках светящуюся обойму от подшипника, кивком поприветствовал Иваныча и глазами указал на горн. Иваныч положил топор в раскаленную кучку углей на решетке и, подгребая кочережкой, досыпая совком свежий уголь, глядел, как раскаляются до радостной рыжины угли от дующего из-под решетки ветра, как взвиваются оранжевые искорки, а когда засветилось ярким солнечным светом лезвие, взял его щипцами, быстро вложил в тисы и затянул, и, вставив в проушину ломик, повернул его коротким движением, и волшебнo-мягко развернулась раскаленная проушина, остывая, темнея, лиловея, и он снова нагрел, и снова повернул, уже совсем поперек. Степка держал лезвие, а Иваныч, напряженно и свирепо сморщив лицо, долго оттягивал его кувалдочкой, обковывал, заворачивал углы лезвия вокруг тисочного конуса, а потом, снова накалив, сунул в квадратное ведро с черным маслом, и металл зашипел, выпустив дымную струйку, и глухо захлебнувшись, замолк, а потом вытащил безжизненно холодный топор, вытер тряпкой и долго обрабатывал на наждаке, и летели сочные искры и на неряшливо-буром металле ширилась ровная снежно-синяя полоса свежего лезвия.

¹ Пазовка (прямое тесло) — развернутый наподобие тяпки топор, которым выбирают древесину при изготовлении долбленых лодок, корыт и пазов в бревнах.

Обратно Иваныч шел мимо кирпичной дизельной, и оттуда мощно, с мерной отчетливостью тарыхтела толстая труба с неровным торцом, и сотрясалась земля вокруг, и белело светлое северное небо над реденькими остроконечными елками, и шел ночной парок изо рта, и рядом черный как черт Лешка-дизелист, наклонив бочку, наливал в помятое ведро масло, и, несмотря на неудобную позу, понимающе-приветливо кивнул Иванычу и потом долго было слышно, как он заколачивает молотком пробку.

Из давно высушенной заготовки, Иваныч сделал топорище той единственно прекрасной формы, которая раз удавшись, уже навсегда остается с тобой. Потом насадил новую пазовку и пил чай, и боковым зрением видел свежую белизну топорища, и лежала отдельно правая рука Иваныча — темный горбатый кусок плоти, знающий и помнящий гораздо больше, чем способна вместить человеческая голова, и похожее на тятку с полукруглым лезвием тесло стояло уже с тем отдельным, самостоятельным видом, с каким стоят, будто всю жизнь, вышедшие из-под мужицких рук топорища, лодки, дома... Перед сном Иваныч прошел через огород к окладу бани. Было очень тихо, внизу чуть шелестел потихшей волной Енисей, и в синих, казавшихся в белом ночном свете особенно литыми, чугунными, листьях капусты лежали как слитки олова продолговатые лужицы воды от дневного дождя. Листвяжный оклад белел с тем задумчивым и загадочным видом, с каким белеют ночью такие вот оклады и срубы, в своей неподвижности будто еще сильнее излучая мощную силу работы.

Прохладным солнечным деньком съездил Иваныч за мохом в свое место по Сухой, привез когда-то красной, а теперь обшарпанной до матовой серебрести, «обухе»¹ пятнадцать мешков длинного ярко-зеленого кукушкина льна. За сруб взялся не торопясь, это была первая настоящая работа после больницы, от ее успеха зависела вся его жизнь, с таким скрипом прилаживающаяся к болезни. Он не спеша размечал бревна, выбирал чаши и пазы, и острый ковш нового тесла как в масло входил в желтую сосновую мякоть. Внутреннюю, избяную, сторону бревна он опиливал вдоль «дружкой», стоя одной ногой на бревне, а другой на положенной вдоль лафетине, а потом крутил кверху плоскостью и строгал электрорубанком — тесать «в стене», как он это делал в доме, было уже тяжеловато. Уже выработался определенный ритм работы, однажды нарушив который, он потерял потом два дня на отлеживание и жранье таблеток. Стараясь особо не утруждаться, он клал в день по венцу, и еще надо было съездить по самолов, посолить рыбу, сварить собакам, и, конечно, первый день было особенно тяжело, но на второй Иваныч почувствовал, что, если не будет горячиться, то похоже управится. Когда пришло письмо от Сереги, он уже обшивал фронтоны дюймовкой.

Доски на обрешетку лежали рядом на прокладках, так же как и уже подогнанные друг к другу стропила с затяжками, сложенный стопой шифер и кирпич. Заготовки на косяки и на дверь тоже давно были готовы, он выпилил их еще прошлой весной, распустив «дружкой» прямую толстую кедр. Он вообще любил пилить вдоль, и крепко всадив в бок балана острый зуб гребенки, с ровным усилием погружать в кедровую мякоть свежесвыточенную цепь и глядеть, как сыплются из-под нее обильные длинные опилки. Толстый балан быстро превратился в стопу белых досок. Сохли они у него все лето, накрепко прибитые скобами к стене мастерской. Когда он прибывал их, зашел за дрелью младший Николаев парень, тоже Колька, и с любопытством наблюдал Иванычеву работу, а потом каждый раз приходя, все трогал шероховатую, с косыми следами цепи, поверхность, и все представлял, как, просыхая, корчится, из кожи вон лезет, стремясь изогнуться пропеллером, распятая доска.

Серегино письмо как обычно растревожило, напомнило о том, о чем Иваныч старался не думать, о том, что сын уже несколько лет живет в городе, живет совсем по-другому, и все то, на что Иваныч положил жизнь, ему попросту не нужно. А сделано было действительно много — кусок дикой тайги в ста верстах от Енисея он превратил в отлично оборудованный участок с избушками, лабазами и путиками², первым пробил долгосрочную аренду участка с правом передачи по наследству, причем обсуждение последнего условия попортило ему особенно много крови, отгрохал новый дом на уголке на самом лучшем месте над Енисеем, выдержав тяжбу с районным архитектором, навязывавшим свой план застройки, выгнал из тайги и отремонтировал брошенный экспедицией вездеход, расчистил и расширил запущенный покос, сделал еще тысячу малых и больших дел, которые имели бы смысл, если б Серега остался, завел семью, и они тогда бы вместе снова держали корову, и Иваныч

¹ «Обуха», «обь» — название лодки,

² Путик — ряд ловушек на пушного зверя, обычно длиной в дневной переход.

бы переписал на него участок, но Серега, далеко и вся жизнь Иваныча рассыпается и требует теперь особенной внутренней собранности.

...А денек был хороший, и Иваныч любил работать на срубках, где уже дует свой верховой ветерок, и откуда как-то по-другому видится деревня, крыши, все, что творится: вот поехал под угор за рыбой тракторист Сашка-Самец, вот сосед примчался с самолота и озираясь тащит на угор колыхающийся мешок с осетром, вот приехал с покоса его друг Николай, вот покрикивает он на своих сыновей, недостаточно дружно по его мнению вытаскивающих лодку, вот они поднимаются, старший тащит пустую канистру, средний топор, а младший, Колька — котомку с пустой молочной банкой, сам Николай с нажаренной солнцем рожей бодро приветствует Иваныча — резко поднятая согнутая в локте рука и сжатый кулак — и Иваныч, отложив доску отвечает тем же. А потом притарахтел и ткнулся в каменистый берег почтовый катер, потом Иваныч спустился пообедать, и тут маленький Колька и принес письмо. «Ладно, нужна рыба — значит будет», — сказал Иваныч, стряхнув задумчивость, вышел на улицу и поглядел на небо.

Обычные для этих мест перепады давления он переносил все труднее, и особенно тяжело было, когда задувал север, его любимая погода — ясная, холодная, с водяной пылью над взрытым ветром, синим, налитым металлом Енисеем и рыжим ночным небом.

Раньше он завидывал дедкам-пенсионерам, у которых наколото березовых дров на три года вперед, всегда запасена береста на растопку и охапки лучины, завидовал снисходительной завистью молодого сильного мужика, у которого невпроворот забот поважней, чем заготовка черешков для лопат. Теперь он понимал, что это не от хорошей жизни, и что этот же дед, если б так не болели ноги и спина, сам бы с удовольствием летал на «буране» на яму¹, подныривал самолоты², а не щипал бы впрок вороха лучины, не забивал огромные дровяники мелко наколотыми березовыми дровами и не ремонтировал чужие старые невода, стараясь как можно плотнее занять зыбкое стариковское время.

Первое время Иваныч все надеялся, что привычная обстановка, будь то выученное наизусть очертание берегов, или любимые, давно знакомые предметы, вдвойне сильные какой-то своей драгоценной потертостью, поддержат его, вытянут из беды, и так верил в силу всей этой обстановки, что часто в пылу, в реве мотора и свисте ветра не замечал ни боли, ни тяжести в груди, и только вернувшись домой с ясной досадой понимал, что ничего не изменилось и что зря он себе морочит голову.

Но главным было то, что между состоянием борьбы за существование, которое он испытывал особенно тяжелые часы, когда нестерпимо давило за грудиной, ломало лопатку, отнималась рука и вся остальная жизнь с ее заботами уходила куда-то совсем далеко, и между этой самой жизнью, не было никакого зазора, никакой передышки, будто можно было или только падать в пропасть или карабкаться по жизни, по ее бесконечным и необходимым делам, потому что едва он приходил в чувство, сразу начинались дрова, вода, еще что-то, что вскоре понадобится и о чем надо уже сейчас подумать, вроде животки, которую если с осени не поймаешь и не посадишь в ящик в озере, то не на что будет зимой ловить налимов, и прочее, и что если еще вчера ты почти навсегда распрощался со всем окружающим, то сегодня надо было возвращаться в него и как ни в чем не бывало двигаться дальше.

Иногда хуже всякой погоды отравляла мысль о Сереге. «Надо же такое ляпнуть, «скучно» здесь, что за натура такая, — думал Иваныч, для которого участвовать в смене сезонов было интересней всякого путешествия, — И вообще... Раи нет, Серега в городе... Зачем строю? Эх, Рая, Рая...» И он некоторое время думал о своей шесть лет назад умершей от рака жене — очень доброй, немного странной и насквозь больной женщине, с большими навывкате глазами и таким количеством прожилков на них, что казалось и слезы ее тоже должны быть в прожилках.

Хотя Иваныч и говорил, что не знает, мол, зачем строит, все он прекрасно знал, и то, что дела надо доводить до конца, и то, что скорее умрет, чем позволит пропасть многовековому мужицкому опыту, и то, что ненавидит всякую времянку, халтуру, лень, и презирает того давнишнего мужич-

¹ яма — место, где после ледостава скапливается красная рыба (стерлядка), туда ездят ставят под лед, то есть подныривают, самолоты.

² Самолот — снасть на красную рыбу, впрочем, довольно жестокая — рыба ловится острыми крючками прямо за тело.

ка, у которого он однажды ночевал: в его избушке было полно щелей, но тот вместо того, чтоб их добрым проконопатить, каждый вечер затыкал уши ватой, съедал две таблетки аспирина, и натянув шапку, заваливался спать.

Иваныч зачем-то еще держал участок, платил аренду, но было ясно, что придется с ним расстаться. Он продолжал обсуждать с мужиками-товарищами погоду, высказывать наблюдения и соображения о предстоящем сезоне, входил в их проблемы, будто тоже собирается в тайгу, будто не знает, что этого не будет больше никогда... А все так ярко стояло перед глазами: осень, заезд, груженная деревяшка, волнистые берега с растрепанной тайгой, Сухая — широкая, мощная, плоская, в водоворотах зыбкой мыри река, пласт прозрачайшей голубоватой воды, которую хотелось выпить, навсегда принять в душу, чтоб она уже больше никогда не мучила, не снилась, не изводила больничными ночами. ...Добраться под вечер до первой избушки, уже в темноте с фонариком сходить на берег, проверить лодку, груз, принести ведро воды, с которой обязательно зачерпнется несколько камешков... Кому, кому теперь передать эту изученную до каждого камня реку, избушки, выросшие на твоих мозолях, эти затертые нары, стол, отполированные портянками вешала над печкой?... А даль меж мысов, завешенная будто светящимся снежным зарядом, а ночное, полное звезд небо после долгой непогоды? Бывало, неделями не видишь этой красоты, смотришь на небо только по делу, переживая за сено или дорогу, а на берега — с веревкой от кошки в руке, ожидая пока сойдется створ с высокой елкой^{1*}, но вот небольшое окно в работе — и взглянешь на пелену дождя, растворившую берега, и так обдаст далью, будто ты все еще тот паренек, какой когда-то сюда приехал — только тогда красота была новая, яркая, а сейчас знакомая, притертая, как старый инструмент, который любишь за вложенную в него душу.

И опять эта осенняя Сухая, пятисоткилометровая река, стекающая с низких голых гор, широкая и очень мелкая по сравнению с этой шириной, и россыпи камней у берегов, по которым все льется, журчит вода, и красные осыпи высоких яров, под которым вода тоже красная, и избушка на высоком берегу, и ночевка, а с утра снова дальше, а небо уже почти зимнее, вроде бы затянутое, но облачность высокая и прозрачная, и все — и мотор, и камни, и вода — все особенно металлическое, серебристое, алюминиевое. А вечером вдруг выйдет перед закатом ясное сдержанное солнце, будто смущенное собственным теплом, и нальет воду холодной синью, а наутро вроде бы светло, но опять как-то серо, серебряно. Крокнет, кувырнувшись на крыло, ворон, и тишина, лишь мощно и отстраненно грохочет вдали длинный и глубокий порог, сжатый двумя каменными грядами-коргами, и сереют пожухлые кусты перед облетевшим лесом, и дымно лиловеют голые березы, и лиственницы тоже осыпались и стоят обнаженные, вздев свои изогнутые пупырчатые ветви, и лишь темнеют кедры и ели. И все — и металл, и свет, и тишина, не то чтобы скорбные, а какое-то очень глубокие... Будто подбирает сама в себе что-то природа, и в тебе тоже все подбирается, подтягивается ожиданием и светлой тревогой. Утром падает за ночь вода, и лед сначала обтягивает камни стеклянными куполами, а потом, лопаясь, топырится угловатыми кусками матового стекла вокруг вылупившегося булыгана, и вода уходит от берега, и если разбить голубое кружево там окажется сушайшая галечка, и уже схватило морозцем подстилку в тайге и ноги в юфтевых броднях с матерчатыми голяшками уже зудят и готовы бежать за дальний хребет. И все за тебя и зовет, и говорит: только работай и не ленись. Вот и хлеб замерз и уже не зачерствеет в прибитом к елке ящике, вот лодка будто сама вылезает на обледеневшие камни, вот и рыбу солить не надо, сложил на лабазок и она так и схватится вместе с розовой слизью оползшим пластом. А поначалу вроде нет птицы, ни белки, ни соболя, а потом глядишь, засвистел рябчик, собаки глухаря подняли, а вот и первый соболь, — внимательная ушастая голова в развилке лохматой кедры и уже пора **н а с т о р а ж и в а т ь**². Так всегда торжественно и веско произносится это слово — не потому ли, что осенью каждый действительно будто настораживает в себе чуткое к невыразимой красоте природы сердце охотника.

Где-нибудь у капкана с очепом³ возле кедры с длинной рыжей затесью нахлынет старинное воспоминание, засветится, как заплывшая смолой затеска на душе, сделанная десять или двадцать лет

¹ ...сойдется створ с елкой — (створ — это судовой знак). Иваныч искал самолетов по метам — то есть выбросив из лодки кошку на веревке, греб, пока не сойдутся меты на берегу — створ с сухой елкой.

² Настораживать — настораживать ловушки на соболя.

³ Очеп — приспособления для зависания попавшей в капкан добычи наподобие журавля,

назад, когда первый раз шел здесь, рубил путик, вспомнилось что-то далекое и оно теперь на всю жизнь привязалось к месту, и так и вспоминается уже столько лет подряд, не давая покоя душе.

Край яра, откуда видна продолговатая листовичная сопка какого-то очень таежного вида и поворот реки, особенно волнующие, когда идет снег и очертания хребта едва угадываются в снежной дымке. Здесь вспоминал Иваныч далекий год, Слюдянку, и похожего на кряж деда с упрямой седой головой. Он глядел на сизый Байкал, на длинные, набегающие со спокойным гулом валы, на синие зубчатые горы на той стороне, и говорил кому-то стоящему рядом: «Седо-о-ой, красавец, батюшка...», и такая великая и неподдельная гордость звучала в его слегка дрогнувшем голосе, что Иваныч до сих пор не мог спокойно вспоминать об этом дне, хотя сам был теперь почти таким же дедом.

Длинная очень основательная кулемка в редком и необыкновенно аккуратном кедряке перед подъемом в гору. Здесь Иваныч вспоминал Гаврилу Теплякова, мужика, у которого стоял искомный клапан на сердце. Раз тот поехал по сено, но ударил мороз и он не смог завести свой тоже еле живой «буран» и пришел пешком, а потом они с Иванычем, тогда еще молодым, ездили за «бураном». И был мороз, и тянул хиус, и на покосе стоял заиндевельный старенький красный «буран», и следы на истоптанном снегу, и круглый отпечаток паяльной лампы, и копоть, и сгоревшая спичка, были особенно неподвижны и покрыты мельчайшей голубой пылью. Иваныч раскочегарил паялку до реактивного рева, до прозрачной газовой сини из побелевшего сопла и долго грел черную от копоти ребристую рубашку цилиндра, стараясь не жечь и без того оплавленные провода. Помнил он медленные движения Гани, как тот тяжело дышал, время от времени морщился и потирал левую половину груди, синяки под его уставшими глазами и красные веки, и спокойную и твердую руку с выпуклыми жилами и татуировкой «Ганя», не спеша прилаживающуюся к пластиковому огрызку стартерной ручки. Потом затарахтел «буран», сначала на одном цилиндре, потом на обоих, и клубилось вязкое белое облако выхлопа и часть его гнутыми волокнами утекала под капот в вентилятор, и Иваныч заткнул вентилятор тряпкой, чтоб сорокаградусный воздух не охлаждал и без того холодные цилиндры. Потом они накидали сено на сани, и когда увязывали воз, Иваныч, не рассчитав силы, слишком сильно потянул веревку и сломал промерзший, нетолстый, с экономией сил сделанный Ганей бастрик¹, и, измученный напряжением вечного нездоровья, Ганя вспылит, сказал в сердцах: «Да что за такое наказание!», и хотя это относилось скорее не к Иванычу, а ко всей жизни, было смертельно досадно за свою неосторожность. Иваныч быстро вырубил новый бастрик, они увязали воз и поехали. Как назло, напротив Самсонихи у Иваныча вдруг перехватило топливо, и он остался снимать насос, а Ганя, шедший передом, ничего не видел из-за воза и вскоре скрылся за мысом, а потом, отцепив сани, вернулся, и терпеливо ждал, пока Иваныч ставит насос, разбирает карбюратор. Привычно стыли мокрые от бензина пальцы, кусалось железо, и Иваныч, чувствуя, каким напряжением дается Гане и это возвращение, и ожидание, старался делать все быстро и был до тошноты зол на себя и за бастрик, и за карбюратор, и чувствовал себя ничтожным по сравнению с этим мужественным и терпеливым человеком. Потом они сидели у Гани за бутылочкой и тот рассказывал про мужика в больнице, который лежал не первый месяц готовый к операции сердца, и который все, как он выражался, «ждал мотоциклиста», и Иваныч представлял себе этого мотоциклиста, молодого, бесшабашного и не подозревающего о том, что его ждет. Ганя вскоре переехал под Красноярск.

У ручья, текущего как по дороге по огромным камням, зарастающими ледяными шапками он вспоминал, как умирала от рака Рая. Ее измученные виноватые глаза в прожилках, и то, как она говорила, что, мол, скорее бы уж, а сама, бедная, все просила лучше закрывать дверь, «а то продует» и то опустошающее облегчение, которое испытал он, войдя в комнату и увидев ее каменное лицо, восковой лоб, и темную струйку мертвой крови из неподвижно приоткрытого рта.

А у большого капкана на краю тундры² вспоминалось детство, дед и покос. Дудка, хвощ, таволжник, волосяник, который мужики называли крепким словом с прибавкой «...волосник». Как шел ранним утром по покосу, спотыкаясь о срезанные дудки, в которых вогнуто стояла ночная вода и весело брызгала в глаза, а потом спросил у деда, откуда вода, если ночью дождя не было? Дед ответил с каким-то почти возмущением от его необразованности, что при чем тут дождь, «земля-

¹ Бастрик — толстая жердь, через которую веревкой утягивают воз.

² Тундра — верховое болото, открытое место.

то гонит!» и велел скидывать сено в копны. Еще он лазил по тальникам с казавшимся тяжеленным топором, и рубил подпоры, и было нестерпимо жарко и вилась тучами мошка, залезая под рукава, в штаны, и в глаза, и он брал у деда мазь из дегтя с рыбьим жиром и мазал изъеденное потом лицо. А когда он лежал в кровати с закрытыми глазами все шевелилась в руках блестящая рукоятка вил, пересыпалось перед глазами сено, и все цеплялась, не слезала с зубца трехрожек увядшая макаронина дудки, и все это отвлекало, не давало заснуть, и стало спокойно на душе только когда он представил, как тихо сейчас на покосе, как стоят литовки и вилы у зарода¹, как молчит скошенная трава, и продолжая в тишине таинственную работу, гонит воду неутомимая земля, наполняя соком срезанные мертвые дудки.

2.

Сергея был похож на Иваныча, такой же курносый, с крепким подбородком, но черноглазый и темноволосый, в кого-то из материнной родовой. Характером в мать, такой же непредсказуемый, заполошный, он все торопился начинать дело, и так же быстро сгорал, остывал, отступал. Во время сборов в тайгу он все торопил отца: «Бать, да че тянуть, встанем пораньше и поедем, к двум уже у Медвежьего будем». Иваныч раздражался: «Сколь раз говорил: не плантуй», и действительно, все выходило по-Иванычеву, опаздывал тракторист увезти груз, а у Сереги убежала плохо привязанная сучка и в результате они выезжали только после обеда. При всем при этом Сергей был и добрый, и смекалистый, и когда ему хотелось, мог свернуть горы. Крепкий, подкаченный, следящий за собой, в драке Сергей сходу приходил в состояние истерического бешенства и сладу с ним не было никакого — в деревне его боялись, хотя и ценили за кураж и остроумие — однажды он пришел в клуб на танцы с квадратной коробкой хозяйственных спичек, которую доставал из кармана пиджака с особенным уморительным шиком. Любил спать и спросонья был по-детски вялым и почти беспомощным. Любил дурачить приезжих — однажды с серьезным видом объяснял туристам с теплохода, что каменная гряда, которую натолкало на берег весенним льдом — это специальная дамба для защиты от весеннего наводнения. Кто-то спросил, как же вы, мол, эти камни таскаете, а Сергей с гордой обидой отрезал: «Так вот и таскаем. Всю зиму на собаках возим».

Был он человеком настроения и в работе при всех здравых на первый взгляд рассуждениях все делал бестолково потому, что не учитывал сложности обстоятельств и именно своих же собственных настроений. Любил тяжелые разовые работы, но не мог изо дня в день терпеливо тянуть одну и ту же ляжку. В работе у него было два состояния — или восторженное, когда что-то получается или кисло-истерическое, когда не клеится, и если для Иваныча главным было сделать так, чтоб не пришлось переделывать, то для Сережки главным было побыстрее освободиться. Как-то раз Иваныч слышал, как он говорил приятелю: «Скучно здесь. Хочу заработать и не могу — негде. Батя, конечно, молодец, но в хрен мне не грюкало так здоровье гробить...». Дальше следовал рассказ о дальневосточном городе, где Сергей работал на судоремонтном заводе во время службы во флоте, и о его фантастически деловом и удачливом приятеле, с которым они катались на мощном и очень низком двухдверном автомобиле с турбонаддувом.

«А мне грюкало? Мне — грюкало? — все не мог успокоиться Иваныч. — Тебя же, дармоеда, кормить-поднимать, в тайге хребет рвать!» С хребтом у Иваныча действительно было беда. Как-то он едва нагнулся к капкану, как буквально сперло дыхание от острейшей боли, охватившей позвоночник, причем, не только со спины, а еще и изнутри, из живота. Он кое-как выпрямился и подгоняемый сорокапятиградусным морозом, шаг за шагом аккуратно донес свой отказавший хребет до избушки и там еще несколько дней лежал на нарах, выходя на каждую колку дров, как на пытку.

Быть охотником Сергею нравилось во многом конечно, из-за престижности этой профессии, но работал он общем-то сносно, делом интересовался, пытал старших, в избушках с жаром обсуждал с отцом тонкости, но придя с промысла, гоняя на «буране» по поселку с невозмутимо расправленными плечами, короткими стремительными движениями руля поддерживая «буран» на неровной дороге, и, общаясь с приятелями, за один день так отдалялся от отца и его интересов, что шли на смарку долгие месяцы общей таежной жизни. Обычно охотники, придя из тайги, шли делиться пережитым друг к другу, а Сергей шел к продавчихину сыну, у которого была «телка» в Дудинке

¹ Зарод — стог

и интересы которого вращались вокруг видеокамер, пива и сигарет, и с которым они могли часами обсуждать сорта батареек. В разговоре с этим Вовкой он даже как-то снисходительно говорил об охоте, будто эта деревянная, сыромятная, снежная, потная жизнь была не всепоглощающим потомственным делом, а лишь чудаческим дополнением ко всему остальному.

Серегина Ленка, очень стройная, прямо ставящая ступни, деваха с пышными светлыми волосами и почти всегда опущенными глазами, стучала короткими и остроносыми резиновыми сапожками по дощатому тротуару и, поравнявшись с Иванычем, быстро вскидывала глаза и бросала: «Здрасьть», будто говоря: «Ну да! Такая вот я и есть, а ты, хоть старый пенёк и уважаемый человек, а туда же». Однажды она так же вот шла навстречу, и рядом вился малец, чем-то ей досадивший, и тогда она выстрелила примерно следующее: «Здрасьть (пшел на хрен!) эт я не Вам». Ленка работала радисткой на метеостанции, одновременно выполнявшей и функции аэропорта, а до этого радисткой на почте — у нее был ценнейший в таком деле резкий высокий голос. Ленка передавала телеграммы, и Иваныч, выписывая по каталогу запчасти, слышал за перегородкой ее резкий голос: Чехова пятнадцать! Че-хо-ва: Человек, Егор, Харитон... Че-хо-ва. Дуплякиной, Ду-пля-ки-ной, — дупло! Все? Понято», щелчок тумблера и Ленкин смешок: «Х-хе, «прохождение»... Уши мыть надо!»

Баба она была со стержнем, за свое умела стояла насмерть и чуть что — начинала орать своим удивительным голосом, пока не добивалась победы. Звали ее Большеротая. Была она сирота, жила с древней бабушкой носившей зеленые очки, и считала, что и начальник, и Иваныч, и все на свете Сережку обижают, зажимают и норовят обделить всем чем можно. Особенно гордо и терпеливо ухаживала она за ним, когда он болел. А болеть он, по выражению Иваныча, «любил».

Сам Иваныч, да и все его товарищи переносили «любую заразу» на ногах, а Серега, едва хватив простуды и захлопав носом, становился кислым, включал телевизор и заваливался на диван с книгой. Однажды у него долго болел большой палец на правой руке, после того, как он богатырски, с перекидом на обушок, насаживал на топор витую еловую чурку, как шкантами стянутую сучьями, и большой палец неудачно попал между обушком топора и широкой как наковальня колочной колодой. Он все потирал палец и морщился, раздражая недоверчивого Иваныча, а потом, когда приехал пароход с врачами, Сереге сделали рентген и оказалось, что палец у него был сломан и уже сросся. Иваныч совершенно запутался в Серегиных недомоганиях, но после случая с пальцем стал осторожней. Но раздражение оставалось и справедливое, потому что этот палец был неспроста, и все упиралось в эту сучкастую витую елку: у Сереги была манера уже захав на охоту искать и валить на дрова эти самые сухие елки, вместо того, чтоб заранее напилить листвяка или кедры, поколоть и сложить, чтоб сохли.

Еще у Сереги все время болели зубы. Ближайший зубной врач находился за триста километров, правда иногда летом приезжал на недельку-другую какой-нибудь запойный зубной техник из дальнего города. Но летом Сереге обычно было не до зубов, а прихватывало его, «как обычно» — язвительно разводил руками Иваныч, зимой в тайге в самый разгар охоты, и тогда, переполошив по рации окрестных охотников, он то тащил рассыпающийся зуб пассатижами, то вспарывал флюс ножом, то пилил наполовину оторвавшийся мост надфилем.

Много лет они ездили на старых Иванычевых моторах и тот рассчитывал, что Серега на сданную пушнину «возьмет себе нового вихрюгу» и это снимет нагрузку со старой техники, а Серега ехал в город и покупал новый дорогой телевизор и галогеновый фонарь. Но поскольку покупал он на свою честно заработанную долю, упрекнуть его вроде было не в чем, хотя все это было отступлением от их общих интересов. И такие отступления встречались на каждом шагу, и все не происходило того, чего Иваныч с такой надеждой ждал — встречного участия сына в делах и постепенного переноса их тяжести на Серегини плечи — Серега все продолжал считать отца начальником и организатором хозяйственной жизни. Но когда тот начинал его попрекать за какую-нибудь недоделку, выпучивал свои навывкате глаза и кричал: «Я мужик! Ты че батя меня попрекаешь!», и закатывал пьяные истерики, а потом спал до обеда, раскинув руки с большими бицепсами, вздымая ровным дыханьем красивый смуглый торс со съехавшим крестиком, и рядом на столике, где стояла пепельница с окурками и катышком жевательной резинки, все ночь молотил магнитофон с автореверсом.

В конце концов Иваныч разделил всю технику, но, как он и думал кончилось тем, что Серега свою не чинил, хотя она у него была в вечно разобранном виде и это называлось «не видишь, я бу-

раном занимаюсь», и когда надо было вывезти дрова шел к отцу, у которого все было на ходу. При этом время от времени Серега наводил у себя в комнате тошнотворный порядок, выглядевший как издевательство по сравнению с тем, что творилось в мастерской, и Иваныч еле сдерживая раздражение, шел к соседу Петровичу, в небольшой хибарке которого всегда было полно стружек и прочего хлама, но весь инструмент — топоры, рубанки, ножовки и цепи были выточены до бритвенной остроты.

Отношения усложнялись, они решили разделиться уже полностью, и Иваныч сказал: вот тебе половина техники и вот тебе половина участка: делай что хочешь, ко мне не ходи, и у тебя есть такие-то вот обязанности, например, дрова, рыбалка и огороды. Тогда Серьга решил уйти от отца и жить самостоятельно, для чего надо было строиться. Однажды ночью Серега притащил среди ночи какого-то ярцевского бича, которого ссадили с теплохода за пьянку. Через этого Степку Серега решил достать строевого сосняка, которым так славилось леспромхозное Ярцево. «Ну что, Степан, сделаешь мне леса?» — спрашивал он Степку грозным деловым тоном. У Степки была рассеченна губа и в кровавом треугольнике расселины удобно лежала беломорина. «Накосить — отвечал он, приседая и проводя широкий круг рукой — накосить — они тебе накосят, а вот с транспортировкой — тут я пас». Эту фразу он повторил раз сто пятьдесят пять, вставая, идя на Серегу и обдавая его перегаром.

Иваныч еле терпел этого Степку, но Серега твердил: «Батя, ну человека ж не выгонишь на улицу, его и так как собаку выпнули». Прожил он у них два дня, надоел смертельно, и когда Серега, отдежурив целую ночь, посадил его на теплоход, и оба они, облегченно вздохнув, сели за чай, вдруг раздался стук, и ввалился Степка, который за пять минут успел напиться и подраться с какими-то бичами и прыгнуть в лодку к не знавшему предыстории почтарю. Степку в конце концов отправили, а затея со стройкой как-то умерла сама собой.

Серега все на мог забыть своей владивостокской жизни, по сравнению с которой жизнь, выбранная отцом, несмотря на все свои прекрасные стороны, была в несколько раз тяжелее своей непреходящей ломовой тяжестью, постоянной заботой по поддержанию существования, какой-то смертельной привязанностью человека к природе и быту, ежегодным повторением борьбы со снегом, ветром, дождем — за сено, которое съестся коровами, за дрова, которые сгорят, за лыжницы и дороги, на глазах заметаемые снегом, который весной растает вместе с лыжницами, дорогами и снежными печурками для капканов, за всех этих глухарей, тайменей, соболей, чья свежедобытая красота так восхищает душу, а в итоге как-то оскорбительно неравноценно меняется на запчасти, комбикорм и консервы, от которых тоже вскоре не остается ни следа. Все это так угнетало Серегу, что он тайком начал готовить себя к совсем другой жизни, которую язык не поворачивается назвать иначе чем нормальной. Через пароходских, которым он сдавал рыбу, у него появились завязки в Красноярске, он ездил туда, и однажды зимой после охоты на подлете к городу он испытал вдруг такое облегчение, что больше никаких сомнений в дальнейших планах быть не могло — у него было чувство, будто он вырвался на свободу. Недельное ожидание вертолета, очень сильные морозы, пьянка в дизельной, во время которой он напился и, заснув, стал подмерзать на цементном полу и потом, не приходя в чувство, как зверь, переполз под теплый ветер радиатора, опохмелка в грязной остяцкой избе, где ничего нет, кроме стола и железной печки, а потом изжога от плохой водки и боль застуженного зуба, и мрачный Иваныч, особенно жестокий в своей немногословности. Потом вертолет снова не прилетел, и было мрачное морозное небо, в котором холодно мерцал красный огонек какого-то другого несевшего вертолета, а на другой день в обед он все-таки вылетел, и в поселке удачно пересел на диксонский рейс, и все это — и дизельная, и изжога, и мрачное ночное небо — вдруг остались далеко позади, и сразу прошел зуб, и были огни, и празднично освещенные витрины, и на сиденье автобуса хорошо одетая девушка с книжкой «Боевые собаки мира», и какое-то совершенное расслабление всего существа.

Однажды в конце лета он даже задержался на месяц, чем здорово подвел отца: они договорились вместе ехать завозить горючее на зиму. Прошли дожди, поднялась вода, и случай был — грех пропустить. Иваныч подождал-подождал, да и поехал один, и вываливая двухсотлитровые бочки из лодки, закатывая их на угор, все думал: «Что за натура!» Ей-Богу, вольтанутый какой-то! Может я в чем виноват? Да нет вроде... И все время со мной парень был. Вот у Кольки трое и все молодцы, и хоть тот и называет их «лоботрясами» и при других разговаривает с ними свирепым голосом,

живут-то они душа в душу»...

Особенно хорош был средний сын Лешка по кличке Дед. Звали его так за сходство со своим дедом, колькиным тестем дядей Митей Черт Побери — старым очень кряжистым остяком¹ с такими короткими ногами, что, казалось он по колено ушел в землю. Лешка несмотря на свои пятнадцать лет имел черные усики, тоже был очень кряжистый, ходил в бодрую перевалочку и все делал на редкость ухватисто, заправски, даже с некоей юношеской избыточностью движений, но с неимоверным жаром, прилаживал ли отпадающий стартер к «дружке» или отчерпывал лодку берестяным черпаком. Дядя Митя, старый и уважаемый охотник и рыбак, когда напивался через слово говорил «черт побери», причем произносил это по-остячки отрывисто и отчетливо — сродни перепелиному «спать пора». В обычное время его особо не было видно, но выпив, он начинал бегать по деревне и с жаром здороваться со всеми двумя руками, выкрикивая отчетливой скороговоркой: «О, черт побери, как дела? Быпить есть, в самом деле? Все по уму! О-о-о, чер-т-т побери!» Примечательно что через дом от Чертика жил другой мужик, Николай Афанасьев по кличке Бог, в свою очередь прозванный так за выражение: «В Бога мать», тоже пожилой, но сухой, с худым и правильным бледным лицом и светло-синими глазами. Он сильно сельдючил² и отличался нечеловеческим трудолюбием и такой же нечеловеческой бережливостью, косил вручную, правда с помощниками, на десять бычков и ходил все время в одной, покрытой аккуратными мелкими заплатами фуфайке. У него был почти музейный желтый «буран» первого выпуска, с непоцарапанной краской, на котором он возил дрова из лесу, причем оставлял «буран» на дороге, а от поленицы они с женой, обливаясь потом, таскали дрова на нарточке. Дважды у него вылезала грыжа и ему вызывали санзадание. Серега одно время рыбачил с Богом промхозным неводом, и тот рассказывал сказочного колорита побасенки одного очень определенного направления, а колючих застревающих в ячее ершей называл «гошударством». «Вон оно — еще одно гошударство идет», — говорил он, высвечивая фонариком надувающегося и манерно топырящего плавники ерша, и аккуратно вытаскивал его длинными сухими пальцами.

3.

В ту осень Серега, проявив необычайную прыть и изворотливость, и не без помощи Ленкиной глотки, купил новый, в упаковке, трехсотый «нордик» финской сборки — серебристый, стремительных очертаний снегоход с дымно-голубым ветровым стеклом, похожим на леденец задним фонарем и электроподогревом рулевых ручек.

В начале сентября они с Иванычем увезли в тайгу отцовский «буран» и бензин, и теперь везли Серегин груз и новый «нордик». Незадолго до отъезда Серега гулял на водопутейском катере и один матрос, Эдуардка Пупков по кличке Бешеная Собака, с протезом переднего зуба, от которого отвалилась пластмасса и на ее месте виднелась металлическая основа в каких-то очень авиационных дырочках, так вот этот вот Эдуардка рассказывал Сереге, как якобы занимался в Норильске водномоторным спортом и, для повышения скорости шлифовал редуктор и винт и Серега, загоревшись, несколько вечеров подряд драил винт войлочным кругом, на что Иваныч только качал головой, зная, что вся эта шлифовка до первого камня. Забрасывались они на участок на десятиметровой дюралевой лодке, доставшейся им от одного охотника, склепавшего ее в городе на заводе. По бортам ее были пущены две широкие доски, крашена она была темно-зеленой краской и звали ее «Крокодилом». На редкость громоздкий и неказистый Крокодил брал тонну груза и на волне ходил ходуном как кисель, что и спасало его от перелома. Первые восемьдесят километров река текла довольно спокойно, а дальше шло несколько широких и мелких порогов, за последним из которых стояла их первая избушка. Вода была не самая, но все же маленькая, и Илюшкины Шиверы³ и первые два порога Сергей поднял благополучно, всего несколько раз цепанув защитой — сваренной из уголка и прутьев ограждением для винта. С последним, Мучным, самым неприятным у Сереги были свои счета, в прошлом году у него здесь заглох мотор и он чуть не вывалил весь груз. Спасло то, что произошло это

¹ Остяк — представитель коренной национальности — енисейских кетов.

² Сельдючить, — от слова сельдюк, житель Туруханского Енисея, (по названию Туруханской селедки — ряпушки). У сельдюков особый говор, например, они произносят вместо «ш» — «с», вместо «ж» — «з», («серсавый», «нозык»). Сельдючить — это значит говорить по-сельдючьи.

³ Шивера — участок реки с камнями и быстрым течением.

в нижней части слива. Мучной порог был самый нескладный, длиной метров сто, не столько даже мелкий, сколько с очень сильным уклоном и огромным числом камней, расположенных в шахматном порядке, так что каждый обойденный камень перекрывал путь к отступлению. Самая пакость была вверху, где за огромным булыганом, через который белоснежными лентами валила стеклянная вода, начинался спокойнейший плес, сквозь кристальную воду которого на многие метры виднелось выложенное плитняком дно. По сторонам от камня дрожали две выпуклые струи. В более мелком левом ходу было несколько метров ровного галечного дна, где вспененная вода текла стремительным, пугающе тонким пластом. Именно здесь обычно подымался Иваныч, с отсутствующим видом сидя за работающим на полняке тридцатисильном мотором и медленно с железной точностью и уверенностью ползя вверх. Правый ход, которым пошел Серега был глубже, но требовал почти невозможного маневра, потому что как только ты входил в слив, сразу на выходе оказывался камень и чтобы его обойти, требовалось сделать движение румпелем вправо, но мотор тут же, откидываясь, переползал еще один камень и лодка, потеряв скорость, оказывалась опасно развернутой к течению. Сергей очень хорошо почувствовал через подскочивший мотор этот удар, хруст, и видел, как Иваныч с перекошенным лицом пытался шестом выправить нос, а мотор в синем облаке дыма бессильно орал на срезанной шпонке и Серега не мог понять почему не помогла защита. А они уже неслись, набирая скорость, и Крокодил с горой груза, бочками, с серебристым «нордиком», все сильнее разворачивало поперек, несмотря на все усилия их шестов, и раздался один удар о камень, потом другой, и уже пронесло половину порога, и полностью развернутый Крокодил всей массой неся середкой на блестящий зеленый камень. Серега зажмурил глаза, раздался страшный сложный звук, в котором слился и удар, и треск, и одновременно Иваныч отпустил веское, будто все обрубашее двусложное слово и вылетел за борт в обнимку с канистрой, успев натянуть на себя карабин.

Все как-то вдруг замерло, застыло, переломленный пополам Крокодил, колыхаясь, сидел, обнимая камень, задняя часть с «нордиком» осела в воду, наповодину слезший с транца мотор упирался в дно, а ниже удалялся, качаясь в серебристой водяной толчее черный вездеходовский бачок.

Истошно орут собаки, Иваныч, стоя по бедра в воде и держась за камень кричит: «Ну че опрутел? Хватай канистру и прыгай!», а Серега стоит в Крокодиле и то застегивает, то расстегивает ремень, не зная снять озям¹ или нет. Устройство порога было таким, что они теперь оказались почти вберегу и, падая под напором воды, цепляясь за камни, быстро перебрались на берег, и, кажется, плыть пришлось один раз. Крокодил так и сидел двускатной крышей на камне и из грохота воды волнами доходил собачий ор. Пока отжимались — вода ледяная, вот-вот снег пойдет, — выяснилось, что Серега поставил под винт только одну шпонку, что вторую бессмысленно ставить из-за канавки во втулке, и тут Иваныч от всей души обматерил его за этот отшлифованный винт с канавкой — и пожалел, что не отобрал у него мотор перед порогом.

В избушке в двух километрах от Мучного они сушили и пили чай, и Серега, который никогда еще в жизни не чувствовал себя так гадко, после долгого молчания сказал: «Как же мы все это гошударство вылавливать будем?» «Ладно, «гошударство», — наконец усмехнулся Иваныч — нордьятину-то мы найдем, а вот что с Крокодилом... — он покачал головой — Накосить они тебе накосят, а вот с транспортировкой...» .

Стащили казанку, поставили «ветерок» и поехали. Привязались к Крокодилу, Серега перекидал мокрых, топырящих лапы, собак, подал лыжи, понягу, оружие, мешок. Когда он вытащил из противомедвежьей бочки мешок с крупой, облегченный Крокодил угрожающе заходил под напором воды и Иваныч заорал: «Режь, утопит нас!», и Серега вскочил в казанку и перерезал веревку, а Иваныч поймал за фал съезжающий Крокодил, от которого тут же оторвался мотор. Они поволокли Крокодил по дну, видя под мощным пластом клубящейся дымчатой воды, как колыхался надорванный корпус от ударов по камням и как вывалился и потерялся из виду «нордик». Крокодил они успели притащить к берегу, раньше чем их поднесло к следующему сливу, и долго на руках волокли по заваленному камнями мелководью, пока он не оказался на сухом, где выяснилось главное — что дно цело, порвались только борта. Темнело, и в этот день успели лишь найти и достать мотор, казавшийся в воде изумрудно-зеленым, перетащить через порог и доехать до избушки.

Серега никак не мог сосредоточиться, его волновало все сразу: как искать «нордик», далеко ли унесло бензин, и как быть: отремонтировать Крокодил или ехать в деревню за другой лодкой, а Ива-

¹ озям, азям — охотничья сукодная куртка.

ныч был спокоен, потому что знал, что надо просто все делать по очереди. Выпили без радости, топили печку, утром намотали высохшие, затвердевшие коркой, портянки и поехали к Мучному. Пока грелся чай, Серега профукал мотор, снял маховик, вычистил каменную крошку и завел. Оказалось, что у защиты отломился один ус, видимо еще в предыдущем пороге, и Иваныч опять тоской и раздражением подумал о том, что Серега должен был перед Мучным проверить защиту, а сам он должен был напомнить об этом Сереге, но не напомнил, потому что Серега бы выпучил глаза и забухтел бы, что он «мужик» и сам все знает.

Приготовив шест с крюком, веревки и кошки, они уехали к порогу, и начали поиск, заезжая под слив и сплавляясь на якоре. Сначала, правда, объехали самые вероятные места, выловили мешок комбикорма и видели ведро. Просматривалось все насквозь, только отсвечивала вода, когда двигались против света. Буровили долго. Избороздили больше половины широченной реки, а «нордика» все не было, и уже ум заходил за разум, и было ясно, что ищут не там, и Серега все ворчал:» Мы здесь елозим, а он, поди, лежит себе спокойненько на камнях в Нижнем сливе». Но нордика и там не оказалось, они спустили Нижний слив, за ним шла глубина метров шесть, плясала черно-синяя вода частоколом остроконечных волн, а ниже ходила по кругу пена в огромных черных воронках — и как искать там было вовсе непонятно. Они сплывались ниже, выудили с дна ярко-зеленый армейский плащ, обнимавший камень, поехали вниз, и нашли вездеходовский бак, стоявший в камнях у берега, а ниже у Гришинского порога бочку с бензином. Вернувшись назад, они подняли Нижний слив и поехав немного левее, чем обычно, вдруг наткнулись на еще один мешок с комбикормом, мешок вытащили крюком, Серега заорал:» Давай дальше так же ездай!», и совсем под камнями у той стороны в хрустальной воде они увидели «нордик», лежащий на боку во всем нелепом великолепии наклеек и отражателей. Подняли его и отволокли на веревке мотором к противоположному берегу. «Нордик» не пострадал, капот был крепко застегнут, поцарапались только металлическая окантовка боковин и разбился боковой отражатель. Серега прокачал двигатель, завел, прицепил лыжи и перегнал «нордик» по пабереге за порог, откуда потом они увезли его к избушке.

На следующий день они, привезя заклепки и доски, собрали Крокодил, облезлой зеленой краской и многочисленными заклепками напоминавший старый бомбардировщик. Серега собрал смолу с прибрежных избитых льдом елок, нагрел ее в банке, и с криком «Накосить они тебе накосят!» долил бензину, размешал палочкой и смола вдруг сразу почернела и стала как настоящий гудрон, только темно-коричневая, и Серега подмигнул отцу, мол «могем изобрести, когда надо», и Иваныч проворно и аккуратно заливал швы Крокодила, а Серега размазывал гудрон палкой с намотанной тряпкой.

В избушке Иваныч сушил крупу и подсчитывал потери: не считая мелочевки потеряли только Серегину противомедвежью бочку с комбикормом и сгущенкой, но по-настоящему было досадно за новые «бакенские» батареи для радиостанции — старые сильно подсели еще в прошлом году, и эти Иваныч с большими трудами выменял у Бешеной Собаки на стопку камусов¹.

Иваныч с Серегой поехали дальше. Листва с берез облетела еще не полностью и ярко желтели листьяги. Установилась погода: по утрам ледок у берега, днем ослепительное солнце, резкие тени, блестящая синяя вода, желтизна тайги, дно в рыжих камнях и голубая гора над концом поворота.

С утра ездили за птицей. Был запотевший полиэтилен окна, и Иваныч, встав, вышел на улицу и глядел на космически синее небо со звездами и стеклянное зарево восхода, а потом затопил печку-полубочку и она загудела, и затрепетала в такт рывкам тяги пленка окна с зашитым следом от медвежьей пятерни.

Серега долго грел мотор под капотом, и синий дым стелился волокнистой прядью над сизым от инея берегом, и отчаянный лай привязанных собак отдавался долгим эхом по хребту противоположной стороны. За поворотом за седой от инея каменной грядой на галечнике сидели вытянув вверх шеи три глухаря, какие-то особенно ненатуральные в напряженной неподвижности высоко заданных голов. Одного Иваныч убил из тозовки прямо на галечнике, а другой сел на листовень метрах в ста, и Серега застрелил его из ружья. Обрато сплавлялись самосплавом. Припекало солнце, с шорохом опадал подтаявший ледок берегов, и на мелководе у охвостья галечного острова под выпуклым треугольником волны медленно удалялась литая торпеда тайменя.

¹ камус — шкура с ног сохатого или оленя, используется для оклейки лыж и для изготовления пимов (род зимней обуви, вроде коротких бокарей),

Потом рыбачили сетями, потом Иваныч уехал вниз, а потом завернула зима, да так, что казалось никакого лета и не было и вообще ничего в жизни не было, кроме поочередного движения мохнатых лыжных носов перед глазами и упругого холодка капканной пружины в ладони.

Но вообще осень выдалась морозной и малоснежной, и Серега, шарашившийся по своим дальним избушкам и еще не видевший отца, не знал главную неприятную новость: то, что повылезали шатучие медведи и где-то вверху даже задрали двух охотников. Светло-розовым ноябрьским днем с редким сухим снежком Серега подходил к избушке по хребтовой дороге. Несмотря на погоду настроение было испорчено — собаки еще с утра убежали по старому следу соболя и скорее всего вернулись обратно на Еловый, причем едва они убежали, сразу же стали попадаться свежие следы. «Ладно, если завтра не придут, сяду на «нордик» и слетаю». Спускаясь к избушке, он увидел на старой почти задубой лыжнице неожиданно свежие крупные следы, и тут же заметил, что с нордика скинут брезент и нет стекла. Карабин он оставил в самой дальней хребтовой избушке, ружье было как раз в этой, а с ним была тозовка калибра 5,6. «Блин, и собак нет!» Он постоял, помялся, сделал факел из палки и куска бересты, поджег его для острастки, взял в другую руку взведенную тозовку и пошел к избушке. Стояла она так, что подходя, он видел ее глухую боковую стену, и выкинутые спальники, лампу, кастрюли, батареи, осколки напротив распахнутой двери. «От, козлота! И собак нет.» — снова подумал Серега. В морозном воздухе отчетливо послышался скрип развороченного пола — медведь завозился, почуяв Серегу. Тот сделал еще несколько шагов, и медведь вылетел в окно и на долю секунду замер, глядя на Серегу. Серега заорал матом, и медведь в три прыжка скрылся в лесу. Серегу трясло, он схватил ружье, искал патроны, не нашел, потом зачем-то налил в собачий таз и поджег солярку, потом взялся заводить «нордик», тот не заводился — было холодно, потом натаял в банке снега, нагрел его, полил на цилиндр, завел и пока тот грелся, накрытый брезентом, успокоился и поставил на подходах к избушке пару петель из троса, а потом уехал к отцу в избушку. Когда они вернулись, медведь уже сидел в петле. Все вокруг было изрыто-испахано, снег покрыт бурой земляной пылью и бледно-зелеными клочьями мха, окрестные елочки и кедрушки изгрызены вщепки. «Трос не перебей», — не удержался Иваныч, глядя как ретиво передергивает Серега затвор карабина. Сергей выстрелил в голову, медведь рухнул и, отдрожав мелкой дрожью, застыл рыхлой черной глыбой. Больше всего Серегу поразило, что когда он уехал, медведь перебежал Сухую и забрался на угорчик — глянуть, не притаился ли Серега за поворотом.

В избушке прибрались, привезли туда продуктов, и в общем все кончилось удачно, единственное, что по реке было холодновато ездить без стекла и приходилось все время останавливаться, открывать капот и греться под теплой струей вентилятора, отдирая от бороды и усов сосульки.

Через неделю Поповы снова встретились. Иваныч пришел поздно и застал Серегу сидящим на нарах, беседующим по радию с ближним соседом Вовкой Коваленко. Весь день Иваныч как-то с особой теплотой думал о Сереге, а тут снова почувствовал раздражение, увидев как болтает Серега, сядя еле живые батареи, тем более с Коваленко, который мог молотить языком сутками.

Коваленко обо всем говорил с небывалым жаром, все путая и преувеличивая. На его участке, оказывающимся просто какой-то территорией чудес, всегда вываливало в два раза больше снега, давили антарктические морозы и водились особенно свирепые росомахи, которых тот называл «подругами» и которые разоряли Вовкины дороги, сжирая попавшихся соболей, с особой, почти человеческой целенаправленностью. Естественно, что подруга если уж попадалась, то непременно каждой ногой в отдельный капкан, что называлось у Вовки «обуться на четыре ноги». Все у него было особенное, огромные глухари или улетали из-под обстрела, будто бронированные, или падали к ногам еще до выстрела, рыба если ловилась то «валила валом», и ее «ко-е-как» удавалось перевалить в лодку вместе с сетью, а если не шла, то ее непременно «как отрезало ножом». Вовкины собаки, как обезьяны, лазили по деревьям и норовили так «фатануть в хребет» за сохатым, что возвращались не раньше чем через месяц. Техника тоже у него работала по-своему и ремонтировал он ее тоже своим способом: «Ково? Колпачки? А я их ср-р-азу выбр-р-расываю! Р-р-релюшка? Ср-р-разу отр-р-рываю, напр-р-рямую все пускаю!... Пор-р-шня, цилиндр-р-р-а? Ср-р-разу р-р-разбираю...» и так далее — орал он на весь район, и, казалось, что после столь решительных мер от мотора давно ничего не должно было остаться, кроме голого бешено вращающегося коленвала. При этом с охотой у него всегда все было катастрофически плохо, и он опять

вопил:»Да нету ни хр-р-рена! Голяк! Пустыня Гоби!», но на вопрос, «надавил» ли он все-таки «пару десятков», не в силах удержаться, тяжело вздохнув, виновато отвечал: «Надавил».

— Ладно, Вовка, тут старшой пришел, ворчит, как обычно. До связи, — попрощался Серега с Коваленкой и весь вечер лежал на нарах с особенно скучным видом.

— Да ты че скучный-то такой? — не удержался Иваныч.

— Да нет, ничего — по-сибирски отдельно ударяя и на «да», и на «нет», ответил Серега и, сморщив лицо, потер правый бок.

— Болеешь что ли? — насторожился Иваныч.

— Но. Есть маленько.

— Че такое?

— В бочину отдает правую.

— А температура?

— Да то-то и есть, что температура.

— Большая?

— А я хрен ее знат.

— На глаз надави, больно?

— Да вроде есть маленько.

— И давно?

— Да уже четвертый день. Может отравился чем.

— Едрит-т-т твои маковки! А че молчишь? — сказал Иваныч и подумав, добавил, — завтра не ходи никуда.

Оба лежали каждый на своих нарах. Потрескивала печка. Ярко-горели две лампы, и в бачках из литровых банок прозрачно желтела солярка. На стене возле Сереги было вырезано:

Много в избушке набито гвоздей,
Здесь Серьга Попов добывал соболей.

Кругом действительно было набито огромное количество гвоздей, на которых висела одежда, веревочки, кулемочные сторожки, мотки проволоки, ремешки, фитили для ламп, капканы, ножницы, старый узел перемещения от бурана, мясорубка, а у двери в полиэтиленовом пакете какой-то сплавленный доисторический комбижир, который не ели даже мыши и не трогал здешний робкий молодой медведь, почему-то проверявший эту избушку только через окно. Комбижир этот давно уже стал частью обстановки и, казалось, для того, чтобы его выкинуть, потребовалась бы какая-то нечеловеческая решительность. Ошкуренные посеревшие бревна были очень толстыми, стены рублены в точнейший паз, что вообще редкость в таежных избушках, настоящие, как в деревенской избе, косяки были крепко влиты в дверной проем, а дверь из трех широких плах отлично согнана. Иваныч эту избушку любил особо, он в ней начинал охотиться, она была единственной из десяти на участке, срубленной не им, и ее редкостная добротность как бы с самого начала задала тон всей остальной стройке.

— Батя, эту избушку кто рубил?

— Евдокимов.

— Но-но. Ты рассказывал... Это который кулемки первый начал рубить. Долго он охотился-то?

— Да нет недолго, года два.

— А потом что?

— Уехал — сказал Иваныч.

— И стоило ради этого такое гошударство городить...

— С начальником разругался, — сказал Иваныч и перевел разговор на кулемки.

Иваныч сказал неправду. Евдокимов — тридцатипятилетний, бездетный, поразительно обстоятельный мужик, приехавший с бабой с Дальнего Востока и первый здесь начавшему рубить вороговские кулемки, не ругался с начальником. Избушку эту действительно рубил он, заехав сюда весной. Проохотился он в ней два сезона, и под Новый год так и не дошел до деревни — послали самолет и нашли его в версте от этого места, сидящим мертвым на нарточке с выражением какого-то сумрачного напряжения на неподвижном лице. Иваныч помогал затаскивать его в клуб, где ему и сделал вскрытие прилетевший врач — у Евдокимова «лопнул аппендицит».

На следующий день Серега никуда не ходил и вечером Иванныч решил связаться с деревней и посоветоваться с фельдшером. Серьга не возражал, но резонно заметил: «Главное, чтобы до Ленки не дошло, а то она всех на уши поставит». Иванныч попросил начальника позвать фельдшера и рассказал, что у Сереги четвертый день «отдает в бочину» и температура. Слышно было плохо, как назло совсем сели батареи («с Коваленкой целый вечер протрекал», — рыкнул Иванныч), и Иванныча дублировал Коваленко с присущим пылом. Фельдшер, понятно, не мог сказать ничего определенного, решили ждать и выходить на связь.

Но тут, как это выяснилось позже, в контору ворвалась Большеротая Ленка просить у начальника какие-то злополучные лампочки для метеостанции, и услышала конец разговора. У Поповых как раз в это время совсем сели батареи, а когда Иванныч, перемазавшись в едкой черной жиже, разобрал самую живую из них, пересоединил пластины параллельно, временно добавив напряжения, и вышел на связь, то с удивлением узнал, что вертолет уже летит, потому что Ленка действительно «поставила всех на уши», угрожая, плача, матерясь, и особо упирая на плохую связь и севшие батареи, припомнив и Евдокимова, и на всякий случай двух зажранных медведями мужиков и пригрозив фельдшеру, что все равно вызовет вертолет, как главная радистка. «Ты гляди-ка — «рано» — передразнила она фельдшера — рана век не зарастет! — и заблажила на одной оглушительной ноте, не давая вставить ни слова — Мужик мой пропадат, а вы здесь сопли жуете! Ни хрена — слетают не развалятся, когда им за рыбой надо — не спрашивают, кто платить будет, а вас всех по судам затаскают, если помрет мужик!»

В результате прилетел вертолет, и Серегу увезли в район. Иванныч перебрал все «бакена», выбрал рабочие пластины, собрал временную батарею и иногда выходил на связь. Через две недели он с узнал, что Серега уже в деревне и заходит на участок. Заходя, Серега гудел в избушках у охотников и по этому гудежу можно было следить за его перемещением. «Сколько же он водки взял? Большой... — недоумевал Иванныч. Не всякий здоровый столько упрет», и до поры не приставал с вопросами.

Через три дня Серега куралесил уже совсем рядом у Коваленки. Гудеж заключался в том, что оба, отбирая друг у друга микрофон, городили друг друга всякую несусветицу. Например Коваленко, все кричал, что, мол, мужики, спасайте, этот-то, приبلудный-то, верховской-то, аппендицитный, совсем заел, говорит не кормишь меня, того гляди, из избушки выпр-р-рет, в катухе с собаками ночевать заставит, водку притащил, пей, говорит, собака — а мне ее не наа... а «приблудный», давясь от смеха и гремя кружками, отбирал у него микрофон и орал: «Мужики! Вы кого слушаете? Этот майгушашинский! Это такой пес! Я к нему по-людски! Сидел как швед, последний хрен без соли доедал, а тут ему выпить, и закусить! Еле в избушку пустил, заморозить хотел! Слышь, бать, а? В катух! В катух к собакам, к Дружкам, значит, селит меня как бичугана! И таз! Таз сует с комбикормом! Жри, говорит, пока лопаткой не огрел!» , тут Коваленко вырвал микрофон и заорал: «Мужики! Вы кого слушаете! Он почему в катухе-то оказался? У меня же сучка гониться! Дак этот кобель всех моих по... по..., удди отсюда, пораски... пораскидал»... И тут оба завыли от хохота и временно затихли, чтобы выпить крепко разведенного спирта и закусить строганой максой — налимьей печенкой, причем Серега, услышав как начальник жалуется, что не может улететь в район и третий день сидит на чемоданах, не поленился оторваться от закуски и крикнуть с полным ртом: «А че, на чемоданах нельзя улететь?»

На следующий день Иванныч встретил Серегу на «буране» и через полчаса в избушке Сергей доставал из поняги мгновенно заиндевевшую бутылку, пересыпающиеся с костяным стуком пельмени в мешочке и пакетик с мелким фигурным печеньем.

Серега за дорогу так преуспел в остроумии, что уже ни слова не мог сказать нормально и на вопрос, что же с ним все-таки было ответил: «Этот застудил, как его, узел перемещения, короче, — (Серега хохотнул) — без стекла-то ездил, и максу посадил, комбижир жрал, как индюк». Иванныч не сразу, но понял, что под узлом перемещения тот имел ввиду паховый лимфоузел, а Серега бодро налил водки и весь вечер рассказывал про главврача Тришкина, про свои залеченные зубы и про вредную, но красивую старшую сестру, за пятнистую шубу прозванную Ягуаровной. Потом Серега пошел кормить собак, а Иванныч лежал на нарах, и вспоминая эту осень, в который раз приходил к выводу, что опять все вышло исключительно из-за Серегиного «дуругонства»: не поставил бы он свой дурацкий шлифованный винт с канавкой, проверил бы защиту — не утопили бы

батареи, не поленился бы сделать стекло из жести — не продуло бы ему этот самый «узел перемещения», а были бы батареи — вышли бы на связь и, глядишь, не было бы никакого вертолета и этого позора. Ну что за натура такая! И с комбижиром — какая печенка выдержит, когда его даже мыши не едят — там нефть одна, а он на нем целую неделю хлеб жарил. Ну годик достался! Теперь не дай Бог, случись что — и вертачину-то не вызовешь...

Потом вошел Серега, захотел чаю и вывалил на стол фигурные печенюшки. Потом они выпили, разговор постепенно перешел на излюбленную тему работы, и Серега, который, чувствовалось, был теперь полон каких-то новых соображений, все наседал на отца:

— Вот ты, батя, все сам делаешь, а на хрена, скажи, тогда профессионалы нужны?

Иваныч отвечал, что, мол, рад бы и не делать, да кто ж за него сделает, и вообще какой ты мужик, если ничего не умеешь, а Серега, ударяя на «да», говорил:» Да вы че такие-то? Вот ты с «бураном» копашься, а любой механик все равно лучше тебя шурупит и так его сделает, что тот через два часа как чугунок стоять будет! Вот у нас Петя — на хрена он тогда техникум кончал? Пусть он тебе и делает, а ты б ему платил — и от работы не отвлекался бы, и техника бы лучше ходила, и Петя бы при деле был. Каждый своим делом должен заниматься- уже почти орал Серега, раздраженно перебирая пухлые буковки и рыбки печеня.

Иваныч тоже все больше раздражался, чувствуя, как втягивается в какой-то пустой разговор, зашедший теперь уже о свободе вообще, причем по-Иванычеву выходило, что свобода, это, когда все умеешь и ни от кого не зависишь, а по-Серегинуму, когда просто много денег.

— Ладно! Как чугунок... — кричал Иваныч — Ладно! Я хоть худо-бедно сам делаю, а ты полета Петю прождал, а потом вы с ним так движок перебрали, что я до сих пор бутылки из мастерской выношу, а буран как стоял, так и стоит. Как чугунок...

Серега, не слушая Иваныча орал свое:

— Взял, мужиков нанял, сам в тайгу, а они тебе дом рубят!

— Ладно! — продолжал Иваныч — Если б была у меня здесь мастерская, этот сервис твой гребаный, что бы я, думаешь, мозолил бы мотор этот, как проклятый под угором, таскал бы его, падлу, взад-передь!.. Сдал бы его на хрен, дал бы пару соболей... Вообще... Заколебал ты меня, Серьга, в корягу! — кричал Иваныч, еще больше злясь, потому что сам не верил, в то что говорит.

— Батя-батя-батя, мозга не канифоль, — подняв палец, быстро заговорил Серега, — ты если б и в городе жил, и зарабатывал, и машина у тебя б была, хрен бы ты на мастерскую забил и сам бы с ней копался, как... как всю жизнь копался и за эту люблю я т-тебя... не знай как... — голос Серьги дрогнул и он крепко зажал большую чубатую голову Иваныча согнутой в локте рукой и ткнулся лбом ему в висок. А потом налил, и они подняли кружки, и когда отец выпил, Серега протянул ему китообразную печенюжку: — На вот кита тебе, — и так улыбнулся, что еще долго светло и хорошо было на душе у Иваныча.

В декабре Поповы еще по разу проверили капканы и поехали в деревню. У Коваленки они грелись и пили чай, а Вовка сидел на железной кровати, обдирая соболя, и по-хозяйски улыбался, а на стене висел портрет крашеной певицы из журнала с его припиской:

Ты как будто вся из света,
Вся из солнечных лучей.
Мы с тобою до рассвета —
Сказка тысячи ночей.

У Черного мыса они встретили Славку-Киномошеника. Он вывозил лодку. Приходилось все время ждать отстающих собак, и Серьга остроумно сообразил посадить их в «бардак» лодки, громко захлопнув крышку с криком:» — До связи!» Правда потом на кочке люк открылся и собаки радостно выскочили врассыпную, но это было уже возле деревни.

Весной Иваныч в который раз неважно себя почувствовал и поехал в район в больницу, где вдрызг разругался с главврачом, толстым холеным человеком по фамилии Тришкин, которого все звали Тришкин Кафтан. Тришкин, не раз, казенно выражаясь, использовавший выделенные министерством летные часы для посторонних целей, почему-то не мог простить Иванычу осеннего санзадания, грозил, что заставит оплачивать и, выписывая направление в краевую больницу, имел такое выражением на холеном бабьем лице, будто делал Иванычу великое одолжение, а потом

презрительно-авторитетным тоном заявил, что, мол, нечего здесь сидеть с такими болезнями и морочить людям голову и раз так — уезжать надо в нормальный климат и прочее, от чего Иваныч пришел в бешенство и сказал Тришкину все, что он о нем думает.

Потом был Красноярск, обследование, анализы, тест на велосипед, называемый балагуристый дедком, соседом по палате, «велисапедом», потом был диагноз ишемии, потом Серега уехал, сначала ненадолго, а вскоре совсем, причем как-то так поставив вопрос, что он не бросал отца, а наоборот, ехал в город «пускать корешки», потому что отцу, мол, все равно придется менять климат. Пустить корешки оказалось не так просто, но Серега терпел, жил в общежитии у приятеля, с которым они торговали сцеплениями от маленьких японских грузовичков, а потом, использовав свои владивостокские связи, затеял с этим же приятелем какое-то уже другое дело.

4.

По сравнению с общей бедой, когда твое дело жизни оказывается ненужным сыну, сам отъезд Сереги был пустяком и почти не огорчил Иваныча, он даже испытал облегчение — можно было спокойно и не стыдясь чужих глаз подстраиваться под новые условия. В особо тяжелые минуты Иваныч думал о Рае, чувствуя какое-то трогательное тепло, представляя, как она сидит рядом с ним, и это одно время помогало, а потом как-то исчерпало себя: нужно было решать что-то внутри себя, и если бы Рая даже была жива, ее присутствие и поддержка все равно помогли бы до какой-то границы. Однажды дело приняло неожиданный поворот — Иваныч вдруг вспомнил Большеротую Ленку, и с каким-то злорадным сладострастьем представил ее выложенное мягкими мышцами тело, длинные смуглые ноги, бедра, плечи, ее губы и тяжелую линию челюстей, всю ее сильную и теперь особенно жесткую в своей правоте красоту, и все то, о чем никогда бы не позволил себе думать и чему был обязан только этой минутой отчаяния, единственным достоинством которой было сознание того, что никто никогда не узнает, о чем он думал. И вот разочаровавшись в этих разовых средствах спасения, он нащупал в себе в общем-то не новое, но единственно прочное ощущение — это ощущение достойно прожитой жизни и необходимости такого же достойного конца. Самой смерти Иваныч не боялся, но в некоторые промежуточные моменты между приступами ощущал в себе унижайшую панику расставания со всем этим любимым миром, который, самое досадное, становился с каждым годом все понятней, родней и благодарней при правильном обращении. А теперь он вдруг как-то очень хорошо почувствовал, что ведь дело-то обычное, ведь не первый он, ведь все те русские люди — плотники, печники, охотники, опыт которых он так берег и с такой любовью продолжал — все они в конце концов тоже умирали, и тоже стояли перед этим вопросом, и что если он видел смысл своей жизни в следовании их опыту, стараясь держать масть мужика с большой буквы, то это опыт-то не только плотницкий, печницкий, охотницкий, а самое главное — человеческий, самый ценный, потому что человеком труднее быть, чем хорошим охотником или плотником — вот оно как... и так спокойно и твердо становилось у Иваныча на душе от этой мысли, что больше уже ничего не тревожило, кроме, конечно, Сереги.

Действительно Иваныч как-то прискрипелся, и уже не один год прошел с отъезда Сереги, и сейчас эта стройка так неуклонно, хоть и медленно приближалась к завершению и действительно, будто стальной прут, выравнивала его было просевшую жизнь. Очень нравились Иванычу выстроганные стены, нравилось то, что на ту, где полук, он не поленился отобрать осину, чтоб смола не лезла в волосы, и несказанно радовала янтарным перистым рисунком отшлифованная потолочная балка со снятой фаской и овальным глазком сучка. «Все-таки все от земли», — с одобрением думал Иваныч, заливая фундамент, куда маленький Колька закидал специально собранные водочные бутылки, — все от нее, и дерево, и бутылки эти, и железяки все, — сопел Иваныч, глядя, как одним единственно ровным образом устанавливается в квадрате опалубки зеленоватое зеркало раствора — «все от нее, и раствор этот, и кирпич, и глина, все оно так, все это понятно давно, непонятно только» — Иваныч, кряхтя, выволок в дверь пустую ванну от раствора — «непонятно дурость людская откуда берется. А главное, что этот «Матросов» как всегда под утро припрется, и выезжай к нему, бегай по трюму, как ужаленный, ищи этого Славку. И будет он нескоро, а икра пропадет, а послать надо литра три. Так, что хорошо, что Ленка едет. И рыбу увезет и икру. А главное, что это уже надежно.

В самом деле было удачно, что Ленка ехал на знакомой побежимовке¹ в Красноярск. Самоходка простояла целый день, он не спеша погрузил флягу и икру, и даже посидел в каюте с Ленкой и Ли-

¹ побежимовка — тип самоходки (от Побежимово, где их делали)

дой, его молодой женой, новым фельдшером, впервые за два года вырвавшейся в короткий отпуск. Правда пить по случаю их отъезда он не стал, на что Лида с профессиональным одобрением сказала «А вот это правильно», но сойдя на берег с удовлетворением вычеркнул из сидящего в голове списка еще одно дело и вернулся домой в хорошем настроении.

Так все дальше и шло. На следующий день он уже начал класть печку — своей особой конструкции, двухтопочную каменку, где камни лежат на тракторных траках над одной из топок и прямое пламя раскаляет их добела за полтора часа. Работал он уверенно, уже зная все причуды своего здоровья, по-пустому не нагружая сердце, но и особо не позволяя себе расслабляться, и вообще чувствовал себя как мотор, у которого было перехватило горячее, но который вот-вот уже профукается и поперет дальше. Через день он дошел до разделки и установил высоченную колонковую трубу, заранее привезенную с брошенной экспедицией подбазы.

На пол у него давно была приготовлена пятидесятка, с ним он управился быстро — приятная работа, и еще несколько дней ушло на дверь и косяки. Доски тоже были готовы уже давно и дверь, самая главная и ответственная часть любого дома, с которой он, правда, провозился два дня, получилась отменная: четыре желтые, как сливочное масло, зашпунтованные доски-пятидесятки, согнанные с едва видимыми зазорами, намертво стянутые двумя косыми прожилинами и схваченные с торцов врезными планками.

Меж тем дело шло к осени, намечались новые дела, и Иваныч, управившись с полками, лавками и проводкой, решил побереечь силы и предбанник отложить до весны, вкопав сейчас только столбы, чтоб не долбить потом мерзлоту.

Что печка удалась, он понял сразу, еще когда только попробовал топить.

Стояла сырость. В пятницу после дождя все было серым, только желтела лужа на дороге под угором, и серела волна на Енисее, а над ней туча с размытым ватным краем, и белела под тем берегом полоска зеркальной воды, а вверху, в пятнадцати верстах светился освещенный солнцем свежезеленый мыс. Но что-то происходило, и в субботу с утра уже стояла ясная почти осенняя погода с легкой, очень синей рябью едва раздувающегося северка. Иваныч съездил выбрал самолет, и до обеда провозился у залитого слизью разделочного стола, складывая в таз розовые в прожилках желтого жира пласты осетрины, в то время как из черного собачьего ведра огромная голова с догорающими глазами продолжала судорожно выдвигать пластмассовый, похожий на кусок трубки, рот.

Посолив и спустив рыбу в ледник, Иваныч перекусил, и часок отдохнув, встал и не спеша натаскал воды в баню. Потом, чувствуя почти детское волнение, как перед долгожданным событием, наколот самых сухих, почти каменных березовых дров, заложил под каменку и поджег тонко нащипанной лучиной. Печка разгорелась без единой струйки дыма наружу, слышались только треск занимающегося дерева и торопливое биение пламени за плотной чугунной дверцей. Иваныч вышел на улицу, и долго глядел на трубу, из которой проворно и неопрятно валил густой сизый дым. Когда он снова подошел к бане, труба гудела, как самолет, и крепчающий северок загибал над нею хвост расплавленного воздуха.

Камни уже были малиново-красными, закладка прогорела и он кочережкой утолкал часть углей в плиту и заложил теперь в обе топки. Дав прогореть, и поймав момент, когда угли еще сочно переливались пламенем, а камни были почти белыми, он закрыл вьюшку. Вода в баке уже вовсю кипела под крышкой. Он запарил в тазу пару веников и сходил домой за чистыми вещами и полотенцем.

Не спеша раздевшись, он вошел в баню. Там было жарко мягким со всех сторон охватывающим жаром. Он снял и положил на лавку сразу накалившийся крестик, погрелся на полке, мгновенно покрывшись мелким бисером пота, передохнул на улице, вернулся, надел шляпу и верхонки, и пождав, слегка поддал из ковшика. Камни свирепо выбросили струю пара и сразу мутно потускнела лампочка в самодельном плафоне-банке. Иваныч прикрыл каменку и забрался на полочку. Сразу сухо шибануло по носу, жигануло мочки ушей и тут же расплылось жарким блаженством по всему телу. Он посидел, кряхтя, отчаянно морща лицо, поддал еще пару раз, достал из таза мягкий распаренный веник, стряхнул его и провел по воздуху рядом с плечом, которое тут же обожгло горячей волной, потом начал не спеша хлестаться, сначала, сидя — с наслаждением отмечая как хлестко загибается вокруг плеча веник, потом лег на спину еще похлестал по груди и рукам, а потом задрал ноги и отходил бедра, икры, и с особой силой пятки, стараясь чтоб прошло через толстую кожу и

бессознательно повторяя дедовы слова: «Пятки — первое дело». Потом слез с полка, сунул веник в таз и вышел на улицу. Приятно сипело в горле и свистела кровь в висках, а по всему телу будто бегали, покусываясь, тысячи муравьев. Он сидел на свежестроганной лавке и глядел на Енисей, по которому уже вовсю переваливались медленные валы. Отгребавшийся от берега мужик на крашенном сизой краской «крыму»¹, торопливо уложив весла, завел мотор, включил реверс, и бросившись к штурвалу, прибавил газу и медленно поехал вдоль берега, тяжело разбрасывая белые пласти брызг.

Иваныч отдохнул и после раздумий, поддал еще раз с удовлетворением заметив, что настой пара несколько не ослаб, а даже еще и будто окреп какой-то обложной крепостью. Он еще похлестался, чувствуя какую-то необыкновенная легкость во всем теле и особенно в горле и в груди и еще немного выдержав себя на крепость, вышел на улицу, и снова долго глядел на Енисей, а потом вымылся, и уже в доме лег без рубахи на диван, раздумывая выпить ли стопку или нет. И решил, что нет, потому, что никогда не испытывал такой почти детской чистоты. «Не зря горбатился», — подмигнул он сам себе, а легкость все продолжалась, какая-то даже сухость в груди, и в голове тоже было сухо и мягко, словно память отмякла, и свободно неслись будто промытые воспоминания, и все как на подбор такие важные и знакомые — вот Рая завершивает зарод и последний пласт сена точно и аккуратно ложится в ямку на спине зарода, вот Серега протягивает китообразную печенюшку и нет на него ни зла, ни обиды, пусть живет, как знает... и еще много всего другого... И так хорошо и ровно дышалось Иванычу его освободившимся от копоты нутром, что как был он без рубахи, так и вздремнул на диване.

А в это время все раздувался север, и что-то происходило с погодой, какая-то большая осенняя перестановка, и тетка Афимья, старый гипертоник, уже четвертый раз просила племянницу измерить ей давление, а Иваныч уже не спал, а тяжело дыша, лежал на диване, сжимая в кулаке хрустящую таблеточную упаковку и поглядывая на свои в багровых рубцах плечи, чувствовал, что перестарался со вторым разом.

А потом настала ночь, а сжимающая и давящая боль за грудиной все нарастала, и все было понятно — и что Лиды нет и придется обойтись без укола, и что Тришкин есть Тришкин, и что надо съесть еще таблетку и дотерпеть до утра, или на худой конец дойти до Кольки, если совсем тоскливо будет, и он еще долго лежал, а потом встал и выйдя во двор, вдруг упал, как подкошенный, и мертвой струйкой крови, ушли в землю все обиды, раздражение, и ручейком расплавленного воздуха отлетела к небу душа Иваныча, никогда не бывавшая такой чистой, как сегодня, а за окном уже занималось утро и серебрились в синеватых листьях капусты слитки ночной росы, и Колька собираясь с сыновьями на покос, сталкивал лодку.

Им оставалось поставить два зарода в двух километрах ниже, и они заехали на Старое Зимовье, где косили до этого, за вилами. Николай со старшим Степкой и с Дедом оставались в лодке, а маленького Кольку послали к зароду. Горько пахло тальниками, пряно — отцветающими травами и сеном, и маленький Колька бежал по покосу, и волочилась соломина на отрывающейся подошве мокрого ботинка, и блестела роса на солнце, и брызгала в еще сонное лицо вода из скошенных дудок, будто говоря: может действительно все продолжается — пока текут реки, шумит тайга и гонит русская земля таинственную влагу жизни.

¹ «крым» — название лодки.

Проза

Александр Новосельцев



Александр Васильевич Новосельцев родился в 1958 году в Сталинграде. Член нескольких творческих Союзов: Союза Писателей России, Союза Писателей Сербии, Союза Архитекторов России, Советник Российской Академии архитектуры и строительных наук. Автор научных и научно-популярных книг и статей по истории и архитектуре Елецкого края, литературоведческих работ. По его проектам построены и отреставрированы храмы, жилые и общественные здания. Живет в Ельце и деревне Польское, рядом с Бунинскими Озерками. Пишет прозу, в которой преобладает тема родной земли, уходящей русской деревни и ее жителей. Первая же книга прозы А. Новосельцева «Пал» была отмечена высшей литературной наградой Союза Писателей России за 2006 г. — Большой литературной премией России. Его успехи в области литературы отмечены также Всероссийской премией «Имперская культура», Шукшинской и Бунинской премиями, Патриаршей Грамотой

Бахтинские записки

С Михаилом Тарковским я познакомился очень необычно, но, по-русски очень просто. Когда? Да... дай Бог памяти... запомнил, но полпуда дневниковых записей вполне могут восстановить все обстоятельства моего знакомства, и хронологически точно. Да, конечно, дневниковые записи, которые я с 2000 года веду почти ежедневно, помогли мне восстановить и хронологию, и детали нашего знакомства. Я тогда был в своем деревенском доме, в Польском, в деревне, что в 3 км от бунинских Озерок. 15 января мне позвонили из Союза Писателей, сказали, что в направлении Ельца завтра выдвигается Михаил Тарковский. На это я и ответил, что собираюсь ехать в Елец завтра, и часам к 14 быть в Ельце.

16-го января 2013 года. Мороз — 23. Утром попытался завести машину — не заводится. Даже не схватывает. Посадил аккумулятор. Думал уже идти к сторожу, Андрею, попросить, чтобы он постерег машину, а я пойду пешком в Озерки. Но вдруг — звонок:

— Здорово, Сань, это Михаил Тарковский.

Как здорово и как просто у нас в России, услышать голос человека, которого еще и не видел, но который уже тебе вроде как и родной.

— О! Здорово!

— Сань, мы тут подъезжаем к Становому. Когда будешь в Ельце?

Становое — это райцентр на трассе Дон, от которого есть сверток — на Озерки, от которого всего-то 25 км до моей деревни Польское. Какая удача — Михаил совсем рядом, но как до него добраться? Думаю пару секунд, в замешательстве от сложностей возможной встречи, реагирую:

— Не знаю. Машину не заведу.

У Михаила, спустя пару секунд готово решение проблемы:

— Я тогда сейчас пришлю водителя на джипе.

Вот так просто решался вопрос моего спасения. Рассказывать, как добираться от Станового до Польского я не стал — все же 25 км. путанной дороги, часть из которой — полное бездорожье. И я сказал, чтобы водитель джипа ориентировался на Озёрки. И — побежал в Озёрки, встречать. У Озёрок навстречу выскочила машина — вот оно, и мое спасение, и надежда на встречу с Михаилом

лом! Полями — до деревни. Оттаявшие в тепле машины с морозу щеки, ноги. Пять — семь минут, и мы у дома. Толкнули с моей горки, внизу машина завелась. Вечером в Елец подъехал Тарковский, он уже успел где-то в наших местах, в Краснинском районе, покататься на снегоходах. В машине, кроме него и водителя — несколько человек «походного вида». Михаил познакомил меня с Игорем Петровичем Егарминым, который издал его книгу и помог снять документальный фильм о Бахте, со своей женой Таней... Я провез всю их компанию по Ельцу. Они были в восторге. Обменялись книгами, обнялись. Уехали. Но осталось чувство, что он — свой. В нем чувствуется «Сибирь», ее основательность, которой во мне так мало. Расставались с желанием увидеться. Теперь уже в Сибири. Неужто сбудется?

Оказалось — вполне сбылось. И довольно скоро. Уже через полгода, в августе мне позвонил Игорь Петрович Егармин и спросил: как я смотрю на то, чтобы поехать с ним в середине сентября на месяц к Мише Тарковскому в Бахту? Я обрадовался и сказал, что непременно «разгребу» свои дела, чтобы освободить время для поездки на месяц. Петрович слово сдержал. И 15-го сентября, как и договаривались, утром мы стартовали из Ельца машиной.

15 сентября 2014. Елец — Москва — Красноярск

Проснулся в 2 ночи: висевший на мне долг по работе — описание объектов культурного наследия — не дал мне спать. Готов к 5 часам еще один объект. Все, с долгами разделался — и душа на месте. Ровно в 7 подъехал Игорь Петрович.

В 11 мы уже были не просто в Москве, а у ГЗ МГУ, куда я заехал к дочери Насте, студентке МГУ, чтобы завезти ей кое-какие домашние гостинцы. Оттуда — к родителям Миши Тарковского, на Юго-Запад. Какие же они оказались славные, гостеприимные, и их отношение друг к другу кажется состоянием счастья... Просидели у них за чаем часа полтора, обменялись книжками. Едем в аэропорт.

В самолете было отчего-то тревожно-тяжко: похоже, сказывалась моя сильная простуда, которую я подхватил неделю назад на теплоходе, когда плыли холодным морем на Соловки. Не настолько тогда казалось и холодным море, что я не удержался, и искупался в нем. Теперь казалось, что не хватает воздуха, и даже толком поспать не удалось, несмотря на то, что в прошлую ночь не выспался. За окошком самолета, по левую руку все время висел ковшик Большой Медведицы. Лету 4,5 часа, и за час до окончания полета небо слева впереди побледнело, и еще до восхода солнца приземлились в Красноярске.

16 сентября 2014. Красноярск-Подкаменная Тунгуска (Бор)

В Красноярск прибыли рано, не было и 7 часов утра. Вылет до Подкаменной Тунгуски в 15 часов. Договорились с таксистом — он повозил нас до 13 часов. Поехали до Астафьевской Овсянки, до ГЭС. Красноярск не похож ни на один из виденных мною городов, и причиной этому, конечно же — Енисей (Анисей — батюшка, как с любовью называют его здесь), с его крутыми скалистыми берегами. Еще при подъезде к городу от аэропорта стало ясно, что название город получил от глинистых обрывов сопки — они красные.

Игорь все время поездки, пользуясь тем, что есть связь, беспокойно обсуждал что-то по мобильнику: что-то не склеивается у Миши и всех тех, кто связан с нашей встречей. Миша, как я понял, на своем катере на воздушной подушке должен был доставить гостившую с ним в тайге группу туристов до Подкаменной Тунгуски (поселок Бор) к тому же самолету, на котором мы летели туда, и который возвращается обратно в Красноярск. По озабоченным обрывкам разговора Игоря с неизвестными мне людьми выходило, что катер в дороге сломался, и вместо Миши на катере нас будут встречать лодки, везущие туристов. Но Миша отремонтировался своими силами и перед Бором догнал лодки и все же довез туристов.

Встретил нас Миша усталый, какой-то серый; спал всего два часа, да и забот и переживаний за два дня навалилось на него на год вперед.

Облака сверху, в иллюминатор, выглядят абсолютно как снежно-ледяная каша на реке и даже казалось, что опусти я ноги и пройдишь по ним — и останутся следы. А редкие прозоры в облаках казались темно-зеленой водой.

С Мишей встречал нас Виктор Степаныч, или просто Степаныч. Живет в Боре (поселок Бор, в котором находится аэропорт, названный по впадающей с противоположного берега реке Подкаменной Тунгуске). Степаныч — редкий тип человека, сочетающего в себе, кажется, несочетаемое: глубоко запрятанную душевность, непрерывное балагурство, чувство собственного достоинства, доходящего почти до высокомерия и — обидчивость. Сказанное кем-то какое-нибудь невпопад слово может показаться ему обидным, унижающим его достоинство немедленно, словно на дрожжах, выпирает за пределы его формы, и он готов далеко и надежно послать даже давно знакомого ему человека. Сидели в будке Мишиного катера, и, при отсутствии стаканов, нарезав донца от бутылок-полторашек, отмечали прибытие. И вот тут-то уши Степаныча что-то уловили в словах Петровича и — понеслось: «расставание навеки» и выяснение отношений. Удивительно, что сам Степаныч такие же слова, что кажутся по отношению к нему обидными, сыплет беспрестанно, и окажись его собеседник таким же обидчивым, так и послал бы его в том же направлении.... Но то — другие, а Степаныч, он... В общем — Степаныч он Степаныч и есть. Я не стал дослушивать ход перебранки, и пошел окунуться в Енисей. Вид голого купальщика в стылых сумерках отвлек спорщиков, и спор был окончательно забыт, когда я вернулся в каюту под стук импровизированных стаканов, вырезанных из донцов пластиковых бутылок. Отчаянные попытки Миши «уехать по светлому» были бесполезны: Степаныч сводил все к тому, что нам непременно надо ночевать у него в Бору.

— Да чего нам ночевать! Два часа — и мы в Бахте, — все настаивал Михаил. — Нам только тянуть не надо. Поехали, а?..

Но как ехать, если Степаныч упорно сидит в каюте, а ехать в Бахту ему ни к чему.

— Вы там, в своей Бахте... — укорял Степаныч Мишу и показывал на него пальцем, глядя на нас с Петровичем. — Вот, все они, бахтинцы, такие...

17 сентября. Бор- Бахта.

От Степаныча все же избавились: экипаж «бахтинцев» проголосовал — ехать, поддержав Мишино:

— Да тут ехать-то: сто пятьдесят километров, — и оставшийся в меньшинстве Степаныч нехотя сошел на берег.

Последнего его слова расставания я не услышал, лег на лавку и мгновенно заснул, отметив в какой-то момент, что все вокруг гудит и трясется, сначала негромко и мелко, затем все больше раскачиваясь. А потом вдруг все стихло. Темень стояла кромешная, волны все выше, ветер все сильнее, и Миша понял, что засыпает: сказала усталость от двух почти бессонных, канительных суток. Мы причалили к невидимому берегу на пару часов Мишиного отдыха. А Бахта показалась на рассвете.

Она была точно такой, какой я ее и представлял — и по карте, и по Мишиным фильмам. Перед Бахтой Енисей изгибается, и из окна Мишиного дома, у которого стоит обеденный стол, на два с лишним десятка километров видна даль Енисея, и его изгиб вниз по течению. Справа его загораживает противоположный высокий берег Бахты, щетинящийся верхушками елей в пестрых заплатках золотых березовых лоскутов. Мишин дом стоит самым крайним к месту впадения Бахты в Енисей, но мыса в этом месте нет; этот, левый берег Бахты низменный, и заливается Енисеем. От дома до устья Бахты без малого километр. Мишин дом, если идти по Енисею сверху, словно в створе, и на берег пред домом в ледоход напирает мощь его ледяного панциря. Вместе со льдом откуда-то сверху несет камни — от небольшой гальки до огромных многотонных валунов, образуя каменные горы-навалы. Каждую весну Енисей разрывает берег, и на свет Божий, спустя десятки тысяч лет, выходят кости мамонтов.

— Здесь мамонтиное кладбище, — говорит Миша и показывает огромную кость, лежащую возле дома.

К вечеру постепенно стали подтягиваться бахтинцы, и разговоры с песнями продолжались до 5 утра.

19 октября 2014, 17:23

Привет! Ну, вот я и на большой земле. Приехал три дня назад. Выезжал из сибирской зимы, а приехал почти в лето. Добирались почти двое суток: лодка, катер на воздушной подушке, вертолет, два самолета, машина. Впечатлений куча от диких таежных мест, где до ближайшего жилья 200 км. Надеюсь хоть немного «акклиматизироваться» от пустынной жизни, безлюдья и разницы во времени, уехал в деревню с желанием спокойно поделиться с тобой пережитым за месяц, но забыл все зарядки. Знаешь, совершенно не было обычного для такой ситуации беспокойства и бесконечного заглядывания на экранчик телефона. Я им даже почти разучился пользоваться. Сегодня вернулся из деревни в Елец — завтра начнется сумасшедшая жизнь и поездка в Липецк. Далее везде, и по работе, и в театре, где подряд на следующей неделе будет шесть спектаклей. Пока ограничусь просто объявлением. Получу твой ответ — как ты, что ты — и напишу подробнее. Фоток наснято, наверное — с тыщу.

21 октября 2014, 8:21

Привет. Чтобы тебя сориентировать — чуть географии. Все это — Красноярский край, Туруханский район. Из Красноярска — два часа самолетом на север по Енисею до Подкаменной Тунгуски; там, как ты помнишь, упал 100 лет назад метеорит. Оттуда Миша Тарковский на катере на воздушной подушке — его называют по имени северного ветра «хивус»(или хиус) — всю ночь вез нас вниз по течению Енисея (стало быть, опять на север) до села Бахта. Там его дом, прямо на самом обрыве над Енисеем. Живет в селе 200 человек... Селу 406 лет. Дороги туда нет вообще, абсолютно нет. Только по Енисею или по воздуху (вертолет из Туруханска до Подкаменной — раз в неделю). Связи мобильной там нет, последняя — в Подкаменной Тунгуске, из которой я раз пять безуспешно пытался отправить тебе восторженное сообщение о первых впечатлениях о Енисее. Оно у меня так и висит в неотправленных. Впрочем, в переданной тебе Мишиной книге «Избранное» вполне детально все описано — и быт, и география, и все население, о которых нужно говорить отдельно и с огромным уважением. На первой партии высылаемых фото — первые дни в Бахте: дом Тарковского, берег Енисея, прямо под его домом, в котором ежегодно вымываются кости мамонтов. Вообще, как ни странно, село Бахта стоит на кладбище. Мамонтином. У Михаила у собачьей будки так и валяются мамонтиные кости. Кажется, пес-лайка Челак все еще гложет их. Здесь уже линзы вечной мерзлоты, и наименее состоятельные бахтинцы вместо холодильников используют вырытые во дворе ямки, в которых хранят продукты. Здесь, в Бахте — три магазина: один безымянный, а два других бахтинцы просто называют — «У Зины» и «у Лиды». Впрочем, Лида торгует прямо в сенях, в которых вход в жилье, но которые выглядят вполне как и магазин. Цены, сама понимаешь — те еще, ведь они прибывают сюда на торговой барже (плавмагазин) или на вертолете, но наличие ассортимента я определил сразу по стоящим прямо при входе ящикам с бананами (правда, тут они почти черные) и апельсинам. Почти все покупатели заходят в магазины без денег, берут товар, и говорят: «Зин, запиши». И Зина записывает в пухлую общую тетрадку имя покупателя, товар и задолженную сумму. О деньгах, наверное, тоже нужно сказать отдельно: их тут получают лишь учителя, медработник, воспитатели в детсаду, клубный работник, глава администрации и, кажется, моторист, который обслуживает движок, что обеспечивает всю Бахту электричеством. Остальные добываются охотой и рыбалкой, и рыбу, икру и дичь потом сбывают на плавмагазине, который изредка стоит на рейде у села, метрах в трехстах, и туда немедленно подтягиваются многочисленные лодки с добычей. Рыбы, мяса, дичи здесь полно — места дикие. Есть еще один вид бизнеса, освоенный исключительно пацанами: они по весне собирают вымытые кости мамонтов и продают их как сувениры проезжающим на теплоходах туристам. Итак, основная жизнь здесь — охотничья. Проще — здесь добывают соболя. Официально, каждый на своем участке, которые имеют размеры, ну, например, 120х30 км. или больше. Вся тайга поделена на эти участки. У кого-то ближе, у кого-то дальше. У Миши, например, за 150 км. от Бахты, по реке Тынеп, притоку реки Бахта. Добыча соболя идет полгода — только зимой (к этому времени мех «созревает», становится густым и с подшерстком, который дает переливающийся эффект). И готовиться к сезону начинают как раз в это время, когда я приехал в Бахту. Идет завоз всего того, что требуется охотнику на его участке,

чтобы прожить там всю зиму. Это не только бесчисленное количество бензина и бочек с ним, не только сотня буханок хлеба, вездеход, бензопилы, консервы и проч., но и добыча мяса и рыбы, которые прямо здесь же, по избушкам, развешиваются и раскладываются в металлические бочки, подвешенные на деревьях, чтобы не сожрал медведь или росомаха. Бьется глухарь (их набил в наш приезд около 40 штук мой напарник, с которым я приехал в Бахту — Игорь, он же — Петрович, бизнесмен и просто интересный человек), а я «специализировался» по рыбе. Этими трофеями питается всю зиму не только охотник, но и собаки-лайки, без которых охотничье дело просто немыслимо. Щук, огромных, жирных, наловленных нами, охотники вообще не едят — скармливают собакам. Для еды есть гораздо более вкусная рыба: таймень, ленок, сиг, чир, налим, харцус (здесь по-сибирски его называют «хайрюз»). И вот все это огромное к-во всяких «хохоряшек» (так по-сибирски называют вообще всякое барахло, вещи и прочие хохоряшки) нужно добыть, доставить и разместить по избушкам, которых у каждого охотника около десятка по всему участку. В это время реки уже начинают затягиваться льдом, устанавливаются устойчивые ледяные забереги, но здешний бывалый народ к этому относится спокойно: все огромное количество хохоряшек, включая даже снегоходы и бочки с бензином завозятся большими, длиной не менее десяти метров, деревянными лодками, которые изготавливают живущие где-то в глуши староверы. Они же, староверы, занимаются «бензиновым бизнесом»: наладив однажды контакты с капитанами судов, они сливают у них топливо, а потом ездят и продают его. Бензина требуется на зиму охотнику немыслимое количество: у него им «питаются» снегоход, лодка, движок для света, бензопила и прочее механическое прожорливое хозяйство.

Итак, спустя три дня подготовки и сбора вещей для отправки в тайгу, мы дождались Мишину жену Татьяну, она прибыла из Красноярска ночью на одном из последних теплоходов, следующих вниз по Енисею, к Норильску. Миша лет шесть назад овдовел — умерла его первая жена, и он в одну из поездок по Алтаю встретился с Татьяной, и добился своего: ее, редактора успешного издания из Барнаула, совершенно городского человека, мать двоих детей, увез в Бахту. Теперь она возвращалась из поездки в Барнаул, и мы ждали ее, чтобы вместе ехать в тайгу. На первых моих фото ты и увидишь первые наши дни, приезд за 80 км. в одну из ближних избушек по реке Бахта. Ну... пока займусь другими, бесконечно накопившимися делами, а ты — смотри и читай. К сожалению, большую часть фото выслать не смогу — они в какой-то программе, что никак не сжимает размер, пригодный к пересылке. Они как раз самые качественные. Буду брать количеством. Пока. Ты тоже не отставай в своих сообщениях в количестве «буков». Ладно?

18 сентября.

Почти все лица местного народа, встречаемого на улице или приходящего к Мише, знакомы по его фильмам, а их судьбы и истории — по Мишиным книгам. Миша задумал перетащить штабель доски-дюймовки на чердак своего дома, чтобы настелить там пол. Подтащили со двора к дому, Миша и Петрович забрались на чердак через узкий лаз в карнизе в дворовой части, я подавал доски снизу. На половине этой работы за забором из прозрачной сетки-рабицы замелькала маленькая шаткая фигура. Одеты здесь все приблизительно одинаково: х/б воинской раскраски — штаны, куртки с капюшоном, и распознать в чужом человеке с наброшенным капюшоном, если он находится на хозяйском подворье, самого хозяина — дело обычное.

— Миша! — закричал маленький человечек, одетый в то же охотничье одеяние, только засаленное до состояния пола в авторемонтной яме.

Я оборачиваюсь, и гость издалека начинает сомневаться — а хозяйская ли борода торчит из-под моего капюшона.

— А Миша где? — спрашивает неуверенно.

Я показываю на чердак, но, видно, гостю показалось, что — на дом, и его фигурка исчезает за домом и через минуту слышен его голос из сеней:

— Миша!

— А! — громко отзывается Миша с чердака, но гостю кажется, будто из дома.

— Миха! Ты где?

— Да тут я, Коля, на чердаке!

Гость, бурча, появляется из-за дома: маленькая фигурка, плоское, обветренное до красноты, лицо.

— Миха! — на ходу зовет гость.

— Коля, я тут, на чердаке.

То, что говорит Коля, понять можно только на полтора-два процента: разговаривает он почти одними гласными. Понять первый его вопрос можно было примерно так:

— Миха! Иди сюда! Миха! Дай двести пятьдесят рублей!

Мишина голова высовывается из чердачного лаза.

— Коль!.. Денег-то у меня нет, — осторожно говорит он. Но решение он находит сразу: он высовывает в лаз руку и раздвигает большой палец и мизинец, образующих знакомый зазор: — Давай, я тебе стакан налью. Только с собой я тебе ничего не дам.

Коля кивает и утвердительно произносит свои гласные. Голова Миши исчезает и сразу показываются его ноги, нащупывающие ступени шаткой латанной лестницы. Внизу он здоровается с Колей и представляет нас друг другу:

— Вот, Василич, познакомься, это Коля, Николай Петрович. По простому — Коля Страдивари, — лицо Коли становится еще шире от улыбки с мелкими, полусъеденными зубами. — Просто Коля — единственный на всю округу человек, кто может делать нарточки. Он их всем поделал. Они — как скрипочки!

Коля надежно садится на стопку досок, крепко и надолго, и начинает что-то путано и непонятно лопотать, словно во рту у него пара ложек каши. Волосы у Коли прямые и серые, как у всех остяков. Направление его мыслей в разговоре меняется каждые несколько секунд.

— У тебя чо болит?

Я чуть теряюсь, соображая: задает ли он вопрос или уже ставит готовый диагноз, успев сделать это за две минуты нашего знакомства.

— Да кашляю вот. Легкие, наверное, застудил, — говорю, ожидая его реакции.

Она следует немедленно.

— Расстегнись.

— Чего?

— Расстегнись, — показывает Коля на ворот моей куртки. Я расстегиваю ворот, опускаю молнию — почти до конца, и Коля немедленно приближает прокопченный кулак к моей груди и дважды тычет в нее.

— Все, — говорит Коля. — Завтра все перестанет болеть.

Я не успеваю сообразить: что это было, как он начинает бормотать о том, сколько какого народу он успел вылечить здесь, в Бахте — больше, чем все врачи. И даже «эти вылечены... олигархи», неизвестно как появившиеся здесь, в Бахте из Америки, Германии и еще Бог знает откуда, и они сразу предложили Коле ехать с ним в Америку и за это давали ему — сразу! — «два миллиона, — нет, два миллиарда».

— Не-е... — трясет головой Коля. — Я никуда не уеду. Зачем мне Америка? — И вдруг тема его разговора контрастно меняется. — А вот могу тебя с одного удара убить. Сразу! Я же был этот... боксер который. Нет, это, я каратист. У меня один удар — и все. Сразу!

И я уже подумал, что сейчас Коля начнет показывать на мне, как он может с одного удара убить. Но появился Миша с пластиковой бутылкой, налитой на четверть, с рюмкой и пластиковой крышечкой от какой-то одноразовой посуды, с мелкой вяленой рябой, кусочками щуки и кружком колбасы.

Коля налил в рюмку, едва попав в нее из бутылки, предложил мне и Мише, но мы категорически отказались:

— Коля, нам еще работать. Мы не будем.

Ужасно морщась, Коля выпил, со второй попытки, двумя пальцами взял кружок колбасы и долго гонял его во рту, загороженным мелкими коричневыми зубами, при этом рассказывая что-то и улыбаясь.

Коля еще пару раз предлагал присоединиться к нему, показывая на стопку, но Миша давно залез на чердак, откуда слышался веселый стук молотка, прибывающего доски. А я тоже не менял своих показаний:

— Нет, Коля, мне еще работать.

Минут десять спустя Коля дожеввал кружок колбасы и, потеряв надежду на поддержку, сказал что-то вроде:

— А! Как хотите, — и стал собирать закуску, пытаясь положить ее в карман куртки. Но на том месте, где был карман, была огромная, бесформенная, как туча, дыра, начинавшаяся подмышкой и заканчивающаяся у края куртки.

— Коля! Ты не клади в карман, — посоветовал я ему. — Все же вывалится.

Коля изучил взглядом свой карман и согласился, покрутил кулак с торчащими из него головками и хвостами тугуна. Если бы не енисейское происхождение этой рыбки, то она носила бы более свойственное ей название килька. И стал запихивать кулак с тугуном в карман штанов. В другой карман штанов сунул бутылку, поглядел на стопку и, подумав, сказал:

— Стопку тоже возьму, — и пошел, не прощаясь.

До ворот он пару раз упал, разглядывая место падения и удивляясь вслух:

— Стока ям тут понарыли! — и еще минуты три была видна его мотающаяся по проулку спина.

Мы «добили» штабель досок, перетаскав их на чердак, и лишь к 6 часам вечера Миша вспомнил, что мы еще не ели. Мы сварили странное «первое»: грибы с вермишелью, Миша настрогал нельмы и ленка (это ласковое уменьшительное имя краснобокой рыбины диной под метр так не шло ей). Насыпал тугуна. Этим и поужинали, а заодно и пообедали, и позавтракали.

Не доев, выбежали с Петровичем на улицу, держа наготове фотоаппараты: в окно виднелась сказочная эпическая картина заката над Енисеем. А на пеньке у калитки лежал замурзанный, затасканный пиджак Коли Страдивари. Зачем он оставил его? Может, чтобы был повод потом снова зайти...

На вечер, в ночь намечалась поездка «на снасти», на которую нас должен был взять Артур, один из Мишиных бахтинских знакомых. Потому легли совсем рано, чтобы «часочек выспаться». А в 2 часа ночи теплоходом «Валерий Чкалов», шедшим по рейсу Красноярск — Дудинка должна прибыть Таня, Мишина жена. Все, как нельзя лучше, укладывалось в этот график: мы на ночь «на снастях», а Миша встречает молодую жену. Но вот уже и полночь, а Артура все нет. Дошли слухи: «Артур забухал». После часа ночи сверху по Енисею показались веселые приближающиеся огоньки, будто в гости в Бахту ехала какая-то деревня, с десятком скученных дворов.

Миша встретил Таню, сняв ее на лодке с теплохода, стоявшего на рейде в 150 метрах от бахтинского берега. Таня привезла прогноз на дождь — ливень, шквалистый ветер и сброс воды с Красноярской ГЭС. Все это говорило знающим характер Енисея о том, что вода в нем может резко подняться. Обеспокоенные этим прогнозом, мы срочно снялись, поехали на «квадрике» — квадроцикле на берег, чтобы загнать катер повыше, на берег. Миша, разогнавшись по воде, залетел на песок. Зачалили якорем и заодно пошли вытаскивать две Мишины лодки, что стояли у устья Бахты. Лодки — изделия исключительно староверцев, сооружения в 10 и больше метров, из досок. Зацепили их, затащили выше. К 2-30 неожиданно быстро управились. Сидели в доме, пели до утра.

26 октября 2014, 14:20

16 файлов

Привет! Как оказалось, интересных, качественных фото не так и много, и я все более-менее качественные тебе уже выслал. Лишь по ним ты можешь составить представление, насколько интересна природа тех краев, в которых я побывал. Остались много повторяемых фото, или из числа тех, на которых «я на фоне» или «я с очередной пойманной рыбой», и это не представляет для тебя никакого интереса. Ну, а для иллюстрации моего прибытия в Красноярск, шлю эти примитивные фото. Не суди по ним о самом Красноярске. В нем мы с моим напарником Петровичем провели несколько часов, проехав от аэропорта 20 км до него и через него добравшись до Красноярской ГЭС (это около 40 км от Красноярска). От степного рельефа в районе аэропорта ближе к городу начинаются сопки, и они на срезе выглядят как красные глинистые обрывы-яры, от чего и сам город получил такое название. Неподалеку от Красноярска, по сути — в пригороде — деревня Овсянка, в которой родился и жил писатель-классик советской литературы Виктор Астафьев. Дорога до нее живописна, идет вдоль правого берега Енисея и слева по движению,

в разрывах круто поднимающегося леса видны скалы — знаменитые Енисейские столбы; серые вертикальные скалы причудливых очертаний в красно-желтом обрамлении осеннего леса. У Овсянки, на круче енисейского берега, стоит памятник: Царь-рыба, как напоминание о том, какая рыба ловилась в Енисее и о повести Астафьева с тем же названием. Вокруг памятника смотровая площадка, от которой виден Енисей во всем своем величии. Красноярская ГЭС, несмотря на свои грандиозные размеры, не дает такого впечатления грандиозности, поскольку из-за «режима» к ней нет близкого подхода, и издалека размеры ее вовсе не впечатляют. Пришлось снимать из-за сетки. Красноярск не оставил большого впечатления из-за отсутствия оригинальной архитектуры, но его точно не спутаешь ни с каким другим городом из-за рельефа. Он весь почти в долине Енисея и обрамлен серыми, словно глухаринные крылья, скалами и красными глинистыми ярами. На левом берегу Енисея, над городом поднимается одна из сопок, и на ее вершине стоит часовня, вид которой известен всякому, кто держал когда-нибудь в руках 10-рублевую купюру и видел на ней изображение этой часовни. Отсюда, с этой сопки и виден почти весь Красноярск, отсюда каждый полдень отсчитывает он время выстрелом из пушки, так же, как и в Питере. Повторюсь: в Красноярске я не увидел оригинальной архитектуры, а старины в нем увидел мало. Наскоро пробежавшись по достопримечательностям Красноярска, мы едва успели в аэропорт. Самолет летел в поселок Бор, в котором находится аэропорт «Подкаменная Тунгуска», так как напротив него в Енисей впадает река с таким названием. Она известна как литературный образ Угрюм-реки, и еще тем всемирно известна, что в ее бассейне, примерно в 300 км восточнее поселка, сто лет назад упал Тунгусский метеорит. На площадке прилета с громким названием «аэропорт» нас встречал Михаил (вот он, на фото, следует к нам). Он перед этим, поднимаясь вверх по Енисею из Бахты (150 км) на катере на воздушной полушке (он же «хивус», по названию сибирского ветра) вез группу туристов на обратный рейс нашего самолета и по дороге сломался. Не спал перед нашей встречей почти двое суток и был очень усталый. Долго колбасились по этому самому поселку Бор, поскольку у Михаила после долгой дороги оставалось мало бензина и мы мотались по этому Бору, где встречные мужики с охотой наливали не только топливо, но и, узнавая Мишу и его гостей, радушно приглашали «зайти хоть на минутку». Заправились, несмотря на отговорки, лишь к ночи и шли на катере полночи в темноте, а полночи — черной, холодной, ночевали в катере. Перед отплытием не удержался — искупался в Енисее, с надеждой «выбить клин клином», поскольку за сутки до этого у меня была температура и прихвативший поясницу радикулит не давал даже завязать шнурки... Ничего, помогло. Рано утром, по пути завеза какие-то вещи каким-то людям в каких-то селах по Енисею, мы добрались до Бахты. Далее можешь по хронологии читать мои первые сообщения, а последующие свои впечатления я изложу в следующих посланиях. Не суди за «дохлые» фотки — чем богаты...

19 сентября.

С ночи, совершенно тихой и на удивление теплой, к утру погода изменилась: задул какой-то восточный ветер, потом пошел с северо-востока, против течения Енисея, и в окно казалось, что Енисей остановил свой бег. Погода за сутки меняется три-четыре раза и с ней меняется и Енисей, и небо над ним. Оно невероятно красиво: от изумрудной зелени до стальной тяжести, и оттого так изменчив и цвет енисейской воды. В ночь намечается еще рыбалка с кем-то из рыбаков, на тугуна. А Артур, с которым мы должны были идти вчера проверять снасти на стерлядь, опять забухал.

Утро было не ранним, после позднего вчерашнего отбоя проснулись около 12 часов — у нас дома еще 8 утра. И тут же, через минуту, в дом зашла знакомая Миши — Галина. Первый же взгляд на нее отмечает, что Галина — учительница. Удивительно само это узнавание, не требующее никакого опыта или простого знания: вот ведь похож человек на учителя, а не на бухгалтера или парикмахера — и все! Оказалось, и правда, Галина — учительница, и она, узнав от Миши о моем приезде, пришла договариваться о моем вечере-встрече со школьниками. Под это мероприятие уже затеяны пироги, будет чай, и все это намечается на послезавтра. Но горло мое совершенно неспособно воспроизводить необходимые для песен звуки. Решили перенести недели на две, после нашего возвращения из тайги, пока восстановится голос. Все последние четверо суток нахожусь в обычной при

перемещении и встрече со старыми знакомыми, прострации, в которой непонятно что на что влияет: это все отголоски болезни на смену времени и непереносимое при этом невысыпание. Похожее было на Алтае у Васи Вялкова или в Черном, или в Индии. Где-то на 4-5 день все обычно «устаканивается». Вероятно, это и сейчас так. Если бы не недавняя болезнь.

У Миши (как и у Васи Вялкова) целый парк разбросанной повсюду техники: машины, катер, моторы, квадроциклы, подвесные лодочные моторы... При таком количестве техники, при таком ее наборе, в городе неизбежно содержали бы целый штат: механики, слесаря, снабженцы. Но поскольку Бахта вдали от «большой земли», то делают и налаживают все это движущееся хозяйство Мишины руки. Ладони его грубые, сковородистые, с заусеницами. Даже Татьяна, когда Миша задел ее рукой, спросила удивленно: «Что это у тебя за занозы?» И лучшего для мужика, как мне кажется, комплиментарного, с оттенком удивления, вопроса и быть не может. Руки мужские в делах, знают настоящий труд. Когда-то, в стройотряде, да и на стройке дома, мои руки были такими же и провести ими по лицу означало бы поранить его до царапин, как и крупной грубой наждачной шкуркой. Такими ладонями в пору шлифовать черенки для лопат.

Так вот, о Мишиной технике. Ее количество таково, что редко случается день, когда что-нибудь из многочисленного его парка не сломается. Женский взгляд на это, Танин, звучит, на первый взгляд, совершенно в виде справедливого упрека:

— Миша! Ну что же у тебя каждый день что-то ломается!

А мужикам понятно: есть же какая-то критическая масса, после которой необратимо явится та или иная поломка, там или сям, на нашем отечественном старом ГАЗ -66 или «позорном американце», как сказал Миша о квадроцикле «Arktik-cat» (по русски «Морской котик»). И вот оба эти технические средства «полетели» именно сегодня, когда на них ложилась основная роль по доставке всего, что обеспечит нашу предстоящую экспедицию в тайгу. Какую — я пока в неведении и полагаюсь всем своим болезненно-изнеженно-ленивым существом на Мишин опыт и оптимизм Петровича. Вот и сейчас они ушли что-то подтаскивать, что-то налаживать и собирать свои очередные и весьма многочисленные «хохоряшки», а мне поручено следить за топкой бани. Вот уже и 21 час, забежавший в дом Петрович сказал, что убегает с Серегой на тугуна, а меня они не берут — жалеют мое горло. Миши все нет, он или где-то что-то ремонтирует из своей техники, то ли ищет у знакомых редкую запчасть. Таня бесконечно, безостановочно, вот уже 8 часов подряд сует по дому, пытаюсь навести порядок. А я то пишу сюда, в дневник, то пробегаю глазами журнал «Енисей», главным редактором которого — Миша, но все время, каждые четверть часа, выбегаю, чтобы подколоть дров и подбросить их в баню. Печек в бане две: та, где каменка, и печка-плита, со стоящей на ней вываркой. В бане, несмотря на то, что Миша затопил ее в 17 часов и чугунная плита раскалилась до малинового цвета, отчего вода в стоящей на ней 50-литровой выварке клопочет и норовит к концу топки до дна выкипеть — несмотря на это в бане все еще прохладно. Часов 5-6 по Енисею кипят белыми барашками волны под натиском упругого верхового ветра, и этот ветер уверенно, по хозяйски давит на Мишину усадьбу, открыто стоящую на самом берегу. Ветер гудит в крыше дома и баня, крепко, по-сибирски стоящая на валунах, еле выдерживает этот натиск. Два черпака, лежащие на полке, погромыхивают от тряски всей бани на этом ветру.

Теперь только ждем результата Мишиных трудов по приведению в порядок техники, от которой зависит наша поездка в тайгу. Да, с таким распорядком жизни не зажиреть, как мне: Елец и Польское с относительно налаженным бытом лишь прибавляет жирку моим, и без того раздавшимся, бокам, да вводят лень, постепенно превращающуюся во вселенскую. За окном едва видно в грустных сумерках темно-серое полотно Енисея и узкая полоска дальнего берега за ним. И лишь ветер, ветер, ветер, низко гудящий на крыше и за окном.

Едва видны голубые и красные точки бакенов, обозначающих речной фарватер. Густые синие сумерки висят над Енисеем, над Бахтой. Енисей здесь совсем казался бы Волгой, если бы не ели да березы по той стороне. Он такой же ширины, что и Волга, и так же уверен и ровен его бег, от этого состояние уюта, почти домашнего даже в этих далеких от родных волжских берегов местах. Если бы не пути, способные доставить тебя туда, куда тебе надо. Ведь добраться сюда несоизмеримо сложнее, чем, скажем, на родной волжский хутор Глухой: только паромом или вертолетом. Но через пару недель завершится на Енисее навигация, а зимник по нему установится ли, и когда — на все воля Божья, да его, Анисея-батюшки непредсказуемого характера.

Задыхаюсь, холодею от пота — остатки болезни. Но надеюсь, что здесь, в эту поездку выбьется из меня лень-дурь, появится стимул к улучшению жизни и не такой уж и сложной и невыполнимой покажется предстоящая работа.

26 сентября. Р. Бахта, зимовьё Ворота.

21-го, на Рождество Богородицы, вышли из поселка Бахта по одноименной речке на «хиусе», катере на воздушной подушке вверх 90 км. Холодно, ветрено. Погода на Енисее меняется с той же последовательностью, с которой за сутки ночь сменяется утром, утро — днем, день — вечером, вечер — ночью. На правом берегу зимовьё «Холодный» — база с обширной избушкой, очень просторной и совсем новой, при ней баня и «маленький домик». Все стоит на месте пожарища — зимой прежняя база сгорела вместе с новым «Бураном». Вокруг торчат обгорелые пеньки. И дом, и баня стоят при впадении в Бахту, с левого ее берега, шумного ручья, его грохот слышен и день и ночь.

Ночевали на Холодном две ночи, пошли выше по Бахте, где в нее справа впадает Бахтинка, и по Бахтинке еще поднялись километров на 25, пока по ней мог пройти хиус. Река очень уютная, берега невысокие, и течет она как в корыте; сразу по урезу воды берег вертикально уходит вниз на полтора метра. Вода прозрачная, красноватая. Маленькая избушка зимовья, маленькая банька. Все совершенно однотипно не только по набору построек и взаимному их расположению, но и по рельефу: прямо избушка, слева ручей, чуть выше по нему, метрах в двадцати — банька. У дома, перед дверью — входная сень на столбах, часть «стенок» под ней сложена из чурок: они и места не занимают, и сохнут, и защищают от ветра и снега. Домик обычно 3x4. В центре торцевой стены низкая дверь, справа у входа железная печка, слева и справа вдоль длинных стен — лежаки, так что в стандартной избушке обычно, без тесноты, могут заночевать три человека. Так как нас четверо, то Миша с Таней спят в избушке, а мы с Петровичем или в бане или в катере. По стенам, над лежаками и оконцем — полки с массой хохоряшек и пакетов с продуктами. Под ними набито несчетное количество гвоздей, так что на них и висят хохоряшки — многочисленные мелкие предметы. На противоположной от входа стене — маленькое окошко, заставленное обычным куском стекла или мутным целлофаном, под ним стол.

Вот и сейчас, уже третья избушка в тайге на Бахте, у «Ворот» — удивительно красивого места, где река прорывается между двух скал 30-метровой высоты, особенно крутая — по правому берегу. Река Бахта наносила по своим берегам несметное количество камней, вплоть до невероятных размеров 4x5 метров и трудно представить, что все это делают вода и лед. Вода творит и иные чудеса, осознать которые трудно. Иногда небольшой камень попадает в какую-то расщелину или скол в громадном камне и его так начинает крутить, что он просверливает в нем глубокие, до метра глубиной, совершенно идеально круглые, будто бы гигантским сверлом просверленные, отверстия. Найди я такой просверленный камень где-нибудь, где в древние времена текла такая река, и я бы с полной уверенностью убеждал бы и других, что это дело рук человека, при этом совершенно не мог бы объяснить, каким образом человек мог сделать это.

За все эти дни Петрович добыл шесть глухарей, и рыбы наловлено столько, что не успеваем поедать, но такая рыбалка здесь не считается удачной. Как сказал кто-то из местных, бахтинцев: «Все. По хариусу я закрылся». Вот так и я с первой же рыбалки наловил вдоволь хариуса, и даже отпускал его, хотя размером он больше, чем на Алтае: до 500-600 грамм, и вытаскивать его научился с легкостью. Ловил и ленка по 1,5 -2 кг. Вся рыба очень мощная, так как все реки енисейского бассейна порожицы, своенравны и быстры. Тайменя пока не поймали, но сошла крупная щука, оторвав блесну.

Вчера был утренний мороз — 3, сегодня — 9. Сапоги при таком морозце, когда выходишь из воды на камни, прилипают подошвами к их ледяной поверхности. Тонкий лед — припай, когда лодка подходит к берегу, мелодично позвякивает, будто стайка птиц на прибрежных лиственях шумно и очень весело приветствуют утро. А утра и дни очень солнечны.

27 сентября. «Ворота».

Теперь оживают те слова и понятия, что поминал Михаил в своих книжках.

Хиус (или хивус) — ветер и названный по нему катер на воздушной подушке.

Капалуха — самка глухаря. Минуту назад выходил из избушки, а она, вспугнутая моим появлениям, взлетела в 10 метрах от меня.

Свал — сходящий с камня водяной поток.

Буду теперь записывать эти новые слова «по мере их поступления». Наверняка, много местных слов наберется.

Утром Миша отправился к катеру и спугнул сидевшего на берегу глухаря. Тот полетел в сторону избушки и сел где-то рядом. Собака Челак облаял его, и Петрович, ночевавший в бане, выскочил в чем спал, схватил ружье и, видя Челака, лаявшего вверх, на лиственню, разглядел на ней глухаря и в один выстрел убил его. О! У Петровича это уже восьмой глухарь! Петрович в первый же день двумя выстрелами убил двух глухарей и «сбавил пыль»: в остальные дни часто промахивался, хотя глухарей видели множество. Вчера на берегу сидело восемь штук, но он, затратив 4 выстрела в одном месте, так и не убил ни одного. Зато на другом берегу взял двух капалух. Весь вечер потом, подозревая, что сбился прицел, Миша с Петровичем пристреливали ружье на берегу, у зимовья.

Тугун — мелкая рыбешка, «на подвид» селявки. Ее заготавливают в больших количествах, бочками на зиму.

Лиственя — лиственница.

Кулёмка — самодельная ловушка-капкан на соболя из двух бревен и палочки-челака.

Челак — палочка-насторожка на кулёмке. Имя Мишиного кобеля, которому идет 9-й год.

Просохатил — слово, означающее утрату: потерял, прозевал, пропустил, сломал.

Тозовка — ружье Тульского Оружейного Завода (ТОЗ).

Карга — каменная коса на реке, обычно — за речным поворотом. На них обычно по утрам собираются глухари для сбора мелких камней.

У Петровича есть и свой лексикон, не местный, но быстро осваиваемый окружающими:

«Чижики» — любой человек, к которому у него неуважительное или пренебрежительное отношение. Например, у него ситуация, когда собака прозвала глухариху звучит так: «Этот Челак — чижики, капалуху просохатил, а она рядом на лиственне сидела».

После этого сегодняшнего удачного выстрела, с которого начался день, у Петровича поднялось настроение. Они с Мишей поехали вдвоем на глухарей. Происходит эта охота так: ранним утром на каргу слетаются глухари, поклевать камешки. Лодка идет посередине реки, и все смотрят по берегам. Река здесь 300-500 метров шириной с сильным, как у всех сибирских рек, течением. Обычно Михаил, сидящий за мотором, видит первым вытянувших шеи глухарей, еще метров за 200-300. На это нужен наметанный глаз, поскольку серое оперение глухаря совершенно сливается с камнями. Миша вытягивает руку, Петрович переспрашивает, уточняя — где? Миша сбавляет ход, лодка медленно подходит к берегу, стараясь держаться точно по курсу на глухарей, на 50-70 метров, и тут важно не упустить Челака, который уже видит глухарей и начинает яростно рваться из лодки, раскачивая ее и мешая целиться. Еще хуже, когда он при этом начинает лаять. Метров за 5-10 от берега Челака не удержать никакими силами, он вырывается и прыгает в воду. Выстрел! Обычно глухари остаются целы, ведь хорошо прицелиться в этой собачьей суматохе на качающейся лодке сложно. Но после выстрела глухари (а их может сидеть на карге и по десятку) взлетают на лиственни и прячутся в верхушках, и делают они это весьма искусно, вытягивая шеи, словно сучки. Наша задача — приметить, куда они полетели и, по возможности — где сели. У Челака задача — подбежать к дереву и облаять глухаря. Даже если глухарь залетел метров за 50 в тайгу и не виден нам с берега, он найдет глухаря, и бежать нужно на его лай, вычисляя по его вытянутой морде, где сидит глухарь.

Еще у Петровича любимая поговорка — строчка из известной песни: «Что ж вы, гады, ботик потопили». Он пользуется ей по любому недоразумению, в котором участвовали какие-то очередные «чижики».

Вчера же вечером, после неудачной рыбалки «на тайменя», когда напрасно протаскались по всем ближайшим свалам на каменистых грядках-порогах, вечером ходили в тайгу, где давно были налажены солонцы на лосей. Дорога-путик едва приметна, но на деревьях есть насечки, обозначающие ее, да и ловушки на соболя стоят слева и справа от нее метрах в ста друг от друга, указывая путь. Солонец — это две большие сваленные осины, в которых пропилены бензопилой кормушки — продольные желоба с насыпанной в них когда-то солью. Следов зверя не видно — кормушки запу-

щены и давно не снабжались солью, но на одной из осин видны застарелые следы зубов сохатого, дравшего кору. Обновили кормушки двумя пачками соли. Назад шли, снимая бересту на растопку. Спустились к водопаду: хаос наваленных каменных глыб, упавшие замшелые стволы деревьев, причудливый ковер мхов, волнами покрывающих их и камни. На камнях, что в русле ручья — лед, свисающий сосульками, словно на тортах, облитых глазурью. Всё: и природа, и постройки здесь, на заимке Ворота — настоящее Берендеево царство. Истинная глушь, где никогда даже лесоразработок не было, только охота. Лес здесь непромысловый. Выше избышки, в гору, он совсем молодой, ему лет 20-30, но это не оттого, что он пиленый, а растет на месте гари. Вечерний лес, освещенный сквозным солнцем, садыщимся за Бахтой, в тишине тихо сыплется желтая хвоя лиственниц... Дивное, волшебное-сказочное состояние.

С утра Миша с Петровичем ушли на охоту, а я взялся читать Л. Толстого. Здесь, в избышке, которая считается «избушкой Толяна», Мишиного напарника, с десятков-полтора книжек, среди них пара томов Толстого. Прочел давнее, еще из детства: «Кавказский пленник» и несколько рассказов на деревенскую тему. Удивительно просто написано, но ничего повторить нельзя: все в прямой речи героев насыщено и простотой, и образностью, и точностью слов, которые уже напрочь исчезли в нынешней жизни. А при Толстом все это было «в ходу» и на слуху. Как сжато здесь у Толстого, просто, ясно и точно. Нет, «под Толстого» написать невозможно, особенно там, где у него действуют простые люди. В романах он совсем другой: и мир Толстого, и язык, и форма изложения. А как мелькнет в романе или мужик или какое-то деревенское событие, и язык вдруг становится иным.

Ну вот: охотники уплыли на охоту, а я, спускаясь к берегу, на галечнике спугнул девять глухарей. «Просохатили капалух!» — сказал бы Петрович.

Еще в поселке Бахта узнал о таком явлении: старoverы. Но понятие это, классически известное давно, здесь имеет совершенно другой смысл. Да, это, вроде бы, те самые отшельники-старoverы, живущие где-то по дальним берегам Енисея и Бахты. Но не их скрытность определяет их характер для обычных бахтинцев. Их, наоборот, видно и слышно за одну-две версты по их странным катерам с торчащей будкой и палубой, обычно заставленной разноцветными двухсотлитровыми бочками из-под бензина и еще какими-то ящиками. Они торгуют бензином, и оттого их приравнивают к цыганам. Да, они не станут пить с тобой из одной кружки и есть одной ложкой, но, заявившись к кому-то из местных по каким-то делам, запросто могут стащить приглянувшуюся им вещь. Потому у бахтинцев есть и такое выражение: «Да старoverы — они как дихлофос!» Суда, суденышки старoverов и их лодки то и дело появляются то у поселка, то где-то по рекам у заимок, и их лодки узнаются по ярко-пестрым, словно лоскутное одеяло, бочкам, которых в их огромных, до 12 метров, лодках можно насчитать до двадцати. Вчера две такие лодки спускались вниз по Бахте и, увидев наши катер и лодку, пристали к берегу. Обычные парнишки, безбородые и безусые, в таких же, словно луковичная шелуха, надетых друг на дружку, охотничьих одеждах, о чем-то пару — тройку минут переговорили с Мишей. Он просил их кому-то что-то в Бахте передать на словах и что-то прихватить на обратном пути. После этого обе огромные лодки — одна «деревяшка», другая сваренная из кусков металла, покатались дальше вниз, весело разнообразя реку пестротой бочек.

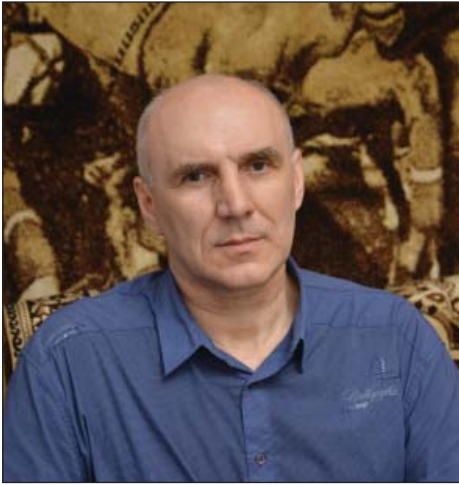
Днем Миша с Петровичем в очередной раз что-то ремонтировали в хиусе, а я на лодке обходил со спиннингом оба бахтинских берега, начав от противоположной стороны, от скалы. Дошел до карги, что метрах в шестистах от нашей пристани. В один из бросков показалось, что зацепился за камень, но стал подтаскивать и с метр-полтора тащил будто бревно, которое секунд через пять стало метаться. По тяжести будто на поводке ведро с бетоном. Я уже стал искать глазами, чем бы ударить, если вдруг это «что-то» подтяну к берегу. Секунд через десять это что-то, рванув 5-6 раз, отцепилось. Подошел Миша и однозначно сказал: это таймень. И дал инструкцию, как действовать, если опять попадется.

Вечером мы еще кидали у этой карги, только не за — а перед свалом. Миша покидал и ушел по делам к избышке, Петрович отошел поговорить по спутниковому телефону, и я, решив, что уже хватит, забросил в последний раз. Блесна опустилась к свалу, и тут дернуло... Позвал Петровича. Минуты в три-четыре мы вытащили таймешка в 1,5 килограмма. Красивая, сильная рыба. Когда я держал его в лодке за голову под жабры, он своим хвостом то опирался на лавку, то выгибался весь, и никакая сила не заставила бы его распрямиться.

Продолжение в следующем № 4-2016

Проза

Юрий Жекотов



Юрий Викторович Жекотов родился в городе Николаевске-на-Амуре. Окончил Приморский сельскохозяйственный и Иркутский педагогический институты. В настоящее время работает учителем в школе. Победитель литературного конкурса «О городе строки мои» в честь 155-летия города Николаевска-на-Амуре, победитель Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая Тайга» (Владивосток, 2011 г.), победитель Всероссийского конкурса-фестиваля «Хрустальный родник» (Орёл, 2012 г.), лауреат Международных литературных конкурсов «Славянские Традиции» (Крым, 2010 г.) и «Согласование времён-2012» (Германия) и др. Автор двух книг прозы — «Зов белухи» (2007 г.) и «Солнечные хороводы» (2011 г.)

Ревнивое море

Рассказ

Проверяя прочность золотых одежек осени, на исходе сентября объявился-зашутковал мороз: принялся стегать травы, изгоняя оттуда едва теплившуюся жизнь, стеклить по ночам промоины на прибрежных болотцах, выбеливать вязкими утренними туманами морские горизонты. Звёзды теперь спускались к самой земле, заводили хороводы, и сплетённое из их ярких шлейфов широкое одеяло, так и не прибранное к рассвету, ещё долго свисало с неба, сверкая кружевами кухни на кочкастых торфяниках. Пугаясь всё крепнущей стужи, сыпали жёлтой трухой приземистые лиственницы, скликались в табунки подростшие гусиные выводки. Казалось, всё нипочём лишь клюкве: по зыбучим марям, в сырых низинах зрела на холодах, румянилась боками северная ягода, наливалась живительным соком.

На косе между Охотским морем и рекой Коль приютился рыбацкий стан — нехитрое хозяйство Инокентьевской артели: несколько домишек, вспомогательные постройки, баня, баркасы... Отбурлачили рыбаки, закончили путину, и, по уму, отправляться бы им спокойно домой, на входе в промысловый лагерь прибить лишь табличку: табор закрыт, кому надобно, владельцев искать по таким-то координатам.

Подумаешь, по дороге на нерестилище завернёт сюда косолапый, от безграмотности не обратит внимания на человеческие каракули. Обойдёт строения зверюга: почешет хребтину о бревенчатый сруб, оставляя на нём клочья шерсти; сорвёт где с петель случайно скрипнувшую дверь; одурманенный не выбродившимся рыбьим духом, пошурует в разделочном бараке, и, не сумев совладать с хапужным настроением, поставив рядом с рукотворным объявлением свою печать — когтистые отметины — присоединит к немереному медвежьему княжеству ещё и здешний живописный уголок.

Топтыгин заглянет — большой порухи не принесёт. Другой напасти нужно опасаться. Люду развелось нынче без царя в голове, нет, просто воспользоваться рыбацкой деревней, если оказия в пути застала, и, с благодарностью поклонившись за приют-за постой, откочевать далее. Так нет же, отгостят незвано, набедокурят — напакостят, а то и красного петуха пустят. Отстраивайся потом сызнава, чини баркасы.

Наученные горьким опытом, после очередного «мамаева» набега, сговорились рыбаки оставлять на зимовку сторожа. Работа не бей лежачего, но не шибко весёлая: маячить на косе пугалом, туманы мерить, да звёзды считать. День-другой ещё ладно, а через месяц без любви к морю, без ответного человеческого слова волком завоешь. Особо охочих на новую должность не находилось, а потому условились артельщики бросать жребий.

В нынешнюю осень неожиданно сыскался доброволец — Михаил Сермяжный. Сам напросился в сторожа сорокалетний жилистый мужик, с обветренным красноватым лицом, с «бойцовским», свёрнутым давно по молодости — по глупости да так и неровно сросшимся носом, с когда-то огненно-рыжей, а теперь выгоревшей и прихваченной первой сединой шевелюрой.

Скукоты и тоски Сермяжный не боялся, ещё пацаном привык в одиночку по лесам шастать, уходить в сплавы по горным речкам. Но не в отшельничество потянуло Михаила, не скит он себе подыскивал в зрелые годы, чтобы вдали от человеческих глаз обдумать, разложить по полочкам накопившуюся жизненную философию. Был у Сермяжного серьёзный повод, чтобы пойти в охранники...

Раньше Михаил не раз хвастал-бравировал перед друзьями, собиравшимися в отпуск к не замерзающим круглый год морям: «А мне и на северах хорошо! Я своего Охотского моря не предаю. Касаток и белух на югах вы не сыщете, нерпа наша усатая из-за кормы лодки там вам не улыбнётся, северные чайки не закружат над головой такой весёлый белокрылый танец!

Наше море другое, мудрое, мы у него в вечных учениках. С ним не забалуешь! Редко приласкает погожим денёком. А приласкает, так тут же сыростью обдаст и моросью. Не любит ленивых и пустоголовых, быстро втемяшит что почём, а норы проявишь, так и не примет, спровадит. Зато Охотоморье трудяг привлекает. Без улова не оставит.

А там, на югах, что? Какие там примечательности? Елозить телом скрипучий песок? Несерьёзность одна, песочница для впавших в детство. А после неженья на берегу, ныряй в пар и кипяченую воду? Желание будет, так я и здесь в баньке попарюсь. Яблоки, груши, диковинные ягоды-фрукты? Да наша морошка, черника, брусника, пожалуй, повкусней и полезней будут...»

Но вот дети стали подрастать, и из затаек другие соображения у Михаила проявились за все неезженные года: «Я сам-то замшел, приржавел боочиной к суровому краю, а ребятишкам нужно свет показывать, расширять кругозор. Сейчас жизнь другая, неизвестно, как у них сложится после техникумов-институтов и где ещё осядут? Рыба-то была-была в море, а может и иссякнуть, а с ней и заработок. Да и самому (хоть и ни за что не признается) любопытно посмотреть: правду ли говорят, что есть такие моря, не штормовые, что не пугают многометровыми приливами, не студят кровушку, не выбрасывают вон, как пробку, смельчака, что отважился себя утешить купанием». Зародилась и крепла сумасбродная мысль: рвануть на юга, прокатить на самолёте всё семейство, посмотреть, как живут люди, чем на день насущный себе добывают, как умеют-обходятся без его моря.

Решил Михаил такую поездку преподнести для близких людей как сюрприз и подарок, лишнюю копейку от семьи не отрывать, не скряжничать, не откладывать по чуть-чуть. Подался в сторожа, конечно, понимая, что на охране имущества артели больших денег не поиметь, но предполагал организовать приработок. Михаил всё рассчитал: «Чем впустую суетиться на косе, обувку по морской гальке стирать, можно поднять барыш на ягоде. На другой стороне от стана по берегу реки Коль урожай клюквы — сотне ягодников за сезон ни за что не собрать. Лагерь под надзором, виден как на ладони, и клюкву себе спокойно рви. Если в день осиливать по два ведра, минус ненастные дни, да если снега погодят — за месяц полсотни вёдер по любому выходит. Клюква нынче в цене. Ягода от простуд, от хворей всяких, не ягода, а лакомство и лекарство».

Нашёлся закупщик, обещал оплатить собранный урожай, как раз на дорогу и хватало. Скрепили договор рукопожатием.

По зиме Михаил тоже не помышлял лодырничать: «Лежа на боку, не заработаешь и на понюшку табаку. Привады из лосося — сколько хочешь. Расставлю ловушки, поохочусь на собольков рядом со станом. Пушной промысел и увлекателен, и подстраховка на случай, если реформа сделав хитроумный зигзаг, рубль в какой раз обесценив, человеческие планы поломаёт. Пушнина — та же валюта, в цене не падает».

Уходя в сторожа, Сермяжный не хвастал перед домашними, не сулил гор золотых и далёкого путешествия: обещанной шубой не согреешься. Объяснил только, что жребий выпал идти в охранники. Но, когда всё стало складываться удачно, как и замышлялось, собирая ягоду, Михаил не раз представлял, как сбережёт заначку, а накануне следующего лета заведёт вроде бы невзначай разговор с женой, например на кухне:

— Хватит, Наталья, тут салаты крошить. Давай сама собирайся и детишек готовь. Поехали винограды есть! Пальмы всякие смотреть!

Вот удивления-то будет.

— Как так? На какие шиши? — приняв за розыгрыш, отмахнётся поначалу супруга, пошутит. — Клад, что ли, нашёл?

— Клады все до меня выкопали, — продолжит он с серьёзным видом.

— Подумаешь, деньги, эка невидаль. Вот вам, пожалуйста, рубль к рублику — сто тыщ, — так, запросто, не изменив выражения на лице, вынет он из-за пазухи и положит на стол перехваченную вязкой пухлую пачку денег.

— Откуда такие деньжищи?! — враз обрадуется и испугается Наталья, замрёт в изумлении, опасливо поглядывая на невесту откуда взявшееся богатство.

— Всё по чести. На чужое не зарился, и дармового не перепало. Трудовая копейка. Не прохладился я в сторожах, не дрых беспросыпно, на карачках да по-пластунски ползал по марям — по болотам, собирал кислу ягоду, — успокоит он супружницу признанием.

Ребятишки, узнав о грядущем странствии, будут прыгать до потолка от радости: теперь обезьян и кенгуру всяких не только на картинках да по телевизору, а взаправду можно увидеть, а захочется — и руками потрогать! Будет, будет этот момент, обязательно настанет!

С рассветом никто не гнал — не торопил иннокентьевского сторожа. Но хочешь есть калачи, так слезай с печи. Наспех отчаёвничав, Сермяжный по привычке натянул болотники, захватил самодельный фанерный короб и потащился к оморочке. Мешковато сидела на теле ягодника выгоревшая тужурка, сбилась на затылок поношенная вязаная шапка. Но, несмотря на непритязательные одёжки, в походке Михаила виделись основательность, уверенность и даже какая-то цепкость, привязанность к месту, и потому, несмотря на казалось бы затрапезный вид, выглядел он не вычурно, а гармонично с окрестными картинами, с искорёженными, но намертво прилепленными к земле листовницами, с неровно изрезанным ветрами и солёными волнами берегом.

Будто измазанная нерпичьим жиром, лоснилась под ногами прихваченная инеем заснувшая трава. Изредка пускали пузыри с тайных глубин оседающие тысячелетние торфяники. В это утро, переправляясь через реку, обратил внимание сторож, что отчего-то опал-обмелел Коль, как в засушливое лето, и вода из болотца схлынула, будто вымерзла. Михаилу из-за косы не было видно, что отступило море от своих привычных границ, оголив большой заросший водорослями участок дна у берега, и пока он топал по мари, всё удивлялся: «Что за примета? Зазря ничего не происходит. Всею своё начало и свой конец. Где-то убыло — в другом месте прибыло».

Дорогое ожерелье выбрало в эту пору для себя северное море — пурпурно-сиреневое, припудренное спелым сизым налётом, жемчужина к жемчужине — ягодка к ягодке. Эх, клюковка — кислое лакомство, болотный витамин! Вот она, вроде на блюде видная лежит, не пожадничала, сыпанула из своих закровов осень, а поди, собери дары! Совком — комбайном редко в каком месте разгонишься, чаще по ягодке, по другой — мелькает-частит проверенный ручной конвейер. Нужны только упорство и сноровка. Но уж этих качеств у северянина не занимать. Осталось до задуманного не больше десятка вёдер в бочки засыпать. За заботой-за занятием незаметно бежит время...

Спохватился Сермяжный, когда осознал, что клюкву достаёт из воды, погружая туда кисти рук полностью. Глянул Михаил в сторону лагеря — нет косы, сплошное море! До оморочки по быстро прибывающей воде сторож еле успел добраться, догадываясь о необычном природном явлении, хоть сам о нём только из рассказов отца слышал: «Ядрить её налево! Цунами, что ли?!»

Недалеко от рыбацкого лагеря, на дне Охотского моря, случилась подвижка земной коры, слегка потряхнуло поверхность, образовав большую волну, далеко не самую крупную по меркам цунами, но представлявшую серьёзную опасность для находившихся на берегу людей. Выручила коса, сбила первый накат, но шёл второй, более разрушительный...

Подхватило оморочку, понесло течением мимо выглядывавших из серых волн рыбацких домиков, как щепку закрутило-завертело в пучине. Михаил греб, интуитивно угадывая направление потоков, стараясь не столкнуться с древесными обломками и другим мусором, смытым с берега...

Сложно сказать точно, сколько времени прошло, пока утихомирилось море. Как выжил, каким чудом спасся, Михаил и сам не объяснит. Но удержалось на плаву хлипкое судёнышко и уберёгло гребца. Побережье было еле видно, и человек направил к нему свой непотопляемый ковчег...

Почти всё не прикреплённое к тверди имущество артели забрало данью море, а что не успело прихватить, перемешало и бросило. Побило баркасы, основательно разрушило добрую половину рыбацких строений. Михаил ходил горемыкой по разгромленному стану, сокрушался: «Сколько

потеряно, переломано — не сосчитать! К следующей весне нужно промысловикам запастись пило-материалом и терпением, тянуть жилы, выворачиваться наизнанку, восстанавливать рыбное хозяйство. Беду скоро наживешь, да не скоро выживешь». Запоздало вспомнил Сермяжный: «А как же ягодный склад с несколькими перехваченными тугими обручами и забытыми клюквой бочонками? Вон он, домишко с заготовками, на самом высоком месте на косе ставлен, с тыльной стороны посмотреть — вроде нетронутый, авось, обошла стороной стихия?» Поспешил к хранилищу...

А там — дверь нараспашку, выдавлена пучиной единственная оконная рама. Ещё на что-то надеясь, сиганул рыбак вовнутрь помещения: увы, перевернуты все бочонки, прополосканы, от собранного урожая замыло в углу кучу ягоды, с ведро — не больше. А над пустым оконным проёмом в насмешку телепается на гвозде ковш, словно им вычерпаны — изъяты все клюквенные припасы. Сам не зная зачем, очумелый от разрушительных картин, подобрал Михаил валявшееся здесь же ведро и стал собирать в него ягоду.

А мысли в окрошку-враздрыг теснятся-роются в голове: «Сколько человеческих трудов враз сничтожило! Все старания всмятку, зазря! И с ним, с его надеждой-замыслом никто не посчитался... Вот так то вот! Подрезали крылья!..» Скрипнул с насмешкой ковш на сквозняке: «Давай, горбатся, сутулься, а я тут тоже, случай чего, наготове, и за рукоять мою не ты держишь, мечтатель липовый...»

И так допекло, а тут, будто не посудина скрипнула, а хрястнул кто невидимый по темечку рыбака, так что сорвалось у него равновесие в черепушке, сбилось с нужного ритма. Вскочил Михаил, как ошпаренный, резво кинулся к выходу, рванул «на нерве» дверь и хлопнул ею о косяк что есть мочи, не задержался на крыльце, в суматохе, словно догоняя вора, побежал к морю, размахивая ведром. Запоздало обратил внимание, что, как прилипшую, таскает за собой тяжесть, мотнул в сердцах ёмкость куда попади. Та грохнулась о камень и, с набатным перезвоном кроша эмалью, запрыгала по булыгам, оставляя после себя кровавую ягодную дорожку.

А Михаил, то ли вздумал всерьёз воевать, то ли драться с морем, заскакивал в прибрежную волну, крутил руками, молотил что есть силы по воде, желая вразумить или навешать тяжёлых лепёх по шее обидчику, надрывно кричал, бросая безумно-грозные взгляды в закатную изумрудно-сиреневую даль... Затем, немного сбавив обороты, нервозность и желая установить диалог со стихией, что-то горячо и сбивчиво объяснял, бил себя в грудь кулаком, доказывая свою правду...

Но, так видно не найдя нужных слов или понимания, в итоге рубанул Сермяжный рукой резко, как бы прощаясь с былым и отрезая кусок собственной никчёмной жизни, повернулся спиной к морю и решительно пошёл прочь... А через пару десятков шагов стала куда-то улечиваться гордость и спесивость в осанке, замедлилось движение. И чуть погодя, и вовсе застопорился Михаил, голова в поклонном покаянии, руки висят плетьюми. Застыл на месте, стыдится поворачиваться, но наконец обернулся, виновато моргая глазами. Долго смотрел на морскую пучину, морщил лоб, словно о чём-то догадываясь, и поплёлся обратно. Поднял ведро, высыпав оттуда ещё каким-то чудом оставшуюся на доньшке ягоду, повернул на попа и уселся.

Зябнув и ерошась в сырой одежде, сплошь покрывшись гусиным «пупырышком», прежде чем заговорил, долго просидел рыбак на месте, уставившись вдаль, будто что высматривал, вымаливал, винясь за свою сумбурность и несдержанность:

— Эх, морюшко-горюшко, с тобой не замечаешь. Куда мне от тебя? Куда я от твоего характера, от норова? Я сам такой, измены не люблю, непостоянства, перемётных душ всяких, неоседлых, пустяковых...

Мне другого моря, хоть мёдом облей его, не надо. Я так, только одним глазом хотел посмотреть, детишек побаловать. А не вышло...

И не надо. Не по нутру оно мне! Нет у меня к нему тяги. Не еду я теперь, никуда не еду. Будем как-нибудь так жить. Много ты чего забрало море, но жизнь-то оставило...

Помолчал Сермяжный, по-детски хлопнул носом. Подобрал с гальки жменю бордовой ягоды, отправил в рот. Раз жеванул, другой, перехватило от кислоты дыхание, будто брагой крепкой, садануло в мозг живительной силой, до оскомины, до слезливости. С трудом перевёл дух. Выдохнул застоявшийся воздух...

Сквозь прищур влажных глаз сверкало море. И казалось оно Михаилу теперь другим, каким раньше его не видел, таким красочным, светлым, добрым и жалостливым.

Поэзия

Геннадий Иванов

Геннадий Иванов родился в 1950 году в городе Бежецке Тверской области. Детство начиналось в деревне, в полях, в начальную школу ходил в бывший барский дом из имения Слепнёво, где когда-то жили и творили Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Потом семья переехала в город Кандалакину на Кольский полуостров — там жили в бараке на берегу Белого моря, там окончил школу, оттуда уходил в армию, в арктическое плавание, там работал в районной газете и начал писать стихи. Окончил Литературный институт имени А.М.Горького. Автор десяти книг стихов. Написал три книги очерков о своей малой родине «Знаменитые и известные бежежчане». Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Ф.И.Тютчева «Русский путь». Первый секретарь Союза писателей России. Живёт в Москве.



* * *

Для России открылся Господь в эти годы.
Может быть, потому что стучится война...
Перебрали, как водки, мы нашей свободы,
Вопиёт наша совесть и наша вина.

Времена наступают трезветь и собраться.
Времена наступают молиться — и в бой.
Мы для Бога ещё не потеряны, братцы.
Поднимайтесь, рязанский мужик и тверской...

Впереди будут битвы не олимпийские.
Не потешные будут бои и полки.
Поднимайтесь, уральские люди, сибирские...
И Поволжье, и казаки...

И Кавказ, и московские люди, и питерцы
Поднимайтесь и Север, и Дальний Восток...
Мне суровым и грозным грядущее видится.
Наступает безжалостный срок.

27.12.2015

* * *

Из жизни нашей стали исчезать
Слова: присяга, подвиг, верность...
Мы стали в межеумье зависать.
Какой-то низкой стала современность.

России быть расхлябанной нельзя.
Со всех сторон, со всех границ набег.
Не расслабляйтесь, русские князья, —
В покое не оставят печенег.

Они нам никакие не друзья
И не партнёры — что вы лебезите?
Не расслабляйтесь, русские князья,
И в сердце верность Родине носите.

16.11.15.,
электричка Москва — Тверь

* * *

Рок событий несёт нас к войне.
Словно льдину несёт к порогу...
Победим ли, сгорим ли в огне —
Я не знаю, предателей много.

Не готова, я вижу, страна —
Расслоенье людей вопиюще.
Мстит жестоко за это война.
Отвернётся Господь всемогущий.

Кто лукавил — служил сатане.
Помогла ли Руси заграница?
Рок событий несёт нас к войне.
Жизнь в России должна измениться.

16.11.15.,
электричка Москва — Тверь

Мой трилистник

1.

Я люблю деревенские улицы —
Где гуляют заботливо курицы,
Где окошки глядят друг на друга
И всё близко — до речки, до луга.

Как же мне не любить эти улицы,
Как же сердце не заволнуется,
Если знаю я брёвнышки эти
С моего появления на свете.

2.

Я люблю побережье поморское,
Хоть оно серовато, неброское,
Но водица по-дружески плещется,
И душа так спокойна, не мечется.

Кандалакша мне ведома с юности.
Ночи белые, сполохи, лунности...
Море Белое плещется, плещется,
И душа тут на месте, не мечется.

3.

Я люблю твою силу победную,
Твой, столица, размах и полёт...
Москвичи за Россию, за Родину,
Москвичи это тоже народ.

И когда супостаты надменные
Будут биты опять и опять –
Их знамёна на площади Красной
Будут хламом под ноги кидать.

6.01.2016

* * *

Порой мне кажется — кругом идёт творенье.
Земля творит, и небо, и река...
В любом кусте живёт стихотворенье,
Ещё для нас неясное пока.

И музыка творится, и движенье,
Поэма и картина — в каждый миг.
И райское объемлет землю пенье...
И вычитал я это не из книг.

Я это слышу в роще, вижу в поле,
В цветах и травах, в солнечном огне,
Во всей земной красе, в небесной воле...
Творится в мире, в слове, и во мне.

* * *

Как спиной к алтарю не стоят, не сидят,
Так и к морю сидеть можно только лицом.
Это нами забытый древнейший обряд —
Море хочет, чтоб взгляд твой всегда был на нём...

На волнах, на прибое качается взгляд,
Улетает и тает вдали.
Я как будто бы морем и миром объят –
И в ладонях плывут корабли...

Есть у меня...

Есть у меня подружки
Ласточки-береговушки.
Спинки их вечно в глине,
Коротки их хвосты...
А на реке кувшинки –
Жёлтые, как веснушки,
А за рекой на поле
Разных цветов цветы!

Есть у меня тропинки —
Тонкие паутинки.
Есть у меня избёнка,
Дали и небеса...
Есть у меня берёзки,
Есть у меня осинки...
Есть у меня Россия –
Все её чудеса!

* * *

Мокрый снег поэтичен и ласков,
На стволы налипает. И лес
Предстаёт, ну, конечно же, сказкой
И собранием зимних чудес.

«Побываем в гостях у синицы,» —
Я себе говорю и бреду.
Побываем в гостях у куницы,
У лисицы пройдем на виду...

Всё волшебное и всё незнакомое.
Это кто пробежал по ветвям?
Мы, конечно, в гостях, а не дома.
И люблю я ходить по гостям!

* * *

Цветы мне говорят...

«Гляди на нас, — мне говорят цветы –
На васильки, на лён и на ромашки...
Для этого на свет явился ты,
Среди цветов родился ты в рубашке!»

И я брожу на родине моей –
Душа поёт о красоте и чуде.
Мне жаль разочарованных людей.
Живите радостно и удивлённо, люди.

Смотрите — как прекрасны облака!
Их не было почти, теперь их много...
Нет, не от Бога на земле тоска
И разочарованье не от Бога.

* * *

Вступаю в партию цветов,
Вступаю в партию травинок.
Они основа всех основ,
Новейшие из всех новинок.

Среди цветов и среди трав
Я свой, ни капли им не чуждый,
И у меня так много прав,
Что больше ничего не нужно.

Я тоже расцвести готов!
И день такой жемчужно-ясный!
Хожу, брожу среди цветов
Во всём с уставом их согласный.

* * *

Сырые избы, изгороди, гряды,
Сырые пашни, озими сыры...
Скворцы, не знаю, рады ли, не рады,
А мне как песня избы и двory.

Сараи эти, житницы, телеги —
Мне это всё на сердце благодать.
Все эти палисадники да слеги,
В низине заболоченная гать.

Сидит скворец...
Я на крыльце открытом.
Мы друг на друга изредка глядим
И, кажется, на языке забытом
Мы со скворцом весенним говорим.

* * *

Россия с нами говорит пейзажем,
Пушистыми сугробами, ручьями...
А мы стихами ей сегодня скажем,
Что любим её в радости, в печали.

Мы любим её реки и просторы,
Мы любим её песни и заветы,
Мы слышим её тихие укоры,
Мы видим все печальные приметы...

Прости, Россия, слабых сыновей,
Но есть сыны достойные вовеки.
Мы что-то значим лишь в судьбе твоей,
Любя твои поля, просторы, реки...

30.01.2016

* * *

Над миром свист летит разбойничий,
И где-то весь в слезах опять
Есть рынок страшный и невольничий...
И как всё это нам понять?

Как нам понять все извращения,
Понять всю мировую ложь,
Детей — и слёзы и мучения?..
Господь, приди!
И уничтожь!

23.01.2016

* * *

Метель метафизически метёт —
Соединяет землю с небесами...
Зато душа лирически поёт
И просится в какие-нибудь сани!

И просит, чтоб не уходил домой,
Бродил в метели, песни распевая.
Ах, пой душа! Освобождённо пой!
Своей любви всемирной не скрывая.

19.01.2016

Крещение Господне

* * *

Храм Александра Невского в Софии.
Великолепный, благородный храм!
То в честь спасительницы,
В честь моей России.
Я вижу в нём завет высокий нам.

Есть у России миссия превыше
Пресыщенных желудков и забав.
Высокий голос в этом храме слышен,
Высокий дух, как с уст, слетает с глав.

Мы образ Мира в мир несём, и это
Начало только нашего пути.
Потом мы явим миру образ Света,
Чтоб с ним в веках
Народам всем идти!

3.07.1987

P.S.

Тогда я был, конечно, утопичен.
И Мир, и Свет для мира — где они?..
И всё-таки, и всё-таки Россия
Зажжёт необходимые огни.

8.01.2016

* * *

Травы зябнут, и крыши, и ветки.
Как-то тише река потекла.
Печка лета остыла, и ветер
Выдувает остатки тепла.

Глажу я лошадиную морду
И никак не пойму одного —
В старой книге написано твёрдо:
Мир проходит и похоть его.

Мир проходит...И, время не тратя,
Надо б думать о вере всерьёз.
Но и травы мне сёстры и братья,
И порой я люблю их до слёз.

Всё, конечно, проходит на свете.
Как бы жизнь не была мне мила —
Печка лета остынет, и ветер
Выдувает остатки тепла.

Но покуда стога и овины,
И поля, и леса предо мной,
С ними связан такой пуповиной,
Что не мыслю без них мир иной.

Да и вся моя вера отсюда,
От окрестного мира она.
Я увидел всё это как чудо!
Разве может быть в этом вина?

* * *

Была отрада — выйти в поле!
И от забот вдали и дел,
Как зачарованный я что ли
На дали дальние глядел.

Была отрада — печку слушать,
И слушать выюгу за стеной...
И топором поленья рушить,
И мокнуть в дождик проливной...

Всего-всего так много было!
И по всему душа грустит...
Всё это не вместит могила.
А небо...Небо всё вместит.

8.01.2016

Поздний мотив

(Из Шамиля Казиева)

Прости меня, сердце, прости...
Я знаю, что я навсегда виноват.
Ты звало меня на такие пути,
Где птицы одни лишь парят.

Поверить бы мне и отдаться судьбе,
Но я много раз находил
Причину, чтоб крылья подрезать себе.
Я ждал сверхъестественных сил...

Вот, думал, придёт моё время, когда
Взлечу я, когда захочу,
Мне будет тогда и беда не беда,
И будет мне всё по плечу.

Весны небывалый разлив подойдёт...
Не время ещё — подожду.
Но в чём-то ошибочным был мой расчёт,
Живое рубил я в саду.

Ты великодушно умеешь прощать.
Прошу тебя, сердце, прости.
Ещё раз попробуем снова начать —
Решусь на любые пути...

Молчит моё сердце...Подходит зима —
Как дерево, сердце немеет.
Последний листок ещё сходит с ума
И бьётся с зимой, пламенеет...

* * *

Когда-то на корме высокой
Стоял я и глядел вокруг.
От запада и до востока
Был океан как брат, как друг!

Меня приветствовал он блеском,
Покоем, яркостью небес...
Бывало, что и с рёвом, с треском
Валились волны, словно лес.

Порой стоял в солёных брызгах,
Чуть было не накрыт волной...
И жизнь, и смерть — всё было близко,
И выбор, выбор был за мной.

Порой хотелось — привязаться
К фальшборту и отважно ждать,
Когда волна начнёт кидаться
На палубу — и увлекать

Меня с собой за борт, в пучину...
А ты стоишь! Ты терпишь! Ты
Берёшь, конечно, не по чину.
Нептун грозит из темноты.

Порой хотелось, да, хотелось
Всё испытать, преодолеть...
В душе и грезилось, и пелось,
И силы надо было деть

Куда-то.
Были и дороги,
Свиданья, встречи, кутежи...
У старости я на пороге,
Теперь другие рубежи.

Я принял их вполне спокойно.
Был некий праздник, круговерть...
Теперь пройти бы мне достойно
Труды, религию и смерть.

80-е; 8.01.2016

Поэт

Он плавал сначала в тралфлоте,
Трудился потом на заводе,
Но больше всего на болоте
Бруснику любил собирать...
Любил при любой он погоде
О жизни в стихах размышлять.

Любил он болотную птицу,
Идущую с севера осень.
Однажды мечтал превратиться
В багряный слетающий лист.
...И вот он ударился оземь,
Душою, как лист этот, чист.

Его мы и помним и любим.
Его мы поём и читаем.
И все его лучшие строки
Пребудут всегда со страной.
Его всей душой понимаем —
Такой он р о д н о й!

* * *

Вот Бунина возьму и — разволнуюсь!
Такие есть места, как чудо наяву.
Открою книгу. Книге повинуюсь,
По бунинским волнам по миру поплыву.

По бунинским волнам — Восток увижу, Запад,
И снова в Русь течение принесёт...
Степей, полей, лесов родимый запах!
И птиц, и птиц таинственный полёт!

Его шмели, его лазурь, колосья —
Всё живо так! Да, Бунин, ты велик!
И если о тебе Господь на небе спросит,
Скажу, что на земле таких не много книг.



Поэзия

Сэда Вермишева

Сэда Вермишева — поэт, публицист, ученый, общественный деятель. Член Союза писателей СССР, председатель российского культурно-исторического общества им. Грибоедова, сопредседатель Московского общества дружбы с Арменией, сопредседатель русскоязычной секции СП Армении, член правления Международной ассоциации содействия культуре, член правления Союза армян России. Автор более 10 поэтических сборников. Стихи переводились на армянский, французский, словацкий, польский и английский языки. Сэда Вермишева удостоена множества государственных и литературных наград. Живет и работает в Москве и Ереване.



**Со всей страной говорить
Всем горлом, всем ознобом...**

* * *

Разбит наш дом.
Он превратился в прах.
Как мне срастить
Обломки прежней жизни?
Как отыскать
На новых берегах
Пути к потерянной
Моей большой Отчизне?
Как отыскать? —
На языке каком
Окликнуть их,
Кому назвать
Приметы?
И я иду по снегу
Босиком...
Стоит зима.
И косяком к нам — беды...

* * *

Я иду по слепящему снегу,
Оступаю в горящую
Русь.
Никогда не склонюсь я
К побегу.
О победе в надежде
Молюсь...

Что мне воздух полей этих
Волглых,
Что дорог мне твоих
Маята?
Свет небес бесконечных
И долгих?..

Я стояла тогда у моста...
Тихо шли по дороге
Буренки,
Словно сны с голубого
Листа...

* * *

Снова дождь безутешный
Стучит мне в окно.
Вновь на улицах днем,
Словно ночью,
Темно.
Это думы мои
И темны, и черны —
Мы сломали пространство
Единой страны...
И кружит надо мной
Этих слов бесконечность..
Что отвечу я вам.
Дом,
Отечество,
Вечность?

* * *

На крюк Россию взяли,
Как тучного быка.
Распяли и разъяли,
А прежде шкуру сняли, —
Кромсает нож бока.
Кому Ямал с Чукоткой,
Кому Тюмень и лес?..

А кровь все хлещет глоткой,
Рекой течет с небес, —
Народ овечкой кроткой
Идет в чужой замес..

* * *

Земля — как пух. Земля — как воск,
Земля — как пламя.
Здесь не шиповник дикий рос —
Здесь рдело знамя.
Оно летело к нам сюда
Тысячелетья,
Перелетая города,
И мор, и плети...

И вдруг исчезло без следа,
Ушло,
Взметнулось в никуда,
Как сон,
Как ветер...

* * *

Мы попадаем под колеса...
Мы сходим с рельс.
Летим с откоса...
Своей ли волей,
Волей рока,
Невесть какого скомороха
Так неожиданно жестоко
К нам повернулось мирозданье,
Событья.
Ход времен.
Эпоха.

И повея надменно бровью
Они нам шлют
Свое посланье...
Грозят нам мороком
И кровью,-
И нас уж нет —
Одно преданье...

И никакие пароходы
К нам в трудный час
Не подплывут:
Мы тонем в омуте свободы,—
Волна растет, сметая броды,
И ближний берег
Наг и крут...

* * *

Как в омут, словно в воду,
Как в бор глухой,
Как в страсть,
Вступить, хоть нет здесь броду,
И не к чему искать.
И плещешься крылами,
И пробуешь идти...
И дух горяч, как пламя,
И горек, как «прости»,
Последнее, прощальное,
Сквозь сердца
Дрожь...
Распахнутая, дальняя,
Страна,
Куда идешь?..

* * *

Пощады не ждать нам
Во времени зряшном.
Пощаде не быть
Нигде.
Никому.
Ни волкам. Ни овцам.
Ни уткам домашним.
Не будет пощады ни славным,
Ни падшим:
Горит горизонт. И округа в дыму.
И как охранить
Как спасти свою душу,
Как малых детей от беды
Уберечь?
Огонь охватил океаны и сушу —
Яви нам подмогу,
Владычица — Речь!
В священном усилье,
Горячем и чудном,
На твердую кромку
Спасенья
Ступить.
В пути бесконечном,
Бессрочном и трудном
Из чаши небесной
Бессмертье испытать!

* * *

Рвануться!..
 В отчаянье пасть
 На колени
 Пред Богом
 И перед людьми,
 Перед всеми...
 И жарко молить
 В горьком сердце своем,
 Чтоб ливень нещадный
 Стал просто дождем,
 Чтоб черные стрелы бы
 В нас
 Не летели,
 Чтоб сжалились вьюги,
 Ветра пожалели,
 Смиряться, стихали,
 Стелились к ног...

Чтоб Бог иль кто выше,
 Нам выжить помог...

* * *

Связать в стога просторы,
 Простором обладать,
 Как мать своим ребенком,
 Вскормить его,
 Как мать.
 Хранить его пещерой,
 И льдами полюсов,
 Неслыханной химерой,
 Преданьями отцов...
 И выйти на просторы,
 На клич и зов дорог...
 Где только ветер в поле,
 Да небо,
 Лес
 И Бог..

* * *

Россия — волость вольная,
 Незрим и жгуч огонь...
 Дорога — даль продольная,
 Прямая,
 Не окольная,
 Как неба ширь —
 Ладонь.

Она,
 Как в сказках пишется —

Белей,
 Чем снег...
 Ей Бог в окошке видится,
 Ей конский топот слышится
 Сквозь дрему век,
 Когда ковыль колыхнется,
 А горизонт все движется
 За край земли
 И рек...

* * *

Летит, летит степная кобылица
 И мнет ковыль.

Александр Блок.

Стихия ветра, стихия снега,
 Я вас люблю.
 Какая воля, какая нега...
 Земли и неба
 Свободу пью!..

И невозможно
 Остановиться —
 Звенит ковыль...

Нам все под силу,
 Нам все простится
 И сон. И быль.
 И потому вот — такая доля —
 Легла нам карта — дороги власть...
 За все, что будет,
 За все, что было
 В траву степную
 Лицом упасть,
 И в сердце снова
 Очнется сила —
 Хулу и Славу
 И Крест
 Принять...

* * *

Нас вьюга нянчила в подоле
 Под небом смут
 И мятежа.
 Нас холил ветер в чистом поле,
 И пело острие ножа...
 Тянулись долгие столетья,
 Смешались говоры племен,
 С землей — поземка,
 С небом — ветер,

В своем дыханье ледяном...
А мы все вдаль глядим,
Как дети –
Владыки будущих
Времен...

* * *

Когда распрямляться
Пружине
Назначенный час подойдет –
Запомните! –
Память –
Не стынет –
И счет свой обидам
Ведет...

Как сжатая сила
Вулкана,
Как плач заколдованных
Недр, –
Так прошлого подвиг и рана,
Предвестье
Грядущих побед!..

* * *

Сохранить Россию,
Боже,
Помоги!..
Чтобы небо — синее,
Тропы вдаль —
Легки.
Горе черным вороном
Не клевало глаз...
Помоги нам,
Господи!
Хоть в последний
Раз...

* * *

И мы осмелимся рвануться
В никуда,
Земную почву
Покидая
Под ногами.
И отзовется нам,
Ответит даль тогда,

Когда прогнет
Хребет
Под скакунами.
И ржанье весело откликнется
Звезде,
И звон рассыплется по пыли
Придорожной...
Мы были здесь!
А нынче мы — везде!
Восставшие из были
Позапрошлой...

* * *

Будем надеяться,
Верить,
Молиться...
Истина Божья для нас
Возродится...
Крепить не канаты,
А с временем связь —
Восходы, закаты,
Славянскую вязь.
И лики святые
Проступят
Сквозь тьму,
И люди вернутся
К Христу своему.

ПРЕВРАЩЕНИЯ

Я замесила воду, щебень,
Глину,
Чтоб каждому — приют,
И угол свой.
Но грубо всех нас
Вытолкали в спину:
«Гуляй, где хош, покедова живой!»
И мы ушли.
Из глаз ушли.
Из виду.
Покинули,
Быть может,
Шар земной...
А я стою.
Я здесь у края стыну,
Мне некуда идти, –
Там дом спалили
Мой...

Поэзия

Сагидаш Зулкарнаева

Родилась в 1968 году, живёт в деревне Новопавловке Самарской области. Публиковалась во многих центральных и региональных изданиях, в коллективных сборниках и альманахах. Кандидат в члены Союза писателей России, лауреат ряда сетевых конкурсов. Автор поэтического сборника «Выпив ночь из синей чашки»



У КАЖДОГО НА СВЕТЕ ЕСТЬ ПРИЧАЛ

* * *

Проходят мимо счастье и любовь,
Окликнешь — отзовётся только эхо.
Нет, не сержусь — лечусь от боли смехом
И принимаю с честью день любой.
Зачем грустить, когда идут часы,
Полны теплом небесные ладони,
Горит герань и хлебом пахнет в доме,
Горьки слова, но помыслы чисты.
Чего мне ждать, каких высот хотите
И обходить какие грани надо?
Ведь дальше неба некуда лететь
И дальше бездны некуда мне падать.

* * *

Божий свет над деревней потух.
Скот не кормлен, и нивы не сжаты,
И от голода даже петух
Не поёт, а ругается матом.
Перечёркнуты окна в домах,
В небеса — перекошены двери,
Пустотою полны закрома,
А сердца — беспросветным безверьем.
Лёд не тает, летает снежок...
Но запахло весною погожей.
Надо б только от края шажок,
Дальше — легче. Дай силы нам, Боже...

* * *

Канул февраль без остатка
В непроходимости троп.

Ветер ложится с устатку
На ноздреватый сугроб.
Тихо, не скрипнет телега,
Ночь опустилась на дно.
Белые бабочки снега
Бьются и бьются в окно...

* * *

Смотрите-ка, небо пробито —
Упало на крыши и лес,
И черпают люди в корыто
Несметные звёзды небес.
Лукавые бесы лакают
Луны просочившийся свет,
Один лишь прореху латает —
Непризнанный небом поэт.

* * *

Выпив ночь из синей чашки,
Жду, когда нальют рассвет...
Тень в смиренной рубашке
Мой обкрадывает след.
Обернувшись тёплым пледом,
Обойду притихший сад.
Пахнет горько бабье лето
Неизбежностью утрат.
Звёзды светят маяками.
Может, в небо за буйки? —
Где цветные сны руками
Ловят божьи рыбаки.
И по лунам, как по рунам,

Выйти в космос напрямик,
По дороге самой трудной,
Где полёт — последний миг...
Только в доме спит ребёнок.
Захожу, скрипят полы.
Не скрипите: сон так тонок!
В степь пойду, сорву полынь
И травой горькой, дикой
Окурю себя и дом:
Блажь полёта, уходи-ка!
Полечу потом, потом...

* * *

Я горькою судьбой обожжена,
Мне так нужны большие перемены...
На все взыванья к Богу — тишина,
И ангелы мои глухи и немые.
А час придёт — не все заплачут вслед,
Бываю я, как сад, всё время разной:
Кому-то заслоняю белый свет,
Кого-то в будни радую, как праздник.
И так живу, без злости и обид,
Люблю людей на свадьбе и на тризне.
А то, что Бог со мной не говорит, —
Поговорит, быть может, после жизни.

* * *

Как в чёрной речке нету дна,
Так и в тебе мне нет опоры.
Ты от меня уедешь скоро,
И я останусь вновь одна.
Не оглянувшись, ты назад
Уйдёшь, а я поставлю точку.
И поцелую тихо дочку
В твои прекрасные глаза.

* * *

Почат январь, собрали конфетти,
В пустом доме одна не заскучаю:
К обеду Зойка сойкой залетит,
Расскажет все известия за чаем.
Под вечер дом теплеет, как душа,
И трель сверчок на нитку ночи нижеет.
Перед рассветом, крыльями шурша,
Стихи с небес слетаются на крышу.
И хорошо, что город далеко,
Живи себе, да печь топи на благо.
Есть тишь и свет, есть мёд и молоко,
И два пути — до неба и продмага.

* * *

У бабы Мани всё как встарь:
На кухне — книжкой календарь,
Портрет с прищуром Ильича
И борщ краснее кумача.
А во дворе кричит петух,
Слетает с неба белый пух.
Старушка хлеб в печи печёт,
И время мимо нас течёт...

* * *

Куда идти? Дороги скисли.
Всё больше тьмы, всё меньше света.
Я ничего порой не смыслю
В организации планеты.
Не оттого, что дальше стала
От окружающего мира,
А оттого, что заплутала,
Утратив дней ориентиры...
Вот-вот предательски завьётся
Змеёй дорога подо мною,
И всё вокруг перевернётся,
И обернётся мир войною.
Луч Божьей силы слаб и тонок,
И оттого дышать мне нечем.
В двуногом стаде человечьем
Я потерялась, как ягнёнок...

* * *

Вот он, венец терновый —
Соль от беды в горсти.
Мне бы успеть лишь Слово
В вечность произнести.
Бьюсь в этой сирой хатке
Жилкою у виска.
Бес ли железной хваткой
Держит меня в тисках...
Я по дорогам бывшим
Ездить одна боюсь.
Печкой давно остывшей
Душу не греет Русь.

* * *

У каждого на свете есть причал,
Куда без злата, славы и победы,
С собою взяв свои ошибки, беды,
Прийти ты можешь, кем бы ты ни стал.
Здесь всё поймут и всё тебе простят,
Седая степь печаль твою излечит,

А над рекою тихий синий вечер
Тебе расскажет, как счастливым стать.
У каждого на свете есть свой край,
Где кто-то ждёт, надеется и верит.
Свой долгожданный и родимый берег
Храни в душе, в пути не предавай.

* * *

А в селе гармонь не играет,
Из динамиков льёт попса,
И у каждого хата с краю,
Ко двору не подпустят пса.
Юбки выше у девок наших,
Ну а совесть скатилась вниз.
Мужики не сохою пашут,
Больше носом, напившись вдрызг.
Миг короче, тоска длиннее,
И черствеет душа, как хлеб.
Может, Боже, тебе виднее,
Но порой ты бываешь слеп.

* * *

Аукай, не аукай — нет аула...
И нет меня, лишь ветер на коне!
Я в диких снах степного саксаула
На небо вышла по земной струне.
Не окликай, плыву в вечерней лодке.
Мой лик ордынский выпила луна.
Стихи мои узнаешь по походке,
И это значит, я была нужна.

* * *

Ещё одна струна оборвалась,
Играя песню жизни на пределе.
Ещё одна звезда в ночи зажглась,
А на земле её не доглядели.
Как всё же ярко, яростно он жил,
На всех души порою не хватало.
Он щедро теплоту свою дарил,
А сердце бесконечно греть устало.

* * *

Сдаёшься невгодам метельным,
Как листьев увядшая рать.
Серебряный крестик нательный
Не пропуск в неведомый рай.
Живи не с пустыми глазами
Убитых морозом синиц.

Пусть маятник времени замер,
Нет пробных у жизни страниц.
Пусть время твоё так нелепо
Уплыло прогнившей доской.
Вода пахнет кровью и небом,
А воздух кислотной тоской...
И всё же, чтоб выстоять, в ракурсе
Берёшь не окно — небеса.
И климат душевный на градус
Поднимется, вспыхнут глаза.
Глядишь: бесконечна дорога
И вечен рассветный пожар,
Пока на мизинце у Бога
Раскрученный вертится шар.

* * *

Унынье ныне небу не к лицу,
Прошли дожди, но глуше окна стали.
Зимою рады даже письмецу,
Когда ветра с тоскою бьются в ставни.
Дождём и ветром листья сочтены,
Ворона спит, нахохлившись от стужи.
Скосила ночь закат серпом луны,
Летает снег, не тает льдица в лужах.
Здесь ночь без дна, как чёрная вода,
Окаменело утро от мороза.
Сжигает воздух стынь и немота,
Готова степь для зимнего наркоза.
А завтра буря будет ворожить,
И будем вновь откапывать сараи.
Зимой дорога, словно ветка в жизнь,
Снега вокруг от края и до края...

* * *

Ты пальцем небу не грози,
Играть с судьбой своей негоже.
Кривая вывезет, быть может,
А может, вывозит в грязи.

* * *

Я забываю, что стихи горчат,
Что вновь по жизни лента невезенья.
Ведь стих летит на свет без опасенья,
Пока в душе моей горит свеча.
Плохой, хороший — это мне не важно,
Держусь за ним, готова всё отдать.
Не потому, что с ним легко летать,
А потому, что падать с ним не страшно.

* * *

Не знаем, что будет — огонь или лёд,
Где выпадет крылья сложить.
А если бы знали мы всё наперёд,
Была б интересною жизнь?
Неясно, какая заглохнет из троп,
Все вьются и манят — пойдём!
Где дерево — лодка, где дерево — гроб,
Не видно в лесу молодом.

* * *

Покажите мне мир, где от горя не сходят с ума,
Где летают мечты и живут в чемоданах секреты,
Где деревья поют, поднимаются к небу дома,
И под утро луна заряжает надеждой рассветы.
Покажите мне мир, где приучено счастье к рукам,
Где в карманы окон Бог кладёт исполненья желаний,
Где, не зная границ, разливается жизни река —
Без потерь и тоски, и без горьких минут испытаний,
Где в садах и теплицах любовь и надежда растут,
Обвивая кусты и деревья, как в джунглях лианы.
Покажите мне мир, где лишь добрые люди живут
И на белых листах уплывают стихи в океаны.
Покажите мне мир — тот, который я вижу во сне...



Берега малых жанров

Священник Николай Толстик

Николай Александрович Толстик родился в 1958 году в городе Кадникове Вологодской области. После службы в армии работал в районной газете. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в 1999 году (семинар Владимира Орлова) и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В настоящее время — священнослужитель храма святителя Николая во Владычной слободе города Вологды. Публиковался в газетах «Литературная Россия», «Наша Канада», «Горизонт» (США), журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум-АРТ», «Наша улица», «Русский дом», «Вологодская литература», «Север», «Лад», «Крециатик» (Германия), «Новый берег» (Дания), «Венский литератор» (Австрия), «Слово/Word» (США), альманахе «Литрос». Автор книг прозы «Лазарева суббота», «Пожинатели плодов», «Приходские повести», вышедших в Москве. Победитель в номинации «проза» международного литературного фестиваля «Дрезден-2007», лауреат «Литературной Вены-2008 и 2010». Член Союза писателей России.



Приходинки

Почти святочная история

Дядюшка мой Паля был не дурак выпить. Служил он на местной пекарне возчиком воды и, поскольку о водопроводах в нашем крохотном городишке в ту пору и не мечтали даже, исправно ездил на своем Карюхе на реку с огромной деревянной бочкой в дровнях или на телеге, смотря какое время года стояло на дворе. Хлебопечение дело такое, тут без водицы хоть караул кричи.

Под Рождественский праздник в семье нашей запарка приключилась. У мамы суточное дежурство в детском санатории, а у папы какой-то аврал на работе. Как назло. Они ж со мной, годовалым наследником, по очереди тетешкались. Сунулись за подмогой к тете Мане, жене дяди Пали; она, случалось, выручала, да запропастилась опять-таки куда-то, к родне уехала.

Дома лишь дядя Паля, малость «поддавши», сенцом своего Карюху во дворе кормит.

— Какой разговор! — охотно согласился он, когда родители мои пообещали ему по окончании трудов премию в виде чекушки. — Малец спокойный, не намаесси!

На том и расстались...

Соседи потом рассказывали, что, понянчившись некоторое время, дядя Паля забродил обеспокоено по двору, потом запряг в дровни Карюху, вынес сверток с младенцем.

— Это ты куда, Палон?! — окликнул кто-то из соседей.

— Раззадорили вот чекушкой-то... И праздник опять же, — скороговоркой ответил дядя Паля, залезая на передок дровней с младенцем на руках и в надвигающихся сумерках чинно трогаясь в путь.

Родители пришли за мной поздно вечером, и каков, вероятно, был их ужас, когда они увидели, как из дровней соседи за руки и за ноги выгружают бесчувственное, покрытое куржаком инея тело дяди Пали и влекут в дом.

— А где ребенок?

— Что за ребенок?

Карюха дорогу домой знает, дядю Палю сам привез: что человек тебе, только не говорит. А дядя Паля молчит, как партизан на допросе, только мычит невнятно да глаза бессмысленные таращит.

Эх, как все забегали, заметались!..

В это самое время, ближе к полуночи, на пекарне бабы готовили замес. Пошли в кладовку за мукой и вдруг услышали плач ребенка. Те, что постарше, суеверно закрестились: «Свят, свят, свят...», а помоложе, полюбопытнее прислушались и обнаружили младенца в ларе с мукой.

Тетешкали и долго недоумевали: откуда же чудо-то явилось — хорошенькое, розовенькое, пока не вспомнил кто-то про дядю Палю, видали, дескать, его в качестве няньки. А дальше бабье следствие двинулось полным ходом: с мужиками-грузчиками дядя Паля тут, возле кладовки, свой законный выходной и заодно праздник отмечал. Стал раскручиваться клубочек...

Родным находка такая в радость, рождественский подарок! Об истории этой до сих пор в городке вспоминают, узнают все — много ли я в жизни мучаюсь, маюсь, раз в муке нашли. Только об одном хроники умалчивают: как и чем был премирован мой бедный нянька дядя Паля, это осталось семейной тайной

Про старца Фёдора

Духовное училище открылось в нашем городе в начале «лихих девяностых». Своего помещения у него не было, занятия проходили в классе обычной школы, и за парту для первоклашки не мог взгромоздиться иной верзила студент.

Студенты — народ разношерстный: кто Богу готов служить, а кто просто любопытствует. Преподаватели — только-только вырвавшиеся из советских цепких лап уполномоченных отделов по делам религий немногочисленные местные батюшки.

Историю Ветхого Завета вел у нас отец Аввакумий, добродушный лысоватый толстячок средних лет. «База» — учебников нет и в помине, а семинарские конспекты у батюшки, видать, не сохранились или свое время он не особо усердствовал, их составляя.

Нацепит на нос очки отец Аввакумий и монотонно читает текст из Ветхого Завета. Или кого из учеников это делать благословит.

Потом прервет резко:

— А давайте я вам расскажу про старца Фёдора!

И вдохновенно повествует о молитвенных подвигах местночтимого святого.

В конце года батюшка экзамен принимал просто:

— Кому какую оценку надо поставить?

Школяры во все времена скромностью не отличались: ясно — «отлично»!

Вот только отец ректор училища усомнился в таких успехах и устроил переэкзаменовку.

Вызывал по одному.

Сидит перед ним студент, ерзает беспокойно, что-то невнятное мямлит, а потом вдруг заявит решительно, точно отрубит:

— Давайте я вам расскажу про старца Фёдора?!

И так — второй и третий...

Что ж, первый блин комом, а второгодники они и в Африке — второгодники.

Накануне референдума

Наш алтарник Вася, про таких говорят — взрослый паренек, приобрёл на воскресную службу за спанный, вялый, тетера тетерей. То ли за ночь не выспался, то ли кто-то ему в том помешал. Только за что ни возьмется Вася, все из рук у него валится. На службе кадило не вовремя батюшке подаст; все в алтаре в требуемый уставом момент делают земной поклон перед Святыми Дарами, а Вася, задумавшись о чем-то своем, стоит столбом, ушами только не хлопая. К концу службы вдобавок и горящие угли из кадила по полу рассыпал.

— Все, Василий, хватит! — укоряет его настоятель. — Иди-ка и отбей сто земных поклонов посреди храма перед аналоем! Может, проснешься... Через руки-ноги и спину быстрее получится!

Вася честно и истово бьёт перед аналоем поклоны. Тут как тут сердобольные бабульки-прихожанки, его окружают, жалеючи вопрошают:

— Что ж ты так, Васенька?!

Вася, отбив последний поклон, кряхтя и обливаясь потом, находчиво-бодро отвечает:

— Я за Крым молюсь! Чтоб там всё хорошо было!
Патриот.

Смиренный человек

Смотритель при храме — должность, в общем-то, женская. Дел и делишек всяких — уйма! Надо подсвечники после службы протереть, воду для крещенской купели нагреть и принести, за порядком в храме следить. Хоть за чистотой, хоть за лихими людишками, норовящими что-нибудь спереть.

Времена менялись...

Храм наш стоял возле городского рынка и, бывало, подвергался набегам разных чудаков. Один прямо на середине вытряхнул полный ящик румяных яблок, видать, для пущей своей торговли. Другой чудачина бутылки с пивом по деревянному полу с грохотом кататься запустил, не иначе от алкоголизма надеясь отшатнуться. Третий — произносящего на солее ектению диакона по плечу хлопнул и пьяно поинтересовался: «А в ухо хошь?!». Но диакон был не робкого десятка и с достоинством ответил: «Отдачей не замучаешься?».

Бузотера незамедлительно и ловко «упаковал» наш новый смотритель Ваня, вытащил провериться на улицу...

Ваня, крепкий мужичок за пятьдесят, прибил к храму на радость прочим бабушкам-смотрительницам, поселился бобылем в сторожке. Обходительный и вежливый с коллегами он не чурался всякой работенки — только седая его голова то тут, то там в храме мелькала. Лихоимцам с улицы надежный заслон был поставлен. Одного даже Ваня поймал с поличным — вывернул из-под полы сворованную икону. Огрел «экспроприатора» несильно по загривку и вытолкнул восвояси.

Допытывались у Вани — чей он да откуда? Только молчал упорно в ответ смотритель, лишь хмыкал в лохматые свои усы.

— Вот смиренный какой человек... — шамкали старушонки.

Тайна разрешилась в День Победы.

Ваня пришел на службу в парадной офицерской форме с орденами и медалями на груди. Прихожане взирали на сие «явление» с раскрытыми ртами, кто-то из старушонок робко поинтересовался:

— Где ты, Ваня, успел повоевать? Вроде еще и не старый...

Ваня, как всегда, немногословен:

— В Афгане. Дворец Амина брал.

После праздника Ваня вдруг пропал, никто из наших прихожан не повстречал его больше. Уехал, видно, куда-то. Туда, где его не знают.

Жертва

Отец Василий из протоиереев прежних, жизнью вдоволь «тертых», в советскую пору уполномоченными по делам религий вдосталь «обласканный», насмешек от атеистов разных мастей в свое время натерпевшийся...

В ельцинскую эпоху народ валом повалил в восстанавливаемые храмы. Стоят такие люди на службе, переминаются с ноги на ногу, плятятся по сторонам недоумевающе, не ведая, что надо делать.

Отец Василий и вразумляет таких с амвона:

— Не умеете молиться — кладите деньги! Все посильная жертва ваша Господу будет...

Во славу божию!

В алтаре храма в определенные моменты службы священнослужителям разрешается уставом сидеть. Наш игумен, видимо, для пущего смирения этим послаблением пренебрегает: стоит и стоит себе, молится...

Но однажды присел-таки, то ли неважно себя почувствовал, то ли просто устал.

— В кои-то веки! Не иначе, жалованье всем прибавят! — воскликнул кто-то из малоимущих пономарей.

И точно, как по заказу, на другой день — желанная добавка!

Теперь игумена на каждой службе с участливым видом просили пономари присесть, даже мягким стуликом обзавелись и его игумену старательно подставляли...

Тщетны попытки! Не так прост игумен, опять стоит перед престолом Божиим несокрушимо. И еще наставляет жаждущих дополнительного «сребра»:

— Потрудитесь-ка просто, во славу Божию!

На всякий случай

На дальний приход приехал строгий архиерей, заметил какие-то неполадки.

За трапезой — напряженное молчание.

Местный батюшка, прежде чем вкусить скромных яств, осторожно перекрестил свой рот.

— Зачем вы это делаете? — раздраженно спросил владыка.

— На всякий случай. Чтобы бес не заскочил.

— А может, чтоб не выскочил?

Деловое предложение

Одолели бомжи. С холодами порядочной компанией обосновались в притворе храма, хватают за рукава прихожан, «трясут» милостыню. Настоятель, бедный, не знает как отбиться от них: иной здоровенный дядя, одетый в шмотки с чужого плеча куда как «круче» многодетного молодого батюшки, гнусавит протяжно, заступая дорогу:

— Я кушать хочу! Дай!..

Выручает казначей — тетка бывалая, «третья» жизнью. Храм, хоть и в центре города, но верующим возвращен недавно, обустроиваться в нем только-только начали. Чтоб не застынуть в мороз, поставили печки — временки, привезли и свалили на улице возле стены храма воз дров.

Казначей и обращается к бомжам с деловым предложением:

— Берите рукавицы, топоры, и — дрова колоть! Всех потом накормим!.. Ну, кто первый, самый смелый? Ты?

Бомж в ответ мнетя, бормочет себе под нос: « Да я работать-то и отвык... » и — бочком, бочком — на улицу!

Следом — остальные. Как ветром всех сдуло!

Не зазнавайся!

Настоятель храма из районного городка давненько в областной столице не бывал, даже архиерей успел поменяться.

Надо ехать, брать благословение у нового.

Приехал, зашел во двор епархиального управления. Видит: автомобиль чинят, из-под него ноги чьи-то торчат. Батюшка был то ли из отставных вояк, то ли из «ментов», церемониться с простым, да тем более с обслуживающим, человеком особо не привык:

— Эй ты, водила! — окликнул он ремонтника и даже по подошвам ботинок того легонько попинал. — Не знаешь, новый владыка на месте?

Ремонтник молча и неторопливо выбрался из-под автомобиля и, обтирая тряпкой испачканные маслом свои руки, с нескрываемым любопытством поглядел на вопрошавшего:

— Вообще-то, я не — водила, а ваш новый владыка!

Батюшка тут и сел...

Советское воспитание

Из трапезной храма подкармливают бомжей. Повариха выносит им на улицу кастрюлю с супом.

Минута — суп проглочен. С пустой посудиной в руках стучится в двери пьяненькая пожилая бомжиха, говорит деловито:

— «Второе», пожалуйста!.. И десерт!

Святой

В разгар грозы молния ударила прямо в купол колокольни стоявшей на бугре на отшибе от городка церкви. Вспыхнуло гигантской свечой, даром что и дождь еще не затих.

Пусть и времечко было советское, атеистическое, храм действующий, но народ тушить пожар бросился дружно.

Потом батюшка одарил особо отличившихся мужичков полновесными червонцами с ленинским профилем.

Мужики бригадой двинулись в «казенку», событие такое отпраздновали на полную «катушку». Потом постепенно, по прошествии лет, все бы и забылось, кабы не опоек Коля — в чем только душа держится. Всякий раз, торча в пивнушке на своих, колесом, ногах за столиком, он вспоминал геройский подвиг. И втолковывая молодяжке, что если б не он, то б хана делу, «сгорела б точно церква!», блаженно закотив глаза, крестился заскорузлой щепотью:

— Теперь я святой!..

Так и прозвали его — Коля Святой.

Вторая натура

Длинноносый, в очочках, слегка прощелыговатого вида, местного пошиба чинуша Голубок был еще и уполномоченным по делам религии при райисполкоме.

Времена наступили уже «горбачевские», в отличие от своих предшественников, Голубок настоятеля храма в городке не притеснял, постаивал себе по воскресным службам скромненько в уголке возле свечного «ящика».

Скоро «необходимость» в уполномоченных вместе с самой властью и вовсе отпала, Голубка вроде б как выперли на пенсию, но в храме он появлялся неизменно и стоял все на том же месте.

«Не иначе, уверовал в Бога!» — решил про него батюшка и даже поздравить его хотел с сем радостным событием.

Но Голубок потупился:

— Я, знаете ли, захожу к вам по привычке.

«Да! — вздохнул обескуражено настоятель. — Что поделаешь, коли вторая натура!»

Бессребреники

Триня и Костюня — пожилые тюремные сидельцы и не по одному сроку за их плечами: то кого побили, то чего украли. И тут долго на волюшке ходить, видать, опять не собрались: подзудил их лукавый в ближней деревне церковь «подломить».

Двинулись на «дело» глухой ночью, здоровенным колом приперли дверь избушки, где дрых старик-сторож, оконце махонькое — не выскочит, и, прилагая все нажитые воровские навыки, выворотили четыре старинных замка на воротах храма.

Побродили в гулкой темноте, пошарились с фонариком. В ценностях икон ни тот, ни другой не пендрили и потому их и трогать не стали. Наткнулись на деревянную кассу для пожертвований, раскокали, но и горсти мелочи там не набралось.

— Тю! — присвистнул радостно Триня. — Бросай эту мелочевку, тут в углу целый ящик кагора!..

На задах чьего-то подворья, в сараюшке устроили налетчики пир. Тут их тепленькими и взяли. Когда их вязали, возмущались они, едва шевеля онемевшими языками:

— Мы че?! Ни че не сперли, верим так как Кагор и тот выпить не успели.

Присоседились

На заре Советской власти в моем родном городке тоже предавались всеобщему безумию — переименовывать улицы. Прямо пойдя — Политическая, вбок поверни — Карла Маркса.

Проходя по центральной улице, спросил я у девчонок из местного сельхозколледжа: знают ли в честь кого улица названа — Розы Люксембург?

Те хихикнули, блеснув белыми зубками:

— Да в честь какой-то международной «прости-господи»!

А уж кто такой по соседству Лассаль, ни каждый здешний учитель истории наверно ответит.

Эх, погуливали когда-то наши предки по Соборной, назначали свидания на тихой, утопающей в кустах сирени, Старомещанской, в воскресный день шли на службу в храм по Никольской!

Отреставрировали у нас недавно часовенку, освятили для верующих, в угловом здании бывшего горсовета открыли воскресную школу. Красивыми такими большими буквами на стене ее название написали.

А чуть выше старая вывеска-указатель: улица Коммунистов.

Присоседились.

Тридцать сребреников

Писатель служил диаконом в храме. Дожил и дослужил он до седой бороды; писателем его никто не считал и называл если так — то по-за глаза, ухмыляясь и покручивая пальчиком возле виска.

Мало кто знал, что на дне старинного сундука в отцовском доме лежала толстая стопка исписанных бумажных листов, «семейная сага» — история рода, над которой он в молодости за столом корпел ночами. Все встряхивающие в прошлом веке «родову» события, образы дедов и бабок, дядек и теток, удачливых в жизни или бесшабашных до одури, укладывались помаленьку в главы книги.

Тогда же он, с радостным трепетом поставив последнюю точку, послал рукопись в один из журналов, и оттуда, огорошив, ему ответили, что, дескать, ваши герои серы и никчемны и что от жизни такой проще взять им лопату и самозакопаться. А где образ передового молодого рабочего? Нету?! Ату!!!

Обескураженный автор спрятал рукопись в тот злополучный сундук, втайне все же надеясь, что еще придет ее время...

О своей «саге» диакон, видимо, обмолвился кому-то из иереев, тот — еще кому-то, узнала о ней и одна интеллигентная бабушка-прихожанка, решила помочь. Схватила диакона-писателя за рукав подрясника и потащила к спонсору. Куда ж ныне без них, сердешных, денешься, тем более среди прихожан таковые имелись. А этот, по слухам, еще и из поповичей выходец.

В назначенный час диакон и тетка топтались у подъезда особняка-новодела в центре города. Хозяин его, глава фирмы по продаже чистой воды за рубеж, лихо подрулил на иномарке. Ладный такой старичок, спортивного вида, в отутюженном костюмчике; глаза из-под стеклышек очков — буравчики. Рукопожатие крепкое.

— Преображенский! — представился он и сказал диакону: — Вы давайте сюда свою рукопись, я ознакомлюсь и решу. Вас, когда понадобится мне, найдут...

Переживал, конечно, писатель несколько томительных дней и ночей, мало ел, плохо спал. Наконец, позвонили прямо в храм за свечной «ящик»: Преображенский приглашает.

Он ждал диакона на том же крыльчке, вежливо открыл перед ним дверь в офис; охранник-детина, завидев за писателем шефа, вскочил и вытянулся в струнку.

Преображенский провел гостя в свой большущий просторный кабинет с развешенными на стенах полотнами-подлинниками местных художников.

— Вас, наверное, предупредили... — начал он разговор. — А, может, и нет. Я был начальником отдела контрразведки одного известного учреждения. Впрочем, ладно, не в этом суть.

«Вот влип!» — подумал про себя диакон и слегка вспотел.

— Откуда вы для своей книги сведения черпали? Героев своих расписывали? Из рассказов родственников, соседей? Да? Но всегда ли эти байки объективны были, не обиду или злобу затаив, сочинял иной гражданин разные «страшилки» про коллективизацию или работу «органов»? Вас-то в это время еще не было на свете!.. У меня самого прадед-священник в двадцатом году во дворе тюрьмы от сердечного приступа преставился, когда на допрос чекисты выкликнули. Но мне это родство потом в жизни помехой не стало...

Преображенский говорил и говорил, не давая бедному писателю и слова втиснуть. Оставалось только тому согласно мычать да глаза пучить.

— Зачем еще одна такая книга, где о советском прошлом так плохо и ужасно?.. Денег на издание ее я вам не дам... Но не спешите откланиваться! — остановил диакона несостоявшийся спонсор. — У меня есть к вам деловое предложение. А что если вы напишите такую книгу, где коллективизация, «чистки» и все другое было только во благо, во имя высшей цели?! Вот это вас сразу выделит из прочего мутного потока! А я готов платить вам жалование каждый месяц, такое же, как у вас в храме. Подумайте!

Диакон вышел на крыльцо, нашел взглядом маковки церковных куполов невдалеке и, прошептав молитву, перекрестился.

Ничего не стал он писать. А рукопись свою опять спрятал на дно сундука.

Противостояние

Ильич стоит к храму боком, вроде б как с пренебрежением засунув руки в карманы штанов и сбив на затылок кепку. На пьедестале — маленький, в свой натуральный рост, измазан черной краской.

Храм в нескольких десятках метров от статуи, в окружении рощицы из старых деревьев, уцелел чудом на краю площади в центре города. Всегда был заперт на замок, окна закрыты глухими ставнями.

Однажды в его стенах опять затеплилась таинственная, уединенная от прочего мира церковная жизнь...

Но и на пустынной площади возле Ленина разместился «аква-парк» с качелями-каруселями, надувными батутами, развеселой, грохочущей день-деньской, музыкой. О вожде мирового пролетариата тоже не забыли: как любителю детей, под самый нос ему заворотили ярко раскрашенную громадную качалку. Только дети то ли не полюбили, то ли просто побоялись качаться тут или благоразумные родители им запретили это. Визжали, дурачились на качалке молодые подвыпившие тетки, а с лавочек возле постамента, опутанного гирляндой из разноцветных помигивающих лампочек, их задирали тоже «хватившие» лишку молодцы с коротко стриженными, в извилинах шрамов, головами и в грязных потных майках, обтягивающих изляпанные синевой наколок тела.

Не думал я, проходя мимо их на службу, что неожиданно-негаданно эта «накачанная» компания, спасаясь от жары или вовсе теряя всякую ориентировку во времени и пространстве, ввалится в храм...

Служили на Троицу литию. Выбрались из зимнего тесного придела в притвор напротив раскрытых врат просторного летнего храма, выстывшего за долгую зиму и теперь наполненного тяжелым влажным воздухом. Из окон под куполом пробиваются солнечные лучи, высвечивают, делая отчетливыми, старинные фрески на стенах. Как на корабле среди бушующего, исходящего страстями, людского моря!

Молодцов, пьяно-шумно загомонивших, тут же, зашипев и зашикав, выпроводили обратно за порог бабульки-смотрительницы. Один все-таки, в ярко-красной майке, загорелый до черноты, сумел обогнуть «заслон» и, качаясь из стороны в сторону, пройти в гулкую пустоту летнего храма. Возле самой солеи, у царских врат, он бухнулся на коленки и прижался лбом к холодному каменному полу. Старушонки, подскочив, начали тормозить и его, чтобы вывести, но батюшка махнул им рукой: пускай остается!..

Торжественно, отдаваясь эхом под сводами храма, звучали слова прошений ектении, хор временами подхватывал стройным печальным многоголосьем: «Господи, помилуй... Господи, помилуй!». В эту симфонию вдруг стали примешиваться какие-то неясные звуки. Мы прислушались. Да это же рыдал тот стриженный в майке! Бился испещренной шрамами головой об край солеи, просил, умолял, жалился о своей, скорее всего, несуразно и непуतेво сложившейся жизни. Что творилось в душе его, какое скопище грехов рвало и кромсало ее на мелкие кровоточащие части?!

Вот он утих и лежал так ничком на полу до конца службы. Потом бабульки помогли ему подняться и повлекли его к выходу из храма, умиротворенного, притихшего, с мокрым от слез лицом.

А молодой батюшка, вздохнув, сказал:

— Проспится в кустах под Лениным и все свое покаяние забудет. А жаль...

Власть без пола

В самом древнем соборе в городе власти разрешили отслужить Пасхальную Вечерню.

Собор — музей, в гулком его нутре холодно, сыро. За толстыми стенами вовсю бушует весна, а здесь впору в зимнюю одежду упаковываться.

В алтаре священнослужители терпеливо ждут архиерея, разглядывают старинные фрески на стенах.

Вдруг в алтарь бесцеремонно влетает немолодая дама, затянутая в джинсовый костюм с блестящими заклепками, на голове — взлохмаченная кудель рыжих крашенных волос.

— Вы куда? Женщинам же сюда нельзя! — с тихим ужасом восклицает кто-то из молодых батюшек.

— Я не женщина! — нисколько не смущаясь, отвечает «джинсовая» дама. — Я главный инженер!

И неторопливо бродит по алтарю, смотрит на датчики на стенах, фиксирующие процент влажности, записывает что-то в блокнотик.

Сделала свое дело и — как ни здрасьте, так и ни до свидания!

Все оторопели. Немая сцена...

По времени

Местный юродивый Толя Рыков сидит на паперти храма, как обычно, лопочет что-то взахлеб. Нет-нет да и проскочит в его речах крепкое словцо.

Солидная дама, выходя из храма и все-таки, видать, собирающаяся пожертвовать Толе копеечку, сожаляющее-брезгливо поджимает подкрашенные губы:

— Какой он у вас блаженный? Вон, как матом ругается!

Опрятная старушка рядом отвечает:

— Так это он по топерिशному времени...

Все-таки польза!

Бабулька тащит батюшке связку сухих позеленевших баранок:

— Хотела вот поросенку отдать... Да ты возьми! Хоть помолишься о мне, грешной!

Без греха

Благообразного вида старушонка священнику:

— Ой, батюшко, хотела бы причаститься да все никак не получается!

— Иди на исповедь! — отвечает ей молодой батюшка. — Знаешь, что в Чаше-то находится?

Старушонка хитро поглядывает, почти шепчет заговорщески:

— Знаю... Да только не скажу.

— Евангелие читаешь? — продолжает допытываться священник.

— На столе всегда лежит, — отвечает бабулька.

— Так читаешь?

— Так на столе-то оно ведь лежит!

— Много грехов накопила?

— Ох, батюшко, много-много! — сокрушенно всплескивает ручками старушка.

— Перечисляй тогда!

Бабулька задумывается, вздыхает вроде б как с огорчением:

— Да какие у меня грехи? Нету...

День ангела

Староста Вонифатьич имел обыкновение приглашать в храмовый праздник за трапезу нужных людей. Необязательно спонсоров, то бишь благодетелей, но и тех, через кого можно что-то для прихода «пробить» или достать. Староста был еще тот проныра.

И в этот раз на Николу заявили три «именитых» именованника. Стоящими на службе их никогда не видывали. За праздничным столом, когда они обсели настоятеля и старосту, прочая братия храма смогла их хорошо разглядеть.

Тем более Вонифатьич представил всех:

— Этот раб Божий Николай — председатель фракции коммунистов в городской думе.

Плотный пожилой здоровячок с пороссячьими глазками учтиво кивнул.

— А этот Николай, — продолжал староста. — Бывший сотрудник КГБ, в свое время уполномоченный по делам религий. А ныне — депутат законодательного собрания.

Вонифатьич в почтительном поклоне согнулся над столом, почти касаясь бородой тарелки, на что краснощекий толстяк протестуяще замахал пухлыми руками:

— Что вы, что вы? Не надо, я человек скромный!

Третий Николай — глаза спрятаны за непроницаемой завесой дымчатых стекол очков, тонкие губы поджаты в строгую ниточку, оказался замом председателя торгово-промышленной палаты.

Староста возглашал в честь гостей цветистые тосты, но потом как-то поиссякли у него хвалебные слова, тоже есть им конец и край. Над столом вдруг зависла долгая выжидательная пауза.

Но нашелся и тут Вонифатьич. Закатил глаза и с чувством выдохнул:

— А хорошая школа был комсомол! Всех в люди вывел!

И один глаз хитро приоткрыл.

— Да, да! — зашумели радостно гости и зазвякали бокалами.

Молчал только и не потянулся за стаканом старый диакон. В комсомоле он никогда не состоял, с мальчишек ходил на праздники в храм, уворачиваясь от комсомольцев-дружинников с красными повязками на рукавах. За столом сейчас вроде б как те знакомые лица ему померещились.

О том, что у диакона тоже сегодня — день ангела и не вспомнили. Не в тему...



Берега малых жанров

Владимир Молчанов



Родился в 1947 году в станице Ильской на Кубани. Детство и школьные годы прошли на Белгородчине, в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Окончил Белгородское музыкальное училище и Воронежский государственный университет.

Автор двенадцати книг стихотворений, поэм и переводов, двух юмористических сборников литературных баек, трёх сборников песен и романсов.

Публиковался в различных журналах и альманахах Москвы, России, Украины, Казахстана и др., во многих коллективных сборниках и других изданиях. Стихи переводились на немецкий, польский, болгарский, украинский и азербайджанский языки.

Член Союза писателей СССР, России, член Союза журналистов России, член-корреспондент Академии Поэзии, лауреат ряда Всероссийских и региональных литературных премий. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почётный гражданин г. Шебекино и Шебекинского района Белгородской области.

Литературные байки

Печаль поэта

Разговаривают детский поэт Вячеслав Колесник с детским поэтом Юрием Макаровым. И вдруг Колесник говорит:

— Хорошо тебе, Юра, ты живёшь на улице Сосновой. Вот умрёшь ты — назовут улицу твоим именем — Макарова. А я вот живу на улице Есенина...

На премию «не клюёт»

После того, как поэт Михаил Кулижников получил Всероссийскую литературную премию «Прохоровское поле», он, со своим бывшим коллегой по работе в Белгородской государственной филармонии Евгением Алешниковым, поехал на рыбалку. Алешникову на этой рыбалке везло — он поймал чуть ли не целое ведро рыбы, а Кулижников — всего одну рыбёшку. Видя такое невезение, Алешников сочувственно то ли сказал Кулижникову, то ли спросил у него:

— Что, Миша, на премию «не клюёт»?!

Возразить нечего

Тот, кто знает поэта-белгородца Василия Лиманского, может подтвердить, что на его светлой талантливой голове практически нет волос.

Однажды я позвонил ему и пригласил, как члена ревизионной комиссии, на заседание правления нашей писательской организации. До начала этого заседания было ещё больше трёх часов, а добираться Василию Ивановичу от дома до Союза писателей максимум полчаса.

— Не приду, — твёрдо сказал Лиманский. — Я только что помыл голову и не успею её высушить.

Ну что я мог ему на это возразить!

Долгожданный юбиляр

Белгородской поэтессе Майе Склярской позвонила журналистка Татьяна Зайцева и пригласила её на заседание женского клуба, посвящённое юбилею великого Кобзаря — Тараса Григорьевича Шевченко.

Муж Майи, узнав об этом приглашении, спросил её:

— А кто такой Шевченко?

— Поэт, — ответила Майя.

— А сколько ему лет? — поинтересовался муж.

— Сто девяносто, — ответила Майя.

— И что, он до сих пор ходит к вам в клуб?! — удивлённо воскликнул муж Майи Склярской.

Однако, щёголь!

В Белгороде и области проходили Дни литературы. Рано утром с московского поезда надо было встретить гостей-писателей. А я, как назло, чуть не проспал. Прибежал на вокзал впритык к поезду. Когда встречали гостей, ко мне подошёл Витя Череватенко и тихонько сказал:

— Ты посмотри, ты же обул разные туфли.

Сначала я подумал, что он пошутил. Но когда посмотрел, то увидел: в самом деле, я впопыхах обул разные туфли.

Посадив гостей в автобус, я на чьей-то машине помчался домой переобуваться.

Уже потом мне рассказал тот же Витя Череватенко. Когда гости расселись в автобусе, Александр Иванович Казинцев, заместитель главного редактора журнала «Наш современник», с которым мы очень дружны, посмотрев вокруг, вдруг спросил:

— А куда же подевался Владимир Молчанов?

Ему сказали, что я поехал домой переобуваться. Ничего не подозревая о моём казусе с обувью, он весело сказал:

— Однако, он у вас щёголь!..

Фиолетовый борщ

Поэт Василий Лиманский — закоренелый холостяк. Ему уже за пятьдесят, а он ещё ни разу не женился. Но глядя на него, никогда не подумаешь, что живёт он без жены: всегда прибранный, аккуратный. И в квартире у него чисто, уютно и круглый год на столе цветы стоят. Стирает себе он сам, квартиру убирает — сам, готовит себе тоже сам.

И вот однажды решил Василий Иванович борщом полакомиться. Пошёл на рынок, купил мяса, свеклу, морковь... Словом, всё что надо. А вот капусты белокочанной на тот момент на рынке не оказалось — разобрали. Он подумал-подумал и купил кочан синей капусты. С ней-то он и сварил борщ. Что было дальше, Василий Иванович рассказывает так:

— Прихожу вечером с работы. Умылся, переоделся... Борщ подогрел. Наливаю в тарелку, и понять ничего не могу: он весь сине-фиолетовый, как чернила. Аж смотреть страшно, не то что есть. Что же делать? А жрать после работы хочется! Я подумал-подумал, а потом свет выключил — и съел!

Фраернулся

Белгородский поэт Геннадий Островский стоял в очереди за билетами в кассу Курского железнодорожного вокзала столицы. Когда подошёл его черёд, он попросил кассиршу Свету продать ему нижнее место в плацкартном вагоне.

— В плацкартных вагонах нижних мест нет, — механическим голосом ответила кассирша.

— Как это нет? — решил фраернуться Островский. — Как это так, что для русского поэта нет нижнего места в плацкартном вагоне!..

— А поэтов, которые ездят на нижних полках плацкартных вагонов, мы не читаем, — мгновенно отреагировала кассирша Света.

Корень русской поэзии

На вечере в литературном музее, посвящённом 30-летию творческой деятельности поэта-белгородца Николая Грищенко, выступил его друг, бывший журналист Вячеслав Михайлович Рябов. Он тепло говорил о книге юбиляра «Дождь на плацу», восторгался творчеством своего друга в целом. Особо Вячеслав Михайлович подчеркнул:

— Николай Грищенко — истинно русский поэт.

И восхищенно добавил:

— В основе своей, я заметил, большинство его стихотворений идут от итальянской классической поэзии...

Сила слова

Поэт Павел Мелёхин и жена поэта-белгородца, актриса театра кукол Нина Данилова, застряли в лифте. Что ж, такое, увы, случается нередко. Чтобы как-то скоротать и скрасить время в ожидании слесарей-ремонтников, они стали рассказывать друг другу различные смешные анекдоты и весёлые истории.

Вызволили их из лифта эти долгожданные горе-ремонтники часа через полтора — не раньше.

Выйдя из лифта «на свободу», Нина Емельяновна набросилась на них:

— Почему вас так долго не было?

А те смущённо в ответ:

— Да мы были. Просто нам так интересно было слушать ваши анекдоты и истории...

«Сожаление»

В посёлке Ровеньки Белгородской области живёт прекрасный детский поэт Юрий Макаров. Он автор нескольких книжек стихов для детей, часто публикуется в детских газетах, журналах, альманахах не только России, но и Украины, Беларуси и даже Монголии...

Как-то приезжаю к нему в гости. Пообедали... Потом Юра достал из письменного стола стопку папок, в которых хранятся его рукописи, вырезки из газет, журналы и стал показывать свои новые публикации, читать стихи. Я с интересом слушал его.

И вдруг я увидел папку, на которой крупными буквами было написано: «СОЖАЛЕНИЕ». Естественно, такая надпись заинтриговала меня и мне не терпелось спросить Юру, что бы это значило. Но Юра увлечённо и эмоционально продолжал читать стихи, показывать и комментировать свои публикации. Наконец, улучив момент, я задал Юре этот вопрос. Он громко засмеялся и весело сказал:

— В этой папке я собираю письма из разных редакций, издательств, которые начинаются словами: «К сожалению, Ваши стихи опубликовать не можем...»

Жестокий романс

Студентка-заочница дирижёрско-хорового отделения Московского института культуры приехала на очередную экзаменационную сессию, как говорится, в интересном положении.

Когда пришло время академического концерта по вокалу, то сокурсники её пытались всячески убедить преподавателя в том, что выходить студентке на сцену в таком положении не совсем, мягко говоря, эстетично, и просили поставить ей зачёт «автоматом». Но тот оказался человеком принципиальным и упёртым — ни на какие уговоры не поддался. И пришлось будущей матери при всем честном народе выходить на сцену. А женщина она от природы и так крупная, да ещё живот — с трудом зрители просматриваются.

И вот ведущая объявляет:

— А сейчас прозвучит романс «Нет, в лес одна я больше не пойду».

«Мы очень любим картошку...»

У поэта-белгородца Виктора Белова есть стихотворение, которое начинается так: «Я очень люблю картошку...». Стихотворение это хорошо известно как в литературных кругах, так и среди читателей, поскольку поэт читает его на всех встречах. Многократно стихотворение это публиковалось в газетах, журналах и книгах.

И вот однажды, в начале сентября, приходит Виктор Иванович в писательскую организацию удручённый, в плохом расположении духа. На вопрос: «Что случилось?» — он безнадежно махнул рукой и коротко ответил:

— Меня обокрали.

Оказалось, что в тот день он с матерью, женой и сыном поехали на свой садовый участок копать картошку. И каковы же были их разочарование и обида, когда они увидели, что картошку на их огороде уже кто-то выкопал подчистую. А на видном месте воры оставили записку: «Мы тоже очень любим картошку!»

Фотография на памятник

Детский поэт и сказочник Вячеслав Колесник — человек весёлого нрава и большой шутник.

Однажды ему понадобилась фотография для подборки стихотворений, которую ему предложили опубликовать в областной газете. Подходящего снимка дома не оказалось и он пошёл в фотоателье.

Фотограф, усадив его на стул, спросил:

— Вам для чего нужна фотография?

Слава серьёзно ответил:

— Для памятника.

— Для какого памятника? — с недоумением посмотрел на Колесника фотограф.

— Для моего, — невозмутимо сказал Слава.

— Вы что — шутите? — начал раздражаться фотограф.

— Ничего я не шучу, — спокойно произнёс Слава. — Просто я решил сделать снимок для своего памятника сейчас, пока ещё имею «товарный вид».

Опилки

Прихожу на работу в Союз писателей, а возле моего стола стоит огромный целлофановый пакет... с опилками. Что за опилки? Откуда? — ничего понять не могу. Кого ни спрошу — никто ничего не знает. Звоню поэтессе Люде Брагиной, нашему директору Бюро пропаганды художественной литературы:

— Люда, ты не знаешь, что это за опилки?

— Знаю, — засмеялась Люда. — Это мне Слава Колесник для моих хомяков привёз из Стрелецкого.

— А где он их взял? — не знаю зачем, спросил я.

— Да жена ж его пилит... — засмеялась Люда.

Приглашение на ночлег

В один из приездов в Москву я позвонил из Союза писателей домой известному русскому поэту Юрию Поликарповичу Кузнецову. Он с провинциальным добродушием, чего практически никогда не дождёшься от коренных москвичей, перво-наперво спросил меня:

— Тебе ночевать-то хоть есть где?

Я ответил, что покамест в гостиницу не устроился, но вопрос, как говорится, решается.

— Приезжай ко мне, — коротко сказал Кузнецов. — Заодно и пообедаешь, а то небось голодный сидишь.

— А я вас не стесню? — смутился я.

— А ты что, слон? — не дал договорить мне Юрий Поликарпович.

С лёгкой душой остался ночевать я у Кузнецова.

Не было бы счастья...

Воронежский радиожурналист Виктор Филин приехал в командировку в село. То ли село ему не понравилось, то ли в хозяйстве дела шли неважнецки, то ли приняли его не совсем гостеприимно, но разбиделся он на всех и в присутствии колхозников пригрозил руководству колхоза:

— Да я такое про вас расскажу, такое расскажу... Вот услышите по радио!..

Одна старушка слушала его, слушала, а потом не выдержала и сказала:

— Ну что ты, милай, расшумелся-то! Ничо мы и не услышим, чё ты расскажешь. У нас ить в деревне-то радиа нетути и николи не былó...

Мысли вслух

Писательница Вера Галактионова рассказывала мне:

— Когда я училась в Литинституте, то очень любила слушать лекции профессора Владимира Ивановича Гусева. И вот однажды, что с ним случилось крайне редко, приходит Владимир Иванович в явно плохом расположении... здоровья. По всему было видно, что ему очень и очень тяжело. С трудом подошёл он к кафедре, на которую с ещё большим трудом взгромоздил свой знаменитый кожаный портфель, из которого тут же донёсся звон явно не пустых бутылок. Владимир Иванович несколько насторожился, затем, как бы успокаивая, прижал портфель руками к кафедре и произвольно пробурчал: «Ох... твою мать...». Потом, осознав, что допустил педагогическую оплошность, поправив очки, спросил у студентов:

— Это я вслух сказал или только подумал?

— Подумали, подумали, Владимир Иванович, — дружно и весело ответили студенты.

Раз пришёл...

На собрании курских писателей шёл разговор о работе с молодыми литераторами. Естественно, говорили о том, что писательская организация как может помогает молодым: печатают первые книги, работают секции... Один молодой поэт слушал-слушал, а потом не выдержал:

— Какая работа с молодыми! Какая? Ну да, есть в писательской организации секция поэзии? Есть! Ну и что? Ведь на этой секции, если придёшь без поллитры, тебя и слушать никто не будет!..

Николай Юрьевич Корнеев, возглавлявший в то время цех поэтов, добродушно возразил:

— Нет, вы только посмотрите на него... Еще возмущается... Раз пришёл и то с чекушкой!..

«Проживу с одною язвой...»

Во Мценске, на Орловщине, жил прекрасный поэт и красивый мужчина Иван Александров. В своё время, когда возраст у него был почтенный, а он всё никак не женился, друзья и знакомые подтрунивали над ним:

— Ваня, жениться пора, созрел ведь...

А он долго отшучивался:

— Не гожусь я для женитьбы. Язва желудка у меня, и вообще...

— Женись, Вань! Жена тебе будет кашку манную варить, супчики всякие диетические... Глядишь, и язва твоя заживёт.

Надоело Ивану Васильевичу выслушивать всякие шуточки-прибауточки с подковырками на предмет его холостяцкой жизни, и он однажды раз и навсегда ответил им стихами:

Мне давно друзья толкуют:

— Ты женись скорее, чёрт!

Все болезни сразу сдует,

Сразу язва заживёт.

Понимаю, принимаю
Дельный дружеский совет,
Долго голову ломаю:
То ли верить, то ли нет?

Я хожу смешной, несвязный,
С тяжкой думой в голове:
Проживу с одной язвой,
Не хочу, чтоб было две!

Математика подвига

На Дни литературы в Белгород приехал фронтовой лётчик, писатель Пётр Фёдорович Гуцал. В писательских поездках сопровождал его белгородский поэт и прозаик, сотрудник Бюро пропаганды художественной литературы, тоже фронтовик Геннадий Семёнович Ураков.

На утреннем выступлении, представляя московского гостя, Ураков сказал, что Пётр Фёдорович сбил двадцать один фашистский самолёт. После обеда, желая возвысить Гуцала в глазах аудитории, Геннадий Семёнович объявил, что на счету бывшего военного лётчика сорок два сбитых самолета. К вечеру количество поражённых Петром Фёдоровичем фашистских стервятников по статистике Уракова выросло до шестидесяти четырёх.

За ужином Гуцал аккуратно, чтобы не обидеть своего коллегу, попросил Геннадия Семёновича впредь не преувеличивать его боевые заслуги.

Выслушав его, Ураков несколько отстранённо налил себе рюмку водки, молча выпил один, закусил. Затем обратился к Гуцалу:

— А что это, Пётр Фёдорович, вам вдруг стало так жалко этих фашистских самолетов?

Возраст — не шутка

Как-то известный русский поэт Виктор Иванович Кочетков пошутил:

— Я сейчас нахожусь в таком возрасте, что когда иду к женщине, то знаю зачем, а прихожу к ней — сразу забываю, зачем пришёл.

И, улыбнувшись, добавил:

— По количеству волос я приближаюсь к Сократу, по зрению — к Гомеру, по слуху — к Бетховену, а по количеству зубов — к Вольтеру.

Именное оружие

В кабинет ответственного секретаря Курской писательской организации Петра Георгиевича Сальникова заходит поэт Егор Полянский и с порога:

— Пётр Георгиевич, мне надо десять рублей! Дело в том, что вчера мне позвонили из Москвы и сказали, чтобы я приехал для получения именного оружия...

Зная Егора Полянского и его неукротимую фантазию, особенно в тех случаях, когда ему невтерпёж нужны деньги, Пётр Георгиевич дал ему десять рублей и сказал:

— Поезжай, Егор, в Москву, и пускай тебе там хоть царь-пушку вручают!..

Мера свежести

Спрашиваю продавщицу:

— Девушка, скажите, пожалуйста, у вас есть томатный сок?

— На витрину смотреть надо. Есть... — сердито отвечает она.

— А он свежий? не просрочен? — интересуюсь я.

— Конечно, свежий, — ещё больше раздражается продавщица. — Он у нас не успевает *просрачиваться!*

Калининградские берега

Леонид Глинский



Поэт, музыкант. Печатался в литературных рубриках газет, в альманахах.

О себе:

*И жив, и весел,
И неистоим!
Чем больше отдаю —
Тем больше получаю.
И счастлив я,
Даря добро другим...
Хоть не всегда мне
тем же отвечают.*

* * *

Над Неманом зарниц далёких всполохи,
И звёзды тихо падают в траву...
В часы такие, как они мне дороги,
Я остро ощущаю, что живу.

Я чувствую земли прикосновение,
И космоса величественный взгляд.
И в эти бесконечные мгновения
Не важно, что пророчества сулят.

Загадочно мерцают искры бакенов.
Блестит огнями город вдалеке.
И, отражая, небо чувств заплаканных
Уносит вдаль течение налегке.

Тих шелест трав, плеснёт ли рыба крупная,
Да чуть журчит на стрелах кос вода.
Тут тишина живая и доступная,
Смешавшая «мгновенно» и «всегда».

Едва клубясь, как в пору мироздания,
Плывёт туман над древнею рекой.
И остаётся лишь очарование.
И мир вокруг. И на душе покой.

В любом краю, в проблем зарывшись ворохе,
Остановлюсь, и вдруг, как наяву:
Над Неманом зарниц далёких всполохи,
И звёзды тихо падают в траву...

Странная осень

Дремлет город, уткнув в одеяло дождя,
свои острые плечи.
Я с собою на память возьму, уходя,
этот пасмурный вечер.
И, смахнув осторожно дождевки с лица
на усталую посинь,
я, возможно, вернусь, но с другого конца
в эту странную осень.
Я, возможно, вернусь, но потом, не теперь,
в эту гавань печали.
Приоткрою неслышно тяжёлую дверь,
и корабль мой причалит.
Я тихонько войду, ничего не сказав,
сброшу сумку у двери...
И за сетью морщин угадаю глаза -
те, в которые верил.
В этом мире немислим покой и уют -
здесь они неуместны.
И какие еще испытания ждут -
только Богу известно.
Будет зимняя стужа за шиворот лезть...
Будет пекло и жажда...
Будет трудно порой уберечь свою честь...

Будет всё.
Но однажды
Чей-то взгляд обожжёт, словно бы и чужой,
но знакомый до боли.
И меня эта странная осень найдёт
и укором уколёт.
И протянется тонкая нить, и года,
и пространство пронзая.
Мы всегда возвращаемся, даже когда
насовсем исчезаем.

* * *

Трепещут на ветру
Худые облака.
Незримая рука
Срывает листья с дуба.
И радужная грусть
Осеннего мазка
Так трепетно легка
На грунте серо-грубом.

Высокая тоска,
Покой и неуют
На стыке двух стихий,
Когда одна – бессильна.
И утром с высока
Уж птицы не поют...
Но пишутся стихи
Печально и обильно.

Лишь заполдень – и мгла
Смывает все цвета,
И сумерек волна,
И ночь уж на подходе.
Мерцает на стволах
И в озере вода –
Там плещется луна
В оборванных лохмотьях.

* * *

Не упускать тебя из виду
И разрывать себя на части;
Скрывая боль, сглотнуть обиду,
Смеяться и рыдать от счастья,
И умирать, и возрождаться,
Вновь умирать, рождаться снова...
И догонять, и дожидаться
Прикосновенья, взгляда, слова...
Случайных радостей крупницы
Сплавливать в сияющие слитки,
Чтоб фиолетовую кровью
Стихов пролиться на страницы,
Казня себя той страшной пыткой,
Что называется любовью.

* * *

Ни во что не веря
Ни на кого не надеясь
Когда уже всё потеряно
Но куда же я денусь
В беспросветно убогой
Несметно богатой отчизне
Совестью и богом
Приговорённый к жизни.

Я нёс вам свет

Ногой нашупывая путь,
Сквозь темноту я нёс вам свет!
И гордость душу распирала.
Я всех вас выше – в этом суть!
Но этого мне было мало.
Мне не хватало пьедестала.
И смело встал на табурет...
Чтоб в люстру лампочку вернуть

* * *

Мачта старая скрипит – ей больно.
И, надеждой горизонт не Грея,
Парус выцвел – не горит, а тлеет.
Море Чёрное от слёз Ассольно.

Но тихонько нашептал мне ветер,
Что кто ждёт – чего-нибудь дожждётся,
Что мечта так просто не сдаётся...
Что бывают чудеса на свете.

* * *

Снова день наизнанку –
Блёклый и швами наружу.
И опять спозаранку
Проблемами череп загружен.
Как по лезвию бритвы
Крадусь, неумело скользя,
Между лъзя и нельзя.

Дождь повис пеленою.
Шквалистый ветер с залива.
И проносятся роем
Туч белопенные гривы.
Струи горизонтальны.
С боков, сверху, снизу – вода...
Бесполезность зонта.

Переполненный транспорт –
В стёклах размазаны лица.
Я в нём сдавлен и заперт –
Ни охнуть, ни пошевелиться.
И тела, полусонно
Качаясь движению в такт,
Слиплись в полный контакт.

Я – зерно в монолите –
Часть пассажиропотока.
Время пик (о, мучитель!)
Зажало в объятьях жестоко,

Чтоб, проверив на прочность,
Слегка пожевав, – в будней круг
Где-то выплюнуть вдруг.

Неизвестность. Что будет?
В лицах потухшие взоры.
И усталые люди
Ведут бесполезные споры.
Ведь, в глобальном масштабе,
Всё, что происходит сейчас, –
Не зависит от нас.

Дождь по чистой странице.
Холод границ. Коридоры.
Балансируя птицей,
Ищу свою точку опоры
Между срочным и вечным,
Пытаясь нащупывать суть,
Пролагаю свой путь.

* * *

Мы – дети матушки Природы.
Она – вокруг и в нас самих.
Ругаем часто непогоду,
Клянём дожди... А как без них?

В жару о холоде мечтаем,
В морозы – мысли о тепле...
Но, постепенно привыкая
К любому месту на Земле,

Вдруг ощущаем: здесь мы дома.
И начинаем понимать
И вой ветров, и грохот грома,
Суровых гор немую статью,

Стихий разгул, сиянье солнца,
И прелесть тихих вечеров...
И в наших душах остаётся
Лишь примиренье и Любовь.

Порхает бабочка

Порхает бабочка
Легко и беззаботно,
Пленяя глаз
Соцветьем ярких крыльев,
И их непринуждённым колыханьем
Спокойной не нарушит тишины.
Недолог век её.
Но ведь она прекрасна!

Живой декор
И часть самой природы.
Уж это ль не любовь?

Непонятые гении

Бывает, что порой до неприличия
Ругает кто-то нечто непривычное,
Кого-то раздражает непохожее,
И просто злит для восприятия сложное.

Что делать, дорогие соплеменники,
Мы все, порою, заблуждений пленники.
И много слёз, и даже крови пролито
Бывало теми, кто, увы, не поняты.

Не первые они и не последние.
Живут среди нас непонятые гении.

Промозглый март

Промозглый март.
Деревьев паутину
простуженные ветры шевелят.
Температура жмётся у нуля.
То дождь, то снег.
Безрадостна картина.
И гасит день тумана пелена.
Промокли ноги.
Плед и чашка чаю.
Промозглый март...
А я себе внушаю:
— Поверь, чудак!
На улице весна!

Эпитафия перестраховщику

Он верить никому не смел.
Он даже сам себе не верил.
Отрезать так и не успел:
Всё мерил, мерил, мерил, мерил...

* * *

Есть райские места,
где вечно царство лета.
Есть царство вечных зим,
где сутки делятся год.
И осень может быть
наверно вечной где-то...
А Вечная Весна -
она в душе живёт.

* * *

Чтоб вас судьба не обманула,
Не нужно верить подлым слухам,
И, даже падая со стула,
Совсем не стоит падать духом.

* * *

Моё здоровье мне не доверяет.
Наверное на прочность проверяет.
Пытался подлечиться, но, похоже,
Врачам оно не доверяет тоже.

* * *

Сквозь гиперболы зеркал -
Отражённая реальность.
Странный времени оскал.
Отшелушена банальность.
Плющит тяжких знаний пресс
Буйны головы студентов.
И ползёт вперёд прогресс
от пинков экспериментов.

* * *

Она не придаёт
ни должности, ни чина,
ни денег, ни наград:

что нет её, что есть...
Как будто не нужна?
Но только тот - мужчина,
кто, потерявши всё,
не потеряет честь.

* * *

О подчинённых проявив заботу,
Начальство так усердствует порой,
Что даже очень лёгкую работу
Умело превращает в геморрой.

* * *

Небо вышло из берегов
И вода упала на землю,
На колышущуюся зелень
Одичавших давно лугов,
На леса, города, дороги,
Шелестящий речной камыш...
Низвергаются вниз потоки
С островерхих покатых крыш.

Люди прячутся под зонты,
И бегут в дома, под навесы.
Из спортивного интереса
В подворотню забился пёс.
Реки улиц давно чисты.
Но какое должно быть горе,
Чтобы с неба упало море
Несолёных, но горьких слёз.



Калининградские берега

Маргарита Беседина



Член Российского Союза писателей. Лауреат областного конкурса «200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года», лауреат четвертых Тёркинских чтений «За землю нашу милую». Дипломант литературной премии «Наследие. Печаталась в журналах «Балтика», «Параллели», «Связь времён», в Международном альманахе «Муза», в альманахах «Дуновение Дюн» и других. Автор двух поэтических сборников и сборника прозаических рассказов.

Сказ про нас

Сказок много на Руси.
Хоть любого ты спроси,
Если в сказке есть три брата,
Старший — не «ума палата»,
Но разумен, скажем так.
Средний брат — и так и сяк,
Младший — вовсе уж дурак.

Но мы знаем наперёд —
«Дуракам всегда везёт».
Что ни сделает дурак —
На копейку ли? В ущерб ли?
Наградят, хоть и не щедро,
Но получит свой пятак.

Мол, а что с него возьмёшь?!
«Ты убогого не трожь!»
К ним почтение в народе:
Так, мол, надобно природе.
Никому не застит свет —
Есть ли он? Иль вовсе нет?
Да и что с такого взять?!
Всё жалела его мать:
«Вот, не ровен час, помру,
А кому он ко двору?
Если старшие в работе —
Всё давалось «кровью, потом» —
Старики уже без сил,
Младший — денежку копил.
Складывал в чулок до срока:

— А в работе много ль проку?!
Быстро понял, как он может
Капитал свой приумножить.
В долг давал, а брал с лихвой.
Всё равно — чужой иль свой,
Для него тут нет различий.
Шли к нему уже привычно
За деньгами — всё под счёт!
Так купил себе почёт.

И откуда что взялось?!
Не забьёт, бывало, гвоздь!
Тут же — проявил сноровку,
Дело вёл он споро, ловко.
И, замечу, очень скоро
Он пошёл, представьте, «в гору»!
Модный сшил себе костюм,
И причёска, и парфюм.
Не затратив много сил,
И диплом себе купил.

Вот ведь как отозвалось:
Всюду он желанный гость,
Ну а в доме, где невесты —
Здесь уж он на главном месте!
И пора гнездо бы свить,
Да нельзя продешевить.

Ведь такие перспективы:
Хочешь — Канны, нет — Мальдивы!

— Ну, а может быть, в столицу?!
 Что ж, и это мне сгодится.
 Может, стоило б подумать,
 Например, о кресле в Думе?
 Мне и это по плечу:
 Я в законники хочу!

«Брось об этом и мечтать, —
 Урезонивает мать, —
 Хоть ты выпрыгни из кожи,
 А трёх слов связать не сможешь!
 Не поможет кошелёк:
 Каждой птахе — свой шесток»
 - Ох, и глупая ты, мать!
 В Думе кнопку-то нажать?! —
 Эка важность! Эко дело!
 Начал действовать он смело:

Он костюмчик себе сшил,
 Но совсем иного рода:
 Я, мол, вышел из народа.
 На дебаты не ходил,
 И — представьте — победил!!
 Получать умел «откаты».
 Дом его — не дом: палаты.
 Мог с кем надо поделиться...
 Вот уж он — боль-шая птица!
 Дом в Париже, дом в Крыму —
 «Всё за дело, по уму».

Он теперь почти при власти!
 (Он же с ней живёт в согласье),
 Власть при нём, а он при ней.
 - Породниться бы мне с ней!
 Чтобы — родственные связи...
 — Чтоб «из грязи прямо в князи»?!
 Что ты, дурень, — шепчет мать, —
 Ну, какой же ты им зять?!
 Что ты! Разве мы им ровня?!
 Кто ты есть, ты должен помнить!
 Пьян, что ль, дурья голова?!
 -За обидные слова
 Я прощаю вас, мамаша.
 Вот, к примеру, сын ваш старший:
 Умник вроде. Эка важность!
 Ум на булку не намажешь!
 А возьмём другого брата:
 Удалец! Ушёл в солдаты,
 И ранение имел,
 А каков его удел?!
 Может, заработал чин?
 Иль — на «вольные харчи»?
 Не-ет! Он должен был сначала

Дом построить генералу —
 И таскает кирпичи.
 Лучше дурнем — на печи!

Вам бы за меня — горою...
 Час придёт — я их пристрою,
 С ними поступлю по-братски.
 Срок мотаю депутатский
 Я всего ещё три года...
 Тут мечта иного рода.
 Ну, а вы, за место брани,
 Помогли бы мне, маманя.

Вот, подумываю я,
 Не податься ль мне в графья?
 Много ль прока — «из народа»!
 Ведь пошла другая мода.
 Может быть, я сын внебрачный, —
 Как бы вышло всё удачно! —
 Графа иль, к примеру, князя?
 Не бывает это разве?!
 — Ты совсем уж спятил, что ли?!
 — Может, не по доброй воле,
 Но случился такой грех...
 Вам — раз плюнуть, мне — успех!
 Вот и вышли б мы, маманя,
 В люди, стало быть, в дворяне.
 Может, где-то за границей —
 Это тоже пригодится —
 Ненароком, у меня
 Отыскалась бы родня...
 Распустит бы только слух!

Ходит важный, как петух!
 И о чём ты не спроси,
 Всё: «пардон», «мерси», «мерси».
 Он уже пробился в знать.
 Он уже почти что зять
 Очень важного лица.
 (Не узнаешь подлеца!)
 Он мелькает на экране —
 Образец для подражания!

Увидала детвора:
 — Гляньте, дурнем был вчера!
 А сегодня! Мо-ло-дец!!
 А дворец-то! А дворец!!
 — На какие же шиши?!
 — Тут все средства хороши!
 Загудели россияне.
 Те завидовали втайне,
 Те — совсем наоборот:
 Дуракам всегда везёт!

Но его уж спета песня.
«Сколь верёвочка ни вейся...»
И волнуется народ:
— Дурень дурнем — а как врёт!
— Дурень дурнем — а хитёр!
— Не хитёр, а просто вор!
Я вот в третьем поколенье
Добросовестно, без лени
Добываю уголёк,
А построить дом не смог.
— Что там дом! Нам не до жиру.
Накопить бы на квартиру!
— Ты тут воду зря не лей!
Он сумел — и ты сумей!
Разгорелись в споре страсти —
(Большей не было б напасти!)
Нет согласия в народе.
...Может, лучше о природе?

И в природе всё в смятенье:
То пожар, то наводнение.
В этом варимся котле!
Правды нет ни на земле,
Нет, как говорят, и выше,
Если Боже нас не слышит.

Ну, а что же наш избранник,
Бывший дурень? Как ни странно —
Бывший дурень, а теперь
Вхож уже в любую дверь.
Поумнел? Наоборот!
Он такую чушь несёт!
Но к нему подход особый.
Говорят, он «высшей пробы»,
Говорят, как будто он
То ли граф, то ли барон?
Родственники за границей.
Он теперь больш-ая птица!

Кое в чём поднатюрел.
Две, три фразы наш пострел
Выучить всё же сумел.
Ловкий оказался малый.
Но ему всё мало, мало...

И случилось как-то так,
Что его один чудак,
Раз увидев на экране,
Вскрикнул даже: «Россияне!
Обалдели сами, что ли?!
Чтоб ему — такие роли!!
Хоть костюм на нём, хоть фрак,

Был дурак и есть дурак!
Не закончил даже школы.
Ваш король-то голый! Го-лый!
Дурь успеху не преграда?
Деньги есть — ума не надо?!
Ишь, продвинулся как быстро!
Вы б ещё портфель министра...
Он ли дурень? Мы ли с вами?!
Да-а, с такими головами
Далеко пойдёт Расея!
Ничего — ни жать, ни сеять
Не умел. Поестъ лишь всласть,
И, поди ж ты — наша власть!
Да, нахальство — тоже счастье!»

...Как-то, надоел он власти,
Может, вышел за предел?
И остался не у дел.
«Депутатские вериги
Снять! В расстриги!
Вон!! В расстриги!»

Очень строго власть грозитя,
Но спасает заграница.
«Пострадал, мол, за идею.
Что имел, то и имею».
Да, украл. Но о-чень много!
И теперь одна дорога:
Смог с кем надо поделиться —
Есть спасенье: Заграница!

Розыски по Интерполу...
А он, радостный, весёлый,
Крупным планом на экране —
Образец для подражания!
Яхта, клуб, краса-девица...
(Вам такое и не снится!)
Демонстрирует экран:
Вот он! Весел, сыт и пьян!
И готова власть смягчиться:
Ведь такие могут лица
В этом деле промелькнуть —
Вот в чём истинная суть!
Строг наш суд и не запятнан,
Но ведь там свои ребята.
Всё рассудят по уму:
Где, когда и что кому.

Дело близится к развязке —
Всё, как в нашей русской сказке!
Было «Дело» — «Дела» нет.
Больших не было бы бед!

Калининградские берега

Анатолий Мартынов

Анатолий Мартынов родился в городе Советске Калининградской области. Имеет высшее филологическое образование. Работает в Калининградском «Художественно-промышленном техникуме» мастером-ювелиром. Пишет стихи, прозу. Им изданы четыре поэтических сборника и сборник повестей, рассказов, пьес. Возглавляет два литературных объединения «Балтийские зори» и «Эклога».



Звезда

Мы с тобой вдвоём –
глажу волосы.
Рву букет цветов
гладиолусов.
В том саду моём —
водоём,
а в нём
цветут милые
звёзды-лилии.

Только я опять
глажу волосы.
Рву букет цветов
гладиолусов.
А в глазах ловлю:
«Ах, люблю, люблю!»
Взгляд твой ластится
птицей ласточкой,
вьётся, тянется
к белой красавице.

Мне камыш грозит
пикой-шпагою.
И не знаю я,
где тут явь сама,
а где магия?
Что же делать мне
при такой луне?..
Нов костюм
и в нём
лезу в водоём.

Есть в шахматах...

1

Есть в шахматах и шах и мат,
а в сердце угнезвился март.
Зима ушла, усталостью сморив
себя любимую. Залив
освободился от оков.
Какая-то мелодия без слов
рождается во мне и бродит,
как сок, внутри берёз.
И облаков нахмуренные брови
Ещё не предвещают гроз.
И первый лист покамест
не пробился,
но день уже грачами утвердился.
А там, гляди, и ландыш — одноножка
появится апрелем на окошке.

2

Есть в шахматах и шах и мат,
а в сердце уж гнездится май.

Ах, воля-воля...

Ах, воля-воля –
былинка в поле.
Пристрастен ветер.
Как пёс, он метит
свой путь по свету.
И я помечен
чужой картечью.
Хромаю к хате
своей двускатной.

Запрусь под крышей,
чтобы не слышать,
не ради скуки,
мирские звуки.
Устал я просто.
Покрыт коростой
войны и злобы
там, где угробил
в угоду власти
наив прекрасный.
Стал волкодавом.
Курю Минздраву
назло. А толку?
Курю настолько,
что пачки «Явы»
на час мне явно.
Не прочь и выпить
да память выпад
наносит шпагой...
Дед «За отвагу»
медалью венчан
за бой под Керчью.
А мне граната
летит от хвата
афганца в шею.
Кричу, зверею,
а зверь беззубый,
хотя и груб он.
И взрыв отсрочен
до новой ночи...
Ах, воля-воля –
былинка в поле.

Облако

Море притихло,
свой нрав укротив.
Лёгкий и тонкий
звучит мотив.
Женщина рядом –
что в её облике?
Жизнь зарождается
новая в облаке.

Родине

Ты вовремя мне протянула взгляд,
настоянный на лепестках сирени.
Неужто, небеса благоволят
бойцу, бегущему из плена?

Бегу не потому, что жизнь — устав,
Где лишь свои проставлены страницы.
Да, грудь моя тогда была в крестах,
светился как-то и в передовице.

Из ямы волчьей выбрался, как мог,
по тучам полз, почти срываясь в пропасть.
Твой синий взгляд и был тот самый пропуск
к тебе, мой край, язык мой и чертог...

Залез на клён приятель добрый — месяц,
он так встречал меня, почти по пояс свесясь.



Берега памяти

Валентина Киселёва

Валентина Киселёва родилась на Украине. Отец погиб во время Великой Отечественной войны.

Раннее детство прошло в Полтавской области в деревне. В 1949 году семья переехала в Литву по месту службы отчима. Здесь, в Каунасе, окончила 16-ю среднюю школу, затем Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского.

Более 40 лет работала на текстильной фабрике «Дробе». Прошла путь от работницы ткацкого цеха до старшего бухгалтера. Замужем. Выростила троих детей. Недавно отметила бирюзовую свадьбу (55 лет в браке). Член каунасского литературного клуба им. Державина, председатель каунасского клуба «Надежда», член международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП).

Первый сборник стихов — «Стихи для сердца, для души» — вышел в 2012 году.

Стихи публиковались в газете «Обзор», ежемесячнике «Литературный Каунас», издании ассоциации русских писателей Литвы «Вилняле».

В сборнике «Тропинками памяти» собраны стихи 2013 — 2014 годов и рассказы о детстве.



Мое босоное детство

Пирятин

Говорят, что прошлое не возвращается. Это неправда. Оно всегда возвращается к нам в воспоминаниях и не только. Оно входит в нашу жизнь, как что-то родное, теплое, и мы охотно делимся им со своими близкими.

И вот уже наши дети, впитавшие рассказы родителей, принимают и понимают наше прошлое как свое. И чем старше мы становимся, чем чаще посещают нас эти воспоминания, тем милее они для нас. Как не любить, не лелеять эти воспоминания!

Они освежают и возвышают мою душу, служат для меня источником лучших наслаждений, вызывают грустную, но всегда добрую улыбку. Многие недавние события забыты начисто, а эти воспоминания помнятся до мелочей, будто это произошло вчера, позавчера или, в крайнем случае, неделю тому назад.

В детстве я почувствовала такую чистую, сильную и беззаветную любовь и сама любила всей своей сущностью, как любят только дети. Эта любовь всю жизнь подпитывает меня, дает мне силы пережить все невзгоды и верить в доброе начало в людях, верить, что добра на земле больше, чем зла, что жизнь прекрасна и удивительна.

Длинный серый забор тянется бесконечно. Вдоль него узкая скользкая тропинка, по которой каждый день мы с мамой возвращаемся домой. Мама усталая и молчаливая, а я пытаюсь рассказать ей все детсадовские новости: у нас новая нянечка, она не ругается, что мы не спим днем, и даже разрешает шептаться с Таней. Разговорам моим нет конца. Мама кивает головой и просит идти осторожно. Тропинка то и дело уходит из-под ног. Я ступаю в сторону, где под коркой прячется белый сыпучий снег. Он так и старается забраться ко мне в валенки, особенно в дырку на пятке, которую сделали калоши. Но все равно в валенках теплее, чем в ботиночках, которые теперь стоят под моей кроватью.

Наконец-то, мы дома. В комнате тепло и вкусно пахнет: тетя Галя уже приготовила ужин. Она

приходит с работы раньше и успевает растопить плиту и пожарить картошечку — любимое наше лакомство.

После ужина я забираюсь на кровать и слушаю радио. Вечером по радио мне всегда рассказывают сказки, одна интереснее другой. Но самые лучшие сказки знает мой дедушка.

Убаюканная сказкой и теплом, я засыпаю и просыпаюсь от звонкого смеха.

За столом сидит мама, тетя Галя и дядя Федя, он часто приходит к нам в гости.

Тетя Галя снимает гитару, которая висит над её кроватью, и начинает потихонечку перебирать струны.

Музыка тихая и спокойная. В комнате все приобретает какой-то сказочный вид.

Звучит песня о бандуре и бандуристе. Я не знаю, что такое бандура, но спросить не могу. Веселая песня о Гандзе-молодице мне больше нравится. Мама и тетя Галя так красиво поют про черные брови и карие очи, что мне

становится обидно — у тети Гали глаза карие (дядя Федя так всегда говорит), а у мамы зеленые. Но моя мамочка все равно самая красивая. Толстая коса, как корона, украшает ее голову, а черные брови, как нарисованные. Правда, на лице

есть ямочки (мама говорила, что они у многих остались, кто переболел какой-то болезнью), но они мне тоже очень нравятся. И я снова засыпаю.

Зима закончилась так же внезапно, как и пришла. Я на празднике в нарядном платье, которое мама пошила из своего сарафана, читаю стихи, а потом мы с Таней танцуем, как балерины.

С садика меня забирает баба Клава, мы идем гулять в город. Город наш очень большой. И название красивое — Пирятин. Я люблю с мамой ходить в парк,

кататься на карусели или посмотреть кино. Но баба Клава туда не пойдет — у неё болят ноги, и мы идем в другой парк, у речки, это совсем недалеко от нашего дома.

У входа в парк в киоске тетенька в белом халате продает мороженое.

А самое главное — речка. Вода чистая, прозрачная, совсем не холодная. Я бегаю по песчаному берегу, а баба Клава читает книжку.

Ну, конечно, нечаянно, но ноги уже мокрые, и баба Клава спешит увести меня домой. Белые носочки и сандалии у меня в руках. Мне весело, и я вприпрыжку бегу впереди.

Вдруг, о Боже! Страшная боль пронзает мою ногу. Ужасный крик летит впереди меня. Я лежу на дорожке, а в моей ноге торчит бутылочное донышко. Баба Клава подхватывает меня на руки и бегом несет домой. Вдвоем с тетей Галей они вынимают стекло из моей ноги и заливают рану... керосином! Тетя Галя держит меня и что-то говорит, но я ничего не понимаю и не слышу. Мне очень больно!

Когда приходит мама с дежурства, я уже обессиленная криком и болью, сплю и не вижу, как она плачет, а тетя Галя пытается успокоить ее, поит чаем.

И теперь я не хожу в садик! Нога, конечно, болит, но все кругом так заботливы и внимательны ко мне, что я даже не плачу, когда тетя Галя перевязывает мне ногу.

Вечером мама говорит, что скоро к нам приедет дедушка. Мы ждем дедушку!

Дедушкины сапоги

Проснувшись в субботу, я увидела, что мамы дома нет, и очень расстроилась. Ведь мы собирались вместе пойти в магазин или на базар, а потом готовить что-нибудь особенное.

Я не успела даже спросить тетю Галю, где мама, как в коридоре послышались шаги, и мамин голос кому-то говорит: «осторожно, здесь ступенька».

Дверь открылась, и на пороге стоял мой дедушка!

Я повисла у него на шее, а он гладил меня по голове и говорил какие-то ласковые слова.

— Да отпусти ты дедушку, дай ему раздеться, и будем завтракать,— сказала мама.

Дедушка снял фуражку (в селе все ходят в фуражках даже летом, чтобы солнце не напекло голову). Его пепельные волосы были коротко пострижены, а рыженькая бородка стала длиннее и светлее. Но самыми замечательными у дедушки были его уши, большие и очень мягкие. Когда я сплю с

ним, (а я всегда, при первой возможности спала с дедушкой), то не выпускаю его ухо из руки, пока не засыпаю.

За столом я, конечно, села рядом с дедушкой и, не спуская с него глаз, слушала рассказ.

— До станции я добрался на подводе (телеге), из Осюков люди ехали на базар. В вокзале народу не очень много, ведь еще рано, и все на базаре. Мать (бабушка, значит) положила в мешок яблок, четверть (трехлитровую бутылку) молока и сапоги. Сапоги новые, я их купил по случаю, да они оказались мне малы. Велено было отдать тебе, может, ты здесь продашь кому-нибудь. Поставил я клунок (полмешка) у стены, а сам пошел к кассе за билетом. Ну, сколько я

там задержался, не больше пяти минут, а когда вернулся — клунок исчез. Кого я только ни спрашивал, никто не видел. И что я теперь скажу матери, попадет мне от нее, — сокрушался дедушка.

— Да Вы не горюйте, мы ей ничего не скажем, а деньги за сапоги я привезу, как приедем, — успокаивает его мама.

Затем дедушка стал рассказывать маме деревенские новости, и они над чем-то весело смеялись, а мне жалко было яблок и молока, которые остались где-то на станции.

Позавтракав, дедушка прилег отдохнуть, а я побежала к подружке, надо похвастаться, что ко мне приехал дедушка.

Я рассказала подружке о дедушкином приезде, о том, что он потерял на вокзале яблоки и молоко, да еще эти сапоги.

Взрослые удивлялись дедушкиной непосредственности — разве можно оставлять вещи без присмотра, да еще на вокзале?

Теперь, когда ищут что-то безвозвратно утерянное на вопрос «Где?», отвечаем: «Там, где дедушкины сапоги».

Новогодняя ночь

На улице мороз. Береза во дворе стоит вся в серебряном уборе — иней украсил каждую веточку, сделал ее пушистой и сверкающей на солнце. Когда ветер пошевелит веточку, серебристые блески летят, сверкая и переливаясь на солнце.

Окна в нашей комнате покрыты красивыми узорами. Если подержать пальчик на стекле, получится пятнышко и в него видно ветви березы. Но этого делать нельзя — мама заругает, да и жалко — цветы на стекле очень красивые.

В комнате холодно, но печка не топится, а у дверей стоит швейная машинка и сумка — мы едем к дедушке на Новый год! Мама, как всегда, будет шить кофты и платья всей родне, а я гулять с дедушкой.

Радости моей нет предела!

Ехать надо поездом, а от поезда еще семь километров до деревни. Но дедушка приедет за нами на санях, и я буду управлять лошадкой!

Я быстро одеваюсь, пью чай с булочкой и мы отправляемся на вокзал.

На вокзале не протолкнуться. Все куда-то спешат, кричат, ругаются. Я крепко держу мамину руку, но подойти к кассе мы не можем, и я с любопытством оглядываюсь по сторонам.

Огромные окна до потолка и широкие подоконники. Вдоль стен и на подоконниках сидят люди, стоят вещи. Впереди, прямо перед нами, огромное окно, над ним красивая штора и по бокам тоже красные красивые занавеси. Мы подошли ближе, и за окном я увидела знакомую девочку и тетю, очень похожую на мою маму.

— Мамочка, смотри, кто это там? — дернула я маму за руку.

— Да это же мы с тобой, а там — зеркало, — улыбнулась мама.

— Давай подойдем поближе, — попросила я, уж очень хотелось рассмотреть ту девочку — меня.

Но проходившие люди загородили зеркало и помешали рассмотреть. Мы пошли дальше.

Мама подвела меня к колонне, поставила машинку и велела сидеть на ней и никуда не ходить.

У кассы очередь, и я вижу, как мама машет мне рукой.

Но вдруг, о, ужас! Свет в зале гаснет и все погружается в сумрак. Вокруг меня шум, все куда-то бегут, кричат. Мне кажется, что я кричу громче всех и боюсь оторваться от колонны и машинки.

В этот момент чьи-то сильные руки поднимают меня над толпой.

Дядя военный спрашивает, где мама, но я ничего не могу сказать и только плачу.

Подхватив меня и машинку, он сквозь толпу проходит в другой зал, ставит меня на табурет и начинает успокаивать:

— Найдем мы твою маму, не плачь.

То ли от его спокойного голоса, то ли от света, который внезапно зажегся, я успокаиваюсь и оглядываюсь вокруг.

Где же мама?

Мамы нигде не видно, а посередине зала стоит огромная нарядная елка.

Такую большую елку я еще не видела! А на ней чего только нет! Яблоки, конфеты, печенье, хлопушки, шарiki и пряники, а на вершине большая красная звезда

Вокруг много военных. Они обступают меня и угощают конфетами, сахаром, печеньем.

— Сейчас мы поищем твою маму, а ты Расскажи нам стишок или спой песенку.

Стихов и песенок я знаю много и рассказываю с удовольствием. Все дружно хлопают, а я, как настоящая артистка, красиво кланяюсь — так нас учили в садике.

В это же время мама металась по вокзалу, искала девочку в зеленом пальтишке и в белой шапочке. И хотя уже горел свет, люди были возбуждены и испуганы. Никто не видел такой девочки, и мама в отчаянии попросила милиционера помочь ей.

Вместе они обошли вокзал, но до зала для военнослужащих почему-то не дошли.

Милиционер пошел к начальнику вокзала, чтобы объявить по радио о пропавшей девочке, а мама стояла и плакала.

Пожилый военный с семьей, спешивший на поезд, увидев плачущую женщину, спросил, что случилось.

Услышав мамин прерывистый рассказ, он сказал, что такая девочка в воинском зале поет песенки и рассказывает стихи.

Когда заплаканная мама, наконец-то, нашла меня, я с гордостью показала ей свои трофеи, а дяди военные всячески ее успокаивали, а меня хвалили — будет артисткой!

— Моя мама очень красиво поет, — неожиданно заявила я и все стали просить маму спеть что-нибудь. Но мама почему-то отказалась, сказала, что мы опоздаем на поезд.

— Так сегодня поезда уже ушли, следующий будет лишь через 6 часов, так что вам придется встречать Новый Год с нами, — сказал подошедший милиционер, довольный тем, что потерявшаяся девочка нашлась.

Все снова зашумели и стали опять просить маму спеть.

Выпив горячего чаю, принесенного кем-то из военных, мама успокоилась и согласилась петь, если ей будут помогать все.

Вы бы слышали, какой у моей мамы голос! Высокий, звонкий, очень красивый, как и моя мама! И песен она знает много.

Песни лились одна за другой.

Уставшая, убаюканная ими, я уснула на руках у дяди.

Проснулась я в поезде. Мама тормозила меня — скоро выходить, надо одеваться.

На улице светло, кругом снег. Поезд останавливается возле красивого белого здания. Это наша станция.

Мама несет машинку и тянет меня за руку, чтобы я шла быстрее.

И вот мы в большом зале. Здесь светло и тихо. Людей совсем мало, и мы сразу видим спящего на скамейке дедушку.

Он приехал вчера и, не встретив нас с вечернего поезда, остался ждать утреннего.

Мама со слезами рассказывает дедушке о наших Новогодних приключениях, а я нетерпеливо жду, когда же поедем, где лошадка.

Лошадка стоит в сарае у дедушкиных знакомых, а сани у ворот.

Вокруг — снежные сугробы. Двор и дом тоже в снегу, как будто из новогодней сказки. Возле ворот стоит покрытая инеем ива. Она склоняется до самой земли и сторожит вход во двор. Кажется, сейчас выйдет Дед Мороз со Снегурочкой. Но выходит дедушка и приводит лошадку, которая сразу же покрывается инеем. Он усаживает нас в сани, закутывает меня в большой тулуп, мама укрывается одеялом, и мы отправляемся в путь.

— А когда я буду править лошадкой? — спрашиваю я у дедушки.

— Как выедем на прямую дорогу, вот тогда и сядешь на мое место, — успокаивает меня дедушка.

В тулупе тепло, а кругом так красиво — деревья, как белые великаны, заблудившиеся в поле и утонувшие в снегу, даже трава стоит, как сказочный лес, заиндевелая и переливающаяся разными цветами на утреннем солнце.

Заглядевшись, я незаметно уснула.

Слишком длинной была для меня эта Новогодняя ночь.

Сиротка

Там, в далеком детстве, все воспринимается проще и светлее. Утраты, беды волнуют, реакция на них бурная, но переносим мы их гораздо легче, беззаботно. Ведь сама жизнь кажется безграничной и таинственной, и ты ещё не знаешь, какие подарки она преподнесет и какие жертвы потребует от тебя.

Зима выдалась очень холодная. Наложила белую мохнатую лапу на плечи заборов и головы домов, холодно поцеловала их стеклянные глаза, мимоходом коснулась голых деревьев, и, наконец, овладела всей природой.

Садик наш закрыли. Все ходят тревожные и серьезные. Тетя Галя уехала в деревню, а мама работает очень долго, мне одной скучно и холодно.

Пришла баба Клава, она почему-то плачет и гладит меня по головке. Я не люблю её такую, и мне тоже хочется плакать.

Радио уже давно не работает.

Идет война. Куда и зачем она идет, я, конечно, не знаю, но боюсь, как и все. Пришла еще одна соседка и, называя меня «сироткой», дала булочку с маком. Что такое «сиротка» я не знаю, да это и не важно, а булочка вкусная, и я с удовольствием ее скушала. Они о чем-то шептались, и все время смотрели на дверь — ждали маму.

Наконец, дверь открылась и на пороге появилась замерзшая, вся в снегу, моя мамочка, как снегурочка.

Я бросилась к ней, но она, увидев соседок, не раздеваясь, села на лавку.

Лицо ее стало белым, как снег на воротнике пальто.

Баба Клава тихо сказала ей: «Держись, дочка», — и, взяв меня за руку, увела к себе.

В ее комнате тоже было холодно. Она налила мне полную чашку теплого компота с вишнями и все время что то говорила и плакала, а я слышала то ли крики, то ли песни, доносившиеся из коридора.

— Пей, я сейчас приду, — сказала бабушка Клава и вышла.

Она очень долго не возвращалась, и я уже хотела идти домой, но дверь была заперта.

— Спать будешь у меня, маму вызвали на работу, — сказала она вернувшись. Укрыв меня теплым одеялом, она выключила свет.

Спала я очень крепко и не слышала, когда и кто перенес меня в нашу комнату. В комнате было тепло. Мама лежала на кровати, но не спала. Глаза у нее были красные и лицо какое-то незнакомое.

— Мамочка, ты не на работе? Ты болеешь? — засыпала я маму вопросами.

— Да, доченька, но скоро выздоровею, ты не бойся, — и она снова стала плакать, и я, конечно, тоже.

И опять приходили соседки и плакали вместе с нами. Все они снова называли меня «сироткой».

— Мамочка, что такое «сиротка»? Почему все так говорят про меня? — пыталась я узнать у мамы, но она лишь громче плакала и не отвечала мне ничего.

И вновь я у бабушки Клавы, но ночевать у нее я не захотела, и всю в слезах меня привели домой.

Спали мы с мамой вместе на одной кровати, что бывало очень редко. Мама всегда переносила меня на мою постель.

Когда я проснулась, мама сидела за столом, что-то читала и плакала.

— Мамочка, почему ты все время плачешь? Тебя бабушка Клава обидела? — со слезами на глазах спрашиваю я.

— Нет, доченька, меня никто не обидел. У нас с тобой большое горе — нет нашего папы,— и она снова залилась слезами.

— Ну, так подождем, — успокаиваю я ее, — он скоро приедет. Надо только подождать и не плакать, так говорил мне дедушка, когда я ждала твоего приезда.

— Конечно, мы подождем, — тихо ответила мама, — но давай подождем его у дедушки с бабушкой.

Через несколько дней мы уже собрались в дорогу. Бабушка Клава провожала нас до самого поезда, плакала и просила маму быть осторожной.

— Сейчас такое время, никому не доверяй и не отпускай девочку ни на шаг. Приедешь, напиши мне, я очень беспокоюсь, — наказывала она маме.

И, вот мы в поезде. Народу много, но у нас верхняя полка и я с удовольствием лежу и смотрю в окно. За окном красиво. Деревья и кусты покрыты снегом. Большой дом, а рядом с горки катаются дети — вот здорово! Некоторые смотрят на меня и машут рукой. Я им тоже машу рукой, а поезд все мчится и мчится вперед.

За столиком сидят дядя и тетя, они едут в свою деревню. Мама сказала, как они выйдут, я смогу сидеть у окошка. Но мне и здесь хорошо и я совсем не переживаю — пусть они себе едут хоть до утра.

Ехали мы недолго. Вдруг поезд затормозил и тихонечко остановился.

— Семафор закрыт, — сказал дядя и стал укладываться на полку полежать. За окном был снег и поле — далеко-далеко видно, но ничего интересного. Мне надоело смотреть на белое поле, и я уже возле мамы.

— Мам, скоро поедем? — нетерпеливо дергаю я ее за рукав.

— Наверное, скоро. Вот откроют семафор, и поедем.

Что такое «семафор» я, конечно, не знаю, но понимаю, что надо ждать.

На верхней полке все же теплее и интереснее. Можно сверху смотреть на людей, которые все время ходят по вагону то вперед, то назад.

Вот какая-то тетенька понесла стакан с чаем.

— Мамочка, а мы чай будем пить? — спрашиваю я.

— Будем, будем, только попозже, — отвечает мама.

И я снова с любопытством наблюдаю за происходящим в вагоне.

На улице уже стемнело, ничего не видно, а поезд все стоит. Кто-то сказал, что до утра поезд не пойдет, так как где-то взрывом повредило путь. Все очень расстроились, но назад не пойдешь и надо ждать до утра.

Мама достала хлеб, принесла чай, и мы покушали.

— Теперь ложись и спи, а утром мы уже будем у дедушки, — сказала она, укрыв меня одеялом.

Когда я проснулась, было светло. Многие уже встали, другие спали или просто лежали под одеялом, ведь в вагоне холодно.

— Мамочка, мы уже приехали? — спросила я.

— Нет, доченька, путь ремонтируют, поспи еще.

Но спать мне не хотелось, а хотелось кушать, тем более, что дядя и тетя что-то кушали и пахло очень вкусно.

— Мамочка, а мы будем завтракать? — спросила я у мамы потихоньку.

— Сейчас я принесу чаю и у нас есть еще кусочек хлеба.

— А ты уже покушала? — спросила я.

— Конечно, я только что позавтракала, — ответила мама.

Когда с хлебом и чаем было покончено, мама рассказала мне сказку. Сказок она знала много, и иногда рассказывала мне уже знакомую, ведь в детском садике нам тоже читали сказки. Но мама рассказывала совсем по-другому,

и я с интересом слушала. После сказки стало веселее. Я даже попыталась спеть песенку, но передумала, услышав, что кто-то плачет и, значит, надо сидеть смирно.

На улице опять потемнело. Хочется кушать, но тот кусочек, что был оставлен «на потом», уже давно съеден. Чай тоже был без сахара и холодный.

Дядя с тетей ужинали, и я прижалась лицом к маме, чтобы не смотреть на стол, где лежали яички, колбаска, хлеб и еще что-то.

У мамы по щекам катились слезы, но она их не вытирала.

— Мамочка, не плачь, я не хочу кушать, я потерплю до бабушки, — успокаивала я ее, но слезы все равно катились и падали на платок, которым мама меня укутывала.

— Отдай нам девочку, — вдруг сказала тетя, — ведь пропадете вы обе, а у нас детей нет, мы ее вырастим.

Мама крепко прижала меня к себе и перестала плакать. Теперь заплакала я. А вдруг мама меня отдаст этой тете?

— Иди сюда, деточка, покушай с нами, — ласково сказала тетя, — давай поедим к нам, у нас есть киса, собачка, будешь с ними играть.

Я еще крепче прижалась к маме и зарылась в теплый платок.

— Как Вам не стыдно такое говорить, — сказала мама, — никто вам не отдаст своего ребенка.

— Ну, и глупая, пропадет она у тебя, — сказала тетя и отвернулась к окну.

Я все громче плакала, мне совсем не хотелось «пропадать», как сказала тетя.

В это время вагон дернулся и поезд поехал.

Все облегченно вздохнули. Мама гладила меня по головке, успокаивая.

— Все будет хорошо. Скоро мы будем дома.

Наплакавшись, под мерный стук колес я уснула.

Моя Покровщина!

На улице жарко и пыльно. В хату ходить не надо — бабушка занавесила окна темными платками, чтобы было темно и не жарко, и они с Соней машут ветками — выгоняют мух. Мухи вылетают на свет из темной хаты, а я жду, когда меня туда пустят, там прохладно и можно попить холодного молока, которое мы с бабушкой достали из погреба.

Погреб — это особое место в каждом деревенском дворе. Вначале копают круглое, как колодец, глубокое отверстие — ствол. Земля там только сверху черная и мягкая, ее снимают отдельно. А дальше идет твердая глина. Местами она белая, местами желтая, но настолько твердая, что никаких колец-креплений не надо. Дойдя до определенной глубины, в стороны роют несколько пещер. Все это просто вырезается из глины. Каждая пещера имеет свое назначение: в одной хранятся овощи — картофель, морковь, свекла. Все это бывает как свежее до нового урожая. В другой пещере — квашеная капуста, огурцы, помидоры, яблоки и арбузы. Отдельная пещера для молока, молочных продуктов и соленого сала и мяса.

В погреб опускается длинная деревянная лестница. Ходить туда без бабушки нельзя, но иногда она посылает за молоком Соню, а я ей помогаю. Помогаю я всем, как же без меня!

Вот недавно помогала бабушке сажать лук. Луковички маленькие, круглые, но бабушка у каждой срезала верхушку. Я клала в бороздку луковички срезом вверх, чтобы луковичка росла.

Пришла тетя Галя, наша соседка, и похвалила меня за то, что я так ровненько разложила лук. У нее такого лука нет, и бабушка попросила меня принести ей мисочку лука, который стоит в сених.

— А зачем Вы обрезали луковицы? — спросила она у бабушки.

— Лук тогда всходит дружно, весь сразу, а не по одному, то там, то здесь, и сразу видишь, если луковичка испорчена, — засыпая бороздки, ответила бабушка.

— Приходи мне помогать, — приглашает меня тетя Галя.

— Нет, нам еще фасоль сажать надо, — отвечает за меня бабушка.

Прошло несколько дней, и тетя Галя снова пришла к нам.

— Бабушка, а почему ваш лук уже весь взошел, а мой не всходит, — спросила она у моей бабушки, глянув на зеленеющую грядку лука, — ведь я посадила в тот же день?

Мы с бабушкой пошли к ней в огород, и она показала черную грядку — ни одного перышка!

Бабушка взяла палочку и стала ковырять землю, искать луковички. Луковички целые, совсем без корешков.

— Господи, что же ты наделала! Почему ты не спросила меня, где надо отрезать! Ведь ты срезала не верхушки, а корешки, как же он у тебя взойдет! Пойдем, у меня еще осталось, я тебе дам луку, посади. Да только сейчас луна плохая, головок не будет, пойдет весь в перья, — вздыхает бабушка.

— Бабушка, разве луна бывает плохая или хорошая? Ведь она на небе, она Луна!

— Конечно, луна всегда хорошая, — ответила бабушка. — Вот, если луна как половина колечка, и ты приставишь к ней пальчик, получится буква «Р», значит, луна «растет». Если в это время что-нибудь посадить, то оно будет расти вверх, будут хорошие перья, листочки. А чтобы были хорошие головки лука, чтобы выросла свекла и картошка, надо сажать, когда луна бывает как буква «С», тогда она старая, все растет в корень.

Конечно, очень интересно! Какая умная у меня бабушка, даже про луну все знает! (Так я получала первые уроки по растениеводству).

Подошла Соня — это мамина младшая сестра. Мне надо называть ее тетя, но она только на шесть лет меня старше и я никак не понимаю, какая она тетя. Она Соня, Сонечка, но не тетя. Да и она не сердится на меня за это.

Мама уехала в город, а я с радостью осталась у бабушки. Я его самый главный помощник и не отстаю от него ни на шаг. Мне кажется, что, несмотря на разницу в возрасте, у нас с бабушкой много общего. Из-за этого сходства между нами и существовала взаимная привязанность. Днем мы с ним поливали огурцы, а потом ходили за коровой, которая паслась на болоте. На обед коров всегда пригоняли домой, ведь на улице жарко и мухи очень злые. Коровы сами бегут в сарай, где прохладно и темно, мухи их не видят и не кусают.

Там же в сарае под потолком ласточки слепили гнезда и теперь летают туда кормить маленьких птенцов. Для них над дверью сделано маленькое окошко, ведь дверь закрыта.

У нас было нерушимое правило: если я иду к Тане или к другой подружке, всегда должна сказать бабушке или бабушке, если его нет дома. А если бабушка уходит куда-нибудь, а я остаюсь дома одна, он мне говорит, куда он идет.

Вот и сегодня я сидела за сараем возле цыплят и смотрела, как мама-клуша учит их клевать пшено. Когда я пришла во двор, бабушки нигде не было. В хате его нет, в сарае и в огороде тоже. Я стала громко звать, но никто не откликнулся. Вообще-то я не боюсь быть одна дома, но почему он мне не сказал, что уходит? Я плачу и громко зову бабушку.

Услышав мой плач, наша соседка тетя Галя спрашивает, что случилось.

— Пропал бабушка, — сквозь слезы объясняю я.

— Никуда не пропал твой бабушка. Они с дедом Христаном возле хаты сидят, разговаривают.

Действительно, бабушка сидит возле хаты напротив и разговаривает с дедом Христаном.

— Почему ты мне не сказал, куда уходишь? — рыдая, бросилась я к нему.

Он долго меня успокаивал и после этого случая никогда не уходил, не предупредив.

После обеда, когда жара спадает, коров снова гонят на пастбище. Там они пасутся до самого вечера.

Днем у меня тоже ответственное задание — поливать полотно, сотканное зимой. Теперь его расстилают на траве, льют на него воду — солнышко его отбеливает. Надо следить, чтобы оно не пересохло. Вода здесь же в большом корыте. А перед приходом коровы полотно надо скатать, чтобы корова не прошлась по нему и не испачкала.

Вечером мы с бабушкой идем к бабушке Василию в гости. Там будут и дед Иван, и дядя Кирилл. Другие приходят редко, и я не знаю, как их зовут. А вот бабушка Остап приходит часто. Его все называют сапожником. Но он сапоги не шьет. Мы с Сонечкой к нему ходили, когда оторвался каблук ее туфельки. В коморке деда на большой полке стояли ботинки, босоножки и туфли. Сапог я там не видела. Но бабушка Василий часто говорил:

— Сейчас придет Остап и начнет шить сапоги.

Хотя он никогда не шил сапоги у бабушки Василия, он иногда начинал рассказывать, как это надо делать. Все почему-то улыбались и он замолкал. Мне даже жалко было бабушку Остапа, что это над ним все посмеиваются?

Я потихоньку спросила об этом бабушку. Он объяснил, что бабушка Остап часто подробно и неинтересно рассказывает, как надо шить сапоги. Всем уже надоели эти рассказы, поэтому и начинают смеяться.

Теперь, когда кто-то начинает подробно рассказывать что-нибудь неинтересное, говорят: «ну, начал сапоги шить». Мне все равно непонятно. Ведь он сапоги не шьет! Но спрашивать дальше я не стала.

Другого дядю, который всегда приходил последним, звали Стомбуном.

— А почему у него такое интересное имя? — спросила я у дедушки.

— Это совсем не имя и не фамилия, а просто прозвище. Имя его — Иван, как и его двоюродного брата. И фамилия у них одинаковая — Погребняк. Чтобы их могли различать в разговоре, одного из них называют Стовбун, потому, что возле его ворот стоит столб. Даже его детей теперь так называют — Стовбунова дочка, сын Стовбуна.

— Как хорошо, что возле нашей хаты нет столба, — обрадовалась я, а дедушка только засмеялся.

Бабушка Катерина принесла кувшин с квасом, несколько кружек и ушла, а мужчины стали обсуждать деревенские новости.

Вечер тихий, прохладный. Дяди никуда не торопятся. Они играют в карты, рассказывают всякие истории, смеются. Я слышу, что один дядя что-то рассказывает и вдруг дядя Кирилл громко говорит: «бедная коза, бедная коза» и все начинают смеяться.

Я не всегда понимаю, о чем они говорят, и жду, когда дедушка поставит меня на табурет, и все попросят меня рассказать стишок и спеть песенку. С превеликим удовольствием я выполняю их просьбу, а потом сижу у дедушки на коленях, иногда засыпаю.

Бабушка ругается, что дедушка «мучит ребенка», но для меня это был праздник. На другой день, увидев на улице соседскую козу, я спросила у дедушки, почему та коза «бедная».

— Какая коза? — удивился дедушка.

— Ну, дядя Кирилл говорил, что коза бедная.

— Ах, вот ты о чем. Это история об одном хвастуне, который все время говорил о себе: я все умею, это я сделал и это тоже я сделал. А один шутник пошутил, что вчера кто-то у козы хвост оторвал. Хвастун, даже не слушая до конца, о чем идет речь, сразу закричал: «Это я, это я сделал». Все стали с него смеяться. Теперь, когда человек начинает хвастаться, и много говорить о себе, говорят «бедная коза», намекая, что он, видимо, козе хвост оторвал, что он хвастун.

Еще несколько раз я ходила с дедушкой, но скоро мне это надоело.

Иногда мы с дедушкой шли на другой конец деревни к дедушкиной сестре. Звали ее бабушка София. Была она очень больная, все время лежала на кровати. Я только здоровалась с ней и уходила на улицу, а дедушка сидел у нее долго, о чем-то беседовал, а потом всю дорогу домой плакал. Когда дедушка плачет, я тоже плачу, ведь мы с ним — одно целое. Поэтому я не любила туда ходить.

Не любила я и тетю Саню — мамину старшую сестру.

Она, когда приходила к нам, всегда обнимала меня, прижимала к себе и тоже плакала. Я старалась спрятаться, когда она приходила в гости. Позже я узнала причину ее слез: у нее были две девочки и два мальчика. Во время войны девочки умерли, и я напоминала ей о них. Но тогда я просто боялась ее слез и убегала в сад или к подружке.

Ее мальчишки тоже приходили к нам в гости. Это мои двоюродные братья. Старший — Коля. Он немножко старше меня, но мы дружим. А младший — Ванько, маленький и такой интересный! Волосы у него, как у негра — черные и курчавые, как шапка, глаза огромные, он все время улыбается, никогда не плачет. Жалко, что он часто болеет и с нами не играет.

Когда я бываю у них, Колька берет меня с собой играть в футбол. Мальчишек там мало, и меня ставят на ворота ловить мяч. Правда, они почти не забивают, и я спокойно сижу на самане, который сушится рядом.

Саман — это такие большие кирпичи-блоки, сделанные из соломы и глины. Их делают в особой форме, а потом все лето сушат. Осенью из них строят хаты. Видно кто-то будет строить хату, поэтому сушится много самана.

Немного дальше по этой же улице живет дядя Ваня. К нему я ходила с удовольствием. Во-первых, дядя Ваня катал меня на велосипеде. А еще там была двоюродная сестра Верочка и брат Колька. Правда, Колька был еще маленький и предлагал нас с дедушкой отвезти домой на своем коне — перевернутой табуретке. Но зато там было много соседских мальчишек и девчонок, и мы играли в лапту или прятки.

Взрослые вели свои разговоры, мы были предоставлены сами себе. Чаще всего мы играли в прятки в своем дворе. Один из нас водит, т. е. стоит, отвернувшись, закрыв глаза руками, и три раза говорит такую присказку: «Ой, так, да не так, да одел кобиняк, да не туда кобкою, куда люди велят!» (Кобиняк — накидка, как плащ с капюшоном — кобкою. Её делают из тонкого сукна,

поэтому она очень теплая и легкая. Дедушка одевал кобиняк, когда шел на ночь сторожить зерно на току или ехал на станцию).

Пока звучит присказка, все должны успеть спрятаться. Уговор — со двора не выходить, в огороде не прятаться. Мы прячемся, кто где может: за колодцем, за собачьей будкой, за сараем...

Я решила спрятаться в темной комнате (она ведь есть в каждом доме). Называется она интересно — хыжка.

Войдя в полутемное помещение, я увидела сундук. Значит, надо за него спрятаться. Но только я туда шагнула, как полетела куда-то вниз, не успев, ни закричать, ни опомниться, ни даже испугаться.

Оказавшись в полной темноте, я ощупала все вокруг: я вся мокрая, липкая, кругом скользко и темно.

— Здесь никого нет, — услышала я Верочкин голос и поняла, что ищут меня.

Но я сидела молча. Когда дети меня не нашли, сказали дедушке, что я, наверное, ушла домой. Но Колька играл возле ворот и сказал, что я не уходила. Тогда меня стали искать все.

В темную комнату заходит тетя Настя, потом баба Васька. Она тоже ищет меня, но я ее боюсь. У нее на лбу огромная шишка. Когда-то в молодости ее ударила рогом корова и шишка от удара осталась. Со временем она выросла, и баба Васька завязывала платок чуть ли не до глаз. Казалось, она всегда сердится. Когда я услышала, что вошел дядя Ваня, я громко закричала:

— Дядя Ваня, я здесь, вытащи меня отсюда.

— Так там же лестница, лезь по ней, — сказал он и осветил мне спичкой.

Там, действительно, была лестница, но я со страху ее не заметила.

Появившаяся из подвала девочка вызвала бурю смеха — я перевернула там сметану, молоко, томат, и вдобавок высевки (это то, что остается после просеянной муки и отдается маленьким поросяткам). Все это было на мне.

Верочка с тетей Настей отмывали меня, пытались расчесать мои волосы, но потом было решено надеть Верочкино платье, платок и отправить меня домой. Дома бабушка все приведет в порядок.

Так закончился мой первый, но не последний, полет в погреб.

Повторяла я этот полет еще дважды, но в другое время и в другом месте, и с более плачевными последствиями.

Как говорят, могло быть хуже. Через 50 лет, падая с трехметровой высоты на цементный пол, отделалась один раз поломанной ногой, а другой раз синяками. Что значит «тренировка с детства»!

Вечером, когда садится солнце, а стекла домов еще отдают его лучи, на деревню опускается вечерняя прохлада, все вокруг оживает.

Где-то слышен смех, разговоры, лай собак и шум молодежи. Люди ужинают во дворе, отдыхая от дневной жары, открывают дверь в дом, чтобы и туда дошел прохладный воздух. Молодежь собирается у кого-нибудь на дворе. Далеко разносятся песни, смех, шутки. Никто не сердится на этот шум, лишь улыбаются, вспоминая свою молодость. А бабушка наша смеется:

— Молодежь — вечером не уложишь, утром не поднимешь, это молодежь.

Если на улице дождь или холодно, то собираются в хате у какой-нибудь одинокой старушки и гуляют там иногда до рассвета. Отсюда и название этого времяпровождения — «досвидки», что в переводе значит — дорассвета.

Зимой в такой хате девушки вышивают и даже прядут пряжу. Прялки не уносят домой, оставляя там на всю зиму.

Но летом все гуляют во дворе или в аллее колхозного сада.

Сегодня в клубе показывают кино — там стоит движок, который очень тарахтит. Шум слышно по всему селу и все знают — сегодня будет кино.

В клуб приходит молодежь из других деревень. Дядя механик включает большую лампочку. Сразу становится светло и весело.

Иногда Соня ходит туда и, конечно, я с ней. Кино — это очень интересно. Только долго, а мне хочется спать, и я начинаю проситься домой. Соня сердится и грозит больше не брать меня с собой.

Домой идти страшно — собак на ночь отпускают с привязи, и они спокойно разгуливают по деревне. Хотя отвязанные собаки не кусаются (так объяснила мне Соня), я все равно их боюсь. На улице очень темно. В городе у нас был свет — лампочки на столбах и лампочка посередине комнаты.

А здесь на столбах ламп нет, а дома керосиновая лампа. Зажигали ее летом не часто и ненадолго. Все надо было приготовить пока светло, а покушать можно и без света, всем было налито молоко в чашки и приготовлен хлеб — это наш ужин.

Выпив молоко с хлебом, мы лезли на печь и там еще долго шептались, пока строгий дедушкин голос нас успокаивал: «Тихо! Спать! И ни звука!»

Мы замолкали, а через минуту уже крепко спали.

Утром солнышко встает рано. В верхушках деревьев уже просвечиваются его золотые лучи. Очень скоро они уже заглядывают в окно: из каждого окна вливается по четырехгранному пучку солнечного света, на вид такого плотного и осязаемого, что хочется потрогать его руками.

Проснулись птицы, засуматошились в кустах сирени, защелкали, засвистели. На траве блестели и переливались прозрачные капельки росы. У окна стоит березка. Белая-белая, тоненькая-тоненькая. Она опустила ветки на подоконник и стоит, как живая.

Наступало чудесное летнее утро, свежее от росы и горячее от солнца.

Но я не вижу этой красоты. Я сплю.

Утром меня никто не будит, и я могу спать или просто лежать на печке, сколько захочется.

Дедушка ушел на работу — он сторож на бахче, а бабушка с Соней ушли на прополку сахарной свеклы.

В хате тихо, только на стене над лавкой мирно тикают ходики. Между окон висит портрет молодого парня. Это мамин младший брат — дядя Саша. У них интересная история: мамина старшая сестра — Александра. Когда родилась мама, ее решили назвать Оксаной. Крестные родители поехали крестить ребенка в церкви, а потом зарегистрировать в сельсовет. В церкви батюшка, услышав имя Оксана, сказал, что Оксана — не святое имя, и предложил назвать именем крестной матери.

Ее звали Александра. Вот и ребенка назвали Александрой.

В сельсовете, соответственно, выдали свидетельство о рождении — Александра.

Когда же родился младший брат, крестные, видно, хорошо «взяли на грудь» и назвали его — Сашко, значит опять Александр. Так их и звали: тетя Саня, мама Шура, брат Сашко. А в документах — все Александры.

Рядом висит красивое большое овальное зеркало в коричневой раме. Правда, его кто-то испортил — начертил посередине линии, поэтому тетя Оксана (наша соседка в Пирятине) и отдала его маме. Теперь оно висит на самом видном месте. Такого зеркала в Покровщине ни у кого нет!

Когда никого нет в хате, я люблю смотреться в это зеркало, строить рожицы. Особенно смешно, если держать себя за уши и показывать язык!

Однажды за этим занятием меня застала бабушка и сказала, что так делать нельзя, это большой грех.

Конечно, бабушку я слушаюсь, но вот слово «грех» меня всегда смущает: надо будет спросить у дедушки, почему «грех». Он всегда интересно рассказывает.

Почему «грех» сидя на лавке болтать ногами — испачкаешь стенку под лавкой, надо будет белить снова.

«Грех» выливать воду поздно вечером — солнышко село, вода не высохнет, будет скользко. Кто-то не заметит и пойдет по мокрому — поскользнется, может упасть.

Вечером, когда мы с дедушкой сидели под шелковицей, я спросила у него почему «грех» строить рожицы в зеркало.

— А ты помнишь, — сказал дедушка, — когда Соня тебя испугала в сених, как ты плакала?

Еще бы не помнить! Мы с дедушкой пошли вечером в туалет. Я уже возвращалась, а дедушка еще задержался. Соня в темных сених как «гавкнула» на меня. Я со страху закричала что было сил, а потом долго плакала.

Дедушка с бабушкой боялись, чтобы не приключилась беда от испуга.

А уж Соне за такую «шутку» попало, как надо. Плакали мы вместе.

— Так вот, — продолжал дедушка, — если ты скорчишь рожицу, а в этот момент тебя кто-нибудь испугает, то ты останешься навсегда с этой рожицей. Поэтому никогда нельзя этого делать, и нельзя в темноте смотреть в зеркало — можешь испугаться.

Теперь в зеркало я смотрюсь, когда расчесываюсь или примеряю Сонины наряды.

Но сегодня мне не до зеркала.

На столе под полотенцем мой завтрак — яички и хлеб с взваром (это компот из сухофруктов, но вместо сахара отвар из сахарной свеклы). Я быстренько завтракаю и скорее бегу на улицу.

Что это за шум во дворе напротив? Дедушка Христан причитает и кричит «помогите!». Подхожу ближе, от бабушки Одарки узнаю, что в колодец упал котенок, и его не могут достать.

У нас тоже есть котенок, я люблю с ним играть, но бабушка строго следила, чтобы я, поиграв или погладив котенка, немедленно мыла руки с мылом.

— А зачем мыть руки, ведь котенок такой красивый и чистенький? — спросила я.

— На каждой волосинке у котенка есть маленький червячок, и он спит. А когда ты гладишь котенка, то будишь червячка. Он прилипнет к твоей руке и попадет на стол, на хлеб и к тебе в рот, и вырастет у тебя в животике большой червяк, — объяснила бабушка.

Я представляла, как червячок попадает ко мне в рот, и сразу бежала мыть руки. Эти слова всплывали в моей памяти, когда я играла с котенком или собакой и на всю жизнь утвердили привычку — мыть руки сразу, как только погладила кошку или собаку.

Интересно посмотреть на котенка дедушки Христана, я его знаю — он такой черненький и пушистый. Но дедушка прогнал меня от колодца, а баба Одарка шепнула, чтобы я позвала кого-нибудь из взрослых на помощь.

Из взрослых сейчас никого нет дома — все на работе.

Я вспомнила, что из армии пришел Василек — мамин двоюродный брат. Он же взрослый, и не на работе!

Мигом я добежала до их дома и, как умела, рассказала Васе про бедного котенка.

Вася быстренько надел свою военную рубашку с какими-то блестящими значками, и мы уже у деда Христана во дворе.

— Дайте веревку, — командует Вася.

Дед Христан берет веревку, которой был привязан теленок и, обвязав ею Васю, спускает его в колодец.

Затаив дыхание мы с бабой Одаркой наблюдаем все это издали, нам не разрешают и близко подходить к колодцу.

Но что это — веревка обрывается, дед Христан падает у колодца, а Вася с криком летит в колодец.

— Беги, зови людей, — говорит мне баба Одарка.

Я выбегаю за ворота, но куда бежать, не знаю. Вдруг, о чудо, в конце улицы я вижу своего дедушку.

— Дедушка, скорее, утонул котенок и Вася!

— Где, как?

Но я ничего не могу объяснить, лишь тяну его за руку, и прошу идти поскорее.

Дедушка подбежал к колодцу, о чем-то говорит с Васей. Потом бегом бежит к нашему дому, снимает с колодца цепь, на которой висит ведро и вот он уже опускает ведро в колодец, где котенок и Вася. Конец цепи привязывается за яблоню. Теперь дедушка накручивает цепь на колодезный валик и появляется

Вася на ведре, а на плече у него котенок.

Бедный котенок! Он мокрый и такой маленький!

Не успел Вася вылезть из колодца, как котенок стремглав ринулся от колодца, залез на яблоню и жалобно замыкал.

Ни к бабе Одарке, ни ко мне он не спустился, как мы ни звали.

Вася мокрый, но веселый рассказывал моему дедушке о своем приключении и благодарил его за помощь, а дедушка выговаривал деду Христану, что он взял гнилую веревку для такого дела.

Все окончилось хорошо и все спокойно разошлись по домам.

Солдат

Село наше большое. В нем три улицы. Главная, конечно, наша. По ней едут все машины и повозки на станцию и возвращаются домой или едут дальше в другое село — Осюки.

Это далеко, я там никогда не была, но слышала, что бабушка там когда-то жила. Она не любила об этом говорить, и никто ее не расспрашивал.

На станцию все ездят часто, там и большие магазины, и базар, и поезда.

Наша хата пятая с начала улицы. Здесь нет ни названий улиц, ни номеров на домах. Все и так друг друга знают.

Надо выйти за ворота, и тогда видно далеко-далеко. Если едет машина, то еще за Гулакивкой (это маленькая деревушка перед нашим селом) видно столб пыли. Пыль эта особенная и называют ее «курява». Она мелкая, легкая и очень теплая. Когда идешь по ней босиком, то ноги просто тонут в ней, а за тобой остается клуб пыли, которая долго держится в воздухе. Наверно, поэтому у нас не было у ворот лавочек, не сидели там бабушки. Но всегда выглядывали на дорогу — не идет ли кто, может почтальон, может кто из сельчан.

Прохожие делились новостями, угощали детей конфетой или пряником.

На улице жарко, и мы с дедушкой сидим во дворе под шелковицей.

Но разве я могу долго усидеть на одном месте? Интересно, не идет ли кто по дороге? И я уже за воротами.

— Кто-то идет, и уже возле мельницы, — докладываю я дедушке.

Наконец, я вижу, что в село идет солдат. За плечами у него мешок, а в руке палка, на которую он опирается и немножко хромает.

Поравнявшись с нашими воротами, он приветливо здоровается с дедушкой.

— Заходи, отдохнешь, попьешь водички, — приглашает его дедушка.

Вода у нас очень вкусная. Все соседки идут к нам, чтобы набрать воды, хоть у них свои колодцы есть. Дедушка всем разрешает брать воду, но только нашим ведром. Чужие ведра в колодец опускать нельзя.

Солдат подошел к дедушке, поклонился и сел на бревно, которое у нас лежало возле дома вместо лавки.

Попив водички, они закурили и стали выяснять, откуда, куда и к кому идет солдат, где он воевал и еще что-то, совсем мне не интересное.

Скушав пряник, которым меня угостил наш гость, я сидела на коленях у дедушки и внимательно разглядывала значки, которые были прикреплены у него на военной рубашке. Такие значки я видела и у Васи. Может, он его знает?

Но спрашивать нельзя, когда разговаривают взрослые. Это я хорошо знаю. А дядя красивый, большой, и пахнет от него чем-то особенным, незнакомым.

Но вот солдат засобирился уходить.

— Дядя, а Вы не хотите остаться у нас и быть моим папой? — неожиданно даже для себя спросила я.

Солдат присел на корточки, погладил меня по голове.

Дедушка закашлялся и пошел к колодцу попить. Солдат молчал. Мои глаза наполнились слезами.

— Знаешь, деточка, — наконец заговорил он, — я, конечно, остался бы, но ведь меня ждет такая, как ты, девочка и маленький мальчик. Вот я пойду к ним, а потом мы все вместе придем к тебе в гости. Договорились?

Он поцеловал меня в щечку и быстро пошел по дороге.

Я долго ждала, когда они придут ко мне в гости, но они не пришли.

Дедушка сказал, что у солдата болят ноги, и ему тяжело ходить так далеко.

В детстве время летит стремительно. События одно за другим заполняют мои дни, и я вскоре забываю о солдате.

Пройдет совсем немного времени, и другой солдат войдет в мою жизнь.

«Боженька, помоги!»

Вчера вечером к нам приходила тетя Дуня. Она работает в медпункте, и принесла дедушке какие-то лекарства. Она попросила меня рассказать стишок, а потом что-то долго объясняла дедушке. Интересно, о чем они шепчутся?

Утром после завтрака дедушка попросил меня сказать три слова «ласточка, рыба, рак». Я громко сказала «ясточка, йыба, як».

Поставив меня на лавку под часами, дедушка сказал:

— Громко говори «ласточка, рыба, рак». Пока не скажешь как надо — на улицу не пойдешь. Ты уже большая и должна говорить правильно, а то все будут над тобой смеяться.

Он ушел, а я, конечно, в слезы. Так строго со мной дедушка разговаривал очень редко.

Поплакав, я решила попробовать говорить правильно эти слова, но у меня ничего не получалось. Я и кричала их, и шептала, но все напрасно.

На стене над окном висела икона Боженьки, который все время смотрел на меня. Бабушка всегда мне говорила, что он ей рассказывает, если я балуюсь.

— Ведь я не балуюсь, — обратилась я к Боженьке, — а у меня не получается. Помогите мне, я слушаюсь и дедушку, и бабушку!

Но Боженька лишь строго смотрел на меня. Из последних сил, со слезами я стала громко кричать — «ласточка, рыба, рак» и, о чудо, у меня получилось!

Я сама не поверила в это и повторила эти заветные слова еще несколько раз. Все правильно. Ласточка, рыба, рак!

Радостная, я выбежала во двор и закричала еще издали — ласточка, рыба, рак!

— Ну, вот и молодец, — похвалил меня дедушка, — посмотришь, как обрадуется мама, когда узнает, что ты уже все говоришь правильно.

Но когда это мама придет, а мне необходимо сейчас кому-нибудь рассказать о своей победе!

Спросив разрешения у дедушки, я побежала к подружке, что жила на соседней улице.

На дорогу выходить не надо — просто перейти наш огород и соседский сад.

У подружки большая семья — у нее три брата и сестра. Но мы гуляем все вместе, и здесь я свой человек. Правда, есть еще старший брат, но он живет в городе у Катиной тети и приезжает очень редко. Он уже взрослый и такой

красивый! Нас называет «малышками», а гулять ходит с другой компанией.

Только почему это у них так тихо? Катя сидит за домом на лавочке, а мальчишек никого не видно.

— Что случилось? — спрашиваю я у Кати, но она, приложив палец к губам, уводит меня в сад и рассказывает о своем горе. — Мальчишки купили сигареты «Ракета» и пошли в колхозный сад. Там забрались на яблони и курили. Генка выкурил целую пачку, Толька тоже почти половину пачки, а Юрко только немножко покурил (он самый младший, ему 6 лет, а братья старше его на год-два) и упал с дерева. Соседские девчонки видели все и рассказали отцу. Когда ребята пришли домой, то получили ремня, только Юрку не попало, он был весь белый, и мама отпаивала его кислым молоком. А теперь они на меня сердятся, что это я все рассказала, и не играют со мной, — со слезами рассказывала Катя.

Я успокаивала ее, как умела, и сама забыла, что пришла похвастаться. Пришла Катина сестра и позвала Катю ужинать. Я пошла домой, раздумывая, какие глупые мальчишки. Ну, зачем идти в колхозный сад, в их саду такие хорошие деревья, с них не упадешь. Да они вообще ненормальные, особенно Толька. Зимой пошел кататься на ставок, так что придумал: попросил у Погребняк Ваньку коньки покататься, а они ему оказались малы, ведь он был в отцовских валенках. Тогда они отрезали носки у валенок, а чтобы снег не попадал, засунули эти носки внутрь валенка. Привязали коньки к этим валенкам, и он катался до самого вечера. Когда пришел домой, валенки закинул под печь — сушиться. Утром отец нашел эти валенки, так Толька босиком по огороду от отца бегал, а потом на улицу не выходил, пока его брат — Сашко привез свои валенки из города. Он в городе ходит в сапогах. Отец ходил в Сашковых валенках, а Толька в своих «курносых». С тех пор его так и прозвали — Толька курносый, хоть нос у него обыкновенный, как у всех.

Задумавшись, я пошла домой, но уже не через огороды, а вокруг, по улице.

Дедушка меня учит, что село — это не город, здесь все свои и со всеми надо здороваться, что я и делала с большим удовольствием.

Я останавливаюсь возле каждого двора и смотрю, нет ли там кого-нибудь.

Если вижу во дворе или в огороде хозяев, громко кричу: «Здравствуйте, баба Саня» или другое имя, ведь я здесь всех знаю. Когда дедушка шел по деревне, ему говорили, что его внучка мимо не пройдет, всегда здоровается, да так громко!

Дома меня уже ждут. Во дворе стоит маленький столик, и мы ужинаем. Мое любимое блю-

до — кислое молоко, наложенное ложкой, чтобы не разбились куски, и залитое свежим молоком. Кусок хлеба с горбушкой дополняют мое счастье. На улице быстро темнеет, значит, пора спать.

Утром я проснулась поздно, дедушка ушел на работу. Уже поспели арбузы и дыни, и дедушка смотрит, чтобы на бахчу не заходила скотина, и мальчишки не воровали арбузы. Бабушка и Соня ушли на огород.

На столе стоит мой завтрак, накрытый вышитым полотняным рушником. Что же мне оставила бабушка? Большая миска фруктового киселя и кусок белого хлеба! Кисель бабушка варила особенный. Сухофрукты в киселе — груши, вишни, абрикосы и яблоки — все было очень вкусно. Но было нерушимое правило: кушать кисель сверху донизу, а не снимать верх — шкурку. А эта самая шкурка для меня была самое-самое вкусное в киселе.

Я и не заметила, как я ее сняла и скушала. Миска была большая, мне ее не осилить, а кисель без шкурки! Что скажет бабушка! Я быстро прикрыла кисель полотенцем. Слезы градом катятся по щекам, и тут я увидела, что Боженька строго смотрит на меня со своей иконы и, конечно, все расскажет бабушке.

— Боженька, натяни шкурку на кисель, — рыдая, прошу я. Но Боженька только с укором смотрит и молчит.

— Боженька, Боженька, натяни шкурку на кисель! — продолжала рыдать я.

За слезами просьбой о помощи я и не услышала, как пришла бабушка. Она сразу все поняла и сказала, что сейчас сама скушает оставшийся без шкурки кисель, ругать меня не будет, но больше так нельзя делать.

Вечером она рассказала о случившемся дедушке, и они почему-то улыбались. Дедушка даже решил мне завтра придти к нему на бахчу — принести обед.

Для меня этот поход стал большим событием, о котором я помнила всю жизнь,

А слова «натяни шкурку на кисель» тоже остались в нашей семье, как просьба о чем-то невыполнимом.

Макар телят пасет

Бабушка мне объяснила, что идти к дедушке можно, когда тень от дома достанет до плетня. Я никогда не замечала, как медленно движется тень. Может солнышко зацепилось за тополя и совсем не двигается? Я уже успела сбегать к подружке, налить водички курочкам и спеть все свои песенки, несколько раз полить полотно. Но тень была еще далеко от плетня. Надо ждать. Ослушаться бабушку я не смела. Наконец-то, тень дошла до плетня. Значит, можно идти. Я аккуратно свернула полотно и положила его под хату — тут корова не наступит.

На лавке лежит шанька с обедом для дедушки. Шанька — это небольшой холщевый мешочек с ручками. Раньше Соня ходила с нею в школу, а теперь ей купили сумку, а эту шаньку бабушка иногда берет, когда идет в магазин, или дедушка с собой на дежурство.

Перекинув ее через плечо, я вприпрыжку отправилась к дедушке на бахчу. Дорога туда не близкая, но очень интересная.

Вначале надо дойти до колхозного сада. Сад виден издалека. Возле каждой деревни свой колхозный сад. Вокруг сада в два ряда стоят строгие, прямые тополя. Осенью, когда в саду все листья уже опадут, тополя все еще стоят в полном убранстве и их видно далеко-далеко. Между тополями — красивая, всегда тенистая аллея. Трава там мягкая и душистая, а летом и осенью там находят грибы. Правда, я никогда не находила, но подружки, что старше, хвастали, что нашли какие-то шампиньоны. Тополя шелестят листьями, и пахнет здесь особенно. Когда бывает праздник «Зеленое воскресенье» (Троица), у нас в доме всегда вешают такие ветви. В хате сразу стоит тополиный запах, как в этой аллее. Я не спеша бреду по траве, разглядывая гнезда на деревьях.

Вот и конец аллеи. Дальше — скотный двор и ставок (пруд). Солнышко еще высоко, но я, не замечая жары, спешу поскорее пройти мимо скотного двора, а там за ставком и бахча. Вот за этим забором — птичник. Там белые, как снег, гуси и утки, а в отдельной загородке маленькие желтенькие гусята. Трогать их нельзя, да я и не хочу — боюсь гусака, который свободно гуляет и шипит на всех, норовя ущипнуть.

Еще дальше свинарник. Там бегают маленькие бело-розовые поросятки с тоненькими, закрученными колечками хвостиками, а в отдельных клетках лежат большие жирные свиньи, которые даже не могут ходить и только, лениво подняв свои розовые пяточки, смотрят на всех маленькими, заплывшими жиром, глазками.

Скотный двор, конюшня для меня особое место — там работает мой дядя Ваня. Когда он приходит к нам, я всегда прошу его покатать меня на лошадке. Он берет меня с собой на конюшню. Лошадок здесь много и я их не боюсь. Дядя Ваня помогает мне взобраться на рыжую Звездочку. Она не фыркает, как другие и ее можно гладить по голове, заплетать в косичку ее челку.

Надо подойти ближе и посмотреть, может дядя Ваня здесь, так хочется покататься на Звездочке!

Я подошла ближе. Дяди Вани нигде не видно, только мальчишки бегают возле привязанного у колодца быка, что-то кричат и машут палками. Совсем не интересно и я иду дальше.

Но что это за вопли раздаются сзади? Мальчишки гурьбой убегают, а бык несется за ними. Длинная цепь волочится за быком, но ему это нисколько не мешает. Самое страшное, что все они бегут в мою сторону! Возвращаться в сад нельзя, бык уже между мной и садом. Возле кучи соломы стоит одинокая груша. Груши на ней невкусные и мы никогда к ней не ходили, но сейчас я мигом взлетаю на грушу, а мальчишки следом за мной. Я не помню, чтобы я когда-нибудь лазила на грушу. Ветви ее густые и колючие. Шипов так много, что не уколоться невозможно. Но никто не замечает укулов и царапин — бык уже возле груши! Глаза у него красные, шерсть рыжая и мокрая. От злости он разметывает солому и бодает грушу, роет копытом землю.

Мы все дрожим от страха, но груша большая и крепкая, быку ее не сломать.

Я не знаю, сколько мы там просидели, но быку надоело трясти грушу, и он отошел в сторону. Вовка решил слезть с дерева. Не успел он достать до земли ногою, как бык уже тут. Сколько же мы будем сидеть здесь? А как же дедушка? И вдруг я понимаю, что шаньки с обедом для дедушки у меня нет!

Сквозь густую листву я пытаюсь разглядеть, где я ее потеряла, но ничего не вижу. От страха, боли или обиды я начинаю громко плакать. Мальчишки сначала смеются надо мной, потом начинают успокаивать.

Наконец-то, о счастье, во дворе показался дядя конюх. Мальчишки стали громко кричать, звать его на помощь, а бык снова начал трясти грушу. Конюх услышал крики, взял кнут и подошел к быку. Громко ругаясь и на быка, и на нас, он взял цепь и повел быка во двор, а нам пригрозил вернуться и всыпать кнутом, чтобы не ходили, куда не надо. Не дожидаясь его возвращения, мальчишки слезли с дерева и убежали. А у меня болели все царапины, я сидела на груше и плакала.

Дядя конюх пришел к груше уже без быка и без кнута. Он помог мне слезть с дерева, велел поплевать на царапины.

— До свадьбы заживет, — улыбаясь, сказал он, — а зачем ты с мальчишками на двор пришла?

Я ему объяснила, что я иду к дедушке на бахчу, а бык бежал прямо на меня, поэтому я залезла на грушу и потеряла шаньку с обедом.

— Этой беде мы поможем, — и он стал искать пропажу. Но ее нигде не было. Неужели бык ее съел?

— Да вон она, висит на груше!

Действительно, шанька висела рядом с тем местом, где я сидела. Дядя конюх взял длинные вилы с двумя зубьями и достал мою потерю.

— Ну, теперь ступай, здесь до бахчи совсем недалеко.

Уже не так резво я поплелась вдоль пруда. На мостике женщины брали воду для полива. Пришлось обойти по тропинке стороной, чтобы они не видели, что я плачу.

А вот и бахча. Дедушку видно издалека. Он сидит на вышке. Сверху вышка покрыта соломой, чтобы солнце не пекло так сильно. Увидев меня, дедушка поспешил навстречу.

— Что это ты так припозднилась? Я боялся, что ты заблудилась.

Я хотела ему все объяснить, рассказать про быка, про грушу, но в горле у меня что-то сжалось, и я громко заплакала.

Только дедушка мог меня так успокоить. Не говоря ни слова, он взял меня на руки и принес на вышку, долго гладил меня по голове и молчал. Наконец, я перестала плакать.



Моя хата



Моя мамочка самая красивая



Семейное фото



В нашей семье радостное событие – у меня есть братик!



Я с Раей после концерта в школе, где мы танцевали украинский танец.

— Ну, успокойся, все прошло. Посмотрим, что же нам бабушка дала на обед, — вынимая сверток из мешочка, сказал он.

В свертке оказалось соленое сало, хлеб и огурчики. Сала я не хочу, а вот огурчик с удовольствием съела. У дедушки с собой была бутылка свекольного кваса. Квас был теплым, совсем не такой, как дома. Но я очень хотела пить, и он мне показался очень вкусным.

Покончив с обедом, мы устроились под навесом.

— Дедушка, а бахча большая?

— Очень большая. Ты видишь вон там сад Григоровки (деревня в 6 километрах от нашего села), так вот наша бахча до этого сада.

Да, это, конечно, очень далеко.

— А что там возле сада ставок? Он больше нашего? Там такие волны?

— Нет, там никакого ставка нет. То, что ты видишь, не волны, просто там Макар телят пасет.

— У него так много телят? А где они спят, там такой большой сарай? — засыпала я дедушку вопросами.

— Нет, сарая там нет, там и телят нет, это так говорят «Макар телят пасет», а те волны, что ты видишь, это горячий воздух, как пар с кастрюльки, когда в ней горячая вода.

Я толком ничего не поняла, но то, что там «Макар телят пасет» надо запомнить. Скоро мы с бабушкой пойдем в гости к бабушкиной сестре в Григоровку, и я посмотрю на этих телят и Макара.

Солнышко начало опускаться за сад, стало не так жарко. Я уже хотела идти домой, но дедушка сказал, что надо подождать, пока пройдет с пастбища скот, помочь пастуху не пустить коров на бахчу.

Я устроилась на деревянном настиле вышки и все ждала, где же стадо? Но кроме огромного клуба пыли ничего не видела.

Дедушка взял большую палку и пошел в сторону пыльного облака. Облако быстро приближалось, и вот уже я вижу коров, которые почти бегом следуют к селу. Два пастуха и дедушка стоят у края бахчи и машут палками, а коровы так и стараются зайти на бахчу, чтобы схватить траву, что растет в арбузах или даже целый арбуз.

Но вот стадо прошло. Дедушка весь в пыли, но довольный, что не пропустил коров к арбузам, подошел ко мне.

— Ну, теперь можем спокойно идти домой, мы свое дело сделали.

Дорога к дому кажется короче. Дедушка показал мне маленькие деревья, что школьники посадили весной.

— Деревья растут быстро. Вот увидишь, скоро здесь будет лесополоса, и ветер не будет гонять пыль по всему полю.

— А елки тоже будут здесь расти? Тогда мы их нарядим на Новый год, будет красиво! Я видела большую елку в Пирятине.

— Нет, елки у нас не растут. Им здесь очень жарко. У нас хорошо растет липа, клен, тополь, ясень и дуб. Когда ты вырастешь, будешь собирать здесь грибы.

Так в разговорах мы и не заметили, как пришли домой.



Молодые берега

Алина Серегина

Родилась и живет в подмосковном Томилино. Актриса театра кукол «Радуга». Автор двух поэтических сборников «Право на тебя» (2010) и «Рифмы до востребования» (2013). Лауреат российских и международных поэтических конкурсов и премий, таких как Премия Петровской академии наук (1 место), Хрустальный родник (2 место) и др.



И мне покажется...

А он потянет за поясок
Да обожжётся о незагар мой...
И мне покажется, я — песок,
Песок не са'харный, но саха'рный.

Я выдам глупости на-гора,
И он подумает: «Ты близка мне...»
И мне покажется, я — искра',
Впервые высечена из камня.

И растечется ненужный грим,
И благодарность заменит просьбы,
И мне покажется, я — Гольфстрим,
И без меня он давно замерз бы.

Господь нас снова нам ниспослёт —
Пусть не примерным, но христианам,
И мне покажется — я полёт
Над Атлантическим океаном.

Я буду смесью из всех стихий,
Не понимая, зачем строка мне,
Пока не вспомню, что я — стихи,
И буду высечена на камне.

Золотой налив

Тебе не хочется об этом —
Ноже, верёвке и свинце,
Но если ты рожден поэтом,
Так страшно думать о конце...

Ты мог быть лёгким и счастливым,
А жизнь — уютна и тиха,
Но зреют золотым наливом
Плоды раздора и греха,

Твой крик сквозь век до срока врос в тишь,
Так выдай всё до потрохов,
Ведь гнёт к земле, пока не сбросишь
Тугие яблоки стихов.

Плевать, что ты пустой и слабый!
Пока кровят твои слова,
К тебе, ликуя, тянет лапы
Твоя кабацкая Москва,

Костюм концертный ладно скроен
И жадно ждёт тебя партер...
Забудь, что он уже построен -
Твой персональный Англелер.

А я была бы крестьянской девкой...

Вот жизнь научит — и станешь дерзкой.
Не избалуют — и не проси!
А я была бы крестьянской девкой,
Когда бы в старой жила Руси.

Не знала б химий да прочих физик,
Без них понятно: весна к теплу.
А если б барин меня и высек -
Дак то ж за дело, а не по злу.

Не избежала б любовной драмки,
(Таких-то видных сыщи в селе!)
И принесла бы однажды мамке
Большой подарок да в подоле.

И пусть бы бабьи жужжали жала,
А мне не жалко, а мне чего?
Борщи б варила, сынка рожала,
Да причащалась не в Рождество,

А так, как надо — ежесекундно,
Безмерно веря, что Бог спасёт.
И мне бы было неинтересно,
На что родилась, жила б — и всё!

Молву гнала бы за створки ставень,
Да ухажёров — парней-кутил.
Меня бы барин да не оставил,
Меня Господь бы за всё простил.

Когда там думать о произволе?
Вон печь, вон пряжа, вон решето...
А нынче — воля, сплошная воля,
Да только бабе она на что?

И борщ неясно кому наварен,
И на работе сплошной завал...
Чего глядишь-то? Голодный, барин?
Айда-ка ночью на сеновал!

Но был июнь...

А встретиться мы, к примеру, в ноябре —
И я взялась бы капать ядом с жала;
Бежать домой, мол, я — воображала;
Искать несовершенства на бедре,
Ногах и животе; залезть под плед;
Печально щёлкать пультом; между делом
Решить, что всё! — пора заняться телом;
Доесть четвёртый маковый рулет;
Поплакать в одинокую кровать
И заключить, что гордость — это сила!..

...Но был июнь, и я его спросила:
- Не мог бы ты меня поцеловать?
И будь ноябрь, он мог бы отойти;

И пальцем у виска крутнуть, нахмурясь;
Поёжиться — мол, дуришь, просто дуришь!
Уткнуться в телефон — мол, кто в сети?
Пророчить мне проблемы и провал;
Лечить тоску таблеткой цитрамона;
Решить, что я вконец бесцеремонна...

Но был июнь, и он поцеловал.

Наверное, мы оба это зря,
Страданий нет, что для поэтов скверно...
Придётся быть счастливыми, наверно —
Как минимум, теперь до ноября.

Калининграду

Уезжаю от прошлого, жму отбой,
Говорю: «Мы не станем уже другими...»

Здравствуй, город! Учи меня быть собой,
Даже если меняешь судьбу и имя.

Ты доволен, хорош, новизной обнял,
Всё так молодо — площадь ли, корабли ли...
Только раны брусчатки ещё саднят
Там, где память покуда не удалили.

Улыбаешься — мол, я немного строг,
Но на сердце легко и цветут люпины -
Славно сыграно! Перед тобой, игрок,
Волны Балтики гнут ледяные спины.

Я боюсь на брусчатку ступить ногой -
Ты, брусчатый, чужее и непокорней...
Здравствуй, город! Учи меня быть другой
И цепляться за жизнь, обновляя корни.



Молодые берега

Евгений Соя

Евгений Соя (Ес Соя) — молодой поэт из Одессы. С 2009 г. широко известен как сетевой автор. С этого же времени постоянно гастролирует и проводит живые выступления. В ноябре 2012 Ес Соя записал CD совместно с Дэвидом Артуром Брауном из Brazzaville. Выпустил следующие поэтические книги и сборники: «More» (2010), «Бери» (2010), «Цветы из ничего» (2011), «Hitorimakura» (2012), «Vrsk» (2013), «Юности» (2015), «Saudade» (2016). Его стихи и выступления пользуются большим успехом в России, на Украине, в странах ближнего зарубежья, которые он также часто посещает в рамках своих ежегодных туров



* * *

я придумаю новый язык
буквы
разделительные знаки
я насквозь изучу
глаза голубой собаки
заточу писательский штык
и пойду воевать
за любые цвета и цветы
я придумаю новый язык,
чтоб в нем можно было рифмовать
я и ты
я и ты

* * *

в отношении большинства стран
я говорю «не был»,
может, поэтому и грешу пустыми страницами.
но я точно знаю,
где самое красивое небо.
самое красивое небо
под твоими ресницами.

* * *

утром этот город такой простой,
ворочается в постели, без привычного грима.

я сегодня почти святой,
глянь на мой нимб из сигаретного дыма.
так что, словно виноградную гроздь сорви
с моих губ эти слова, моё напутствие.
я видел пару людей, умирающих от любви
я видел миллионы, гниющих в её отсутствии.

* * *

меня нельзя обвинить в постоянстве,
но я люблю тебя
больше, чем себе может позволить человек
в этот век
в этом просторе
в этом пространстве
ты — чистейшая нота,
услышанная мной, в детстве,
в церковном хоре.
ты — суббота,
когда просыпаешься
и у тебя только одно дело — море.
я не буду что-то доказывать,
я же не пастор, чтобы кричать
«поверьте, поверьте»,
но встретив тебя,
я начал бояться смерти.

* * *

времени пленница
хрипая, подобно собачьему лаю
я жду тебя, словно Иоанна Предтечу
когда я тебя встречу —
моя жизнь изменится,
я этого боюсь и желаю.
отойдут из рек пресные воды,
по ним можно будет ходить босыми ногами,
не боясь быть укутанным скользким илом.
любовь — это свобода,
от того, что было с нами,
от того, что было с этим прогнившим миром.
и на этой улице жарко, будто в парной.
сжимается что-то насекомым в груди,
от того, что было с этим миром,
от того, что было со мной,
освободи меня, пожалуйста,
освободи.

* * *

утро недалеко. все относительно
переплывем эту ночь. держи весла.
ты удивительна
и ты замерзла.
не дай ничего забыть, Боже.
как сердце стучит, будто взрывает петарды.
ведь нет ничего дороже,
чем память — пусть ее и не примут в ломбарды
и звезды смотрят на нас пристально,
как свидетели-понятые,
и море сверкает, будто по нему пробежались
святые.

* * *

когда-то мы оба мечтали о весне подкожно
теперь далеки. невозможно.
но. я помню ту лестничную площадку
почти под крышей.

тот грязный лифт
тот теплый «липтон».
и мой монолог у твоих ног
(дело не в том, что я тебя любил,
а в том, что ты сидела на три ступеньки выше)
монолог о том, что жизнь
невозможно подкрасить,
как одну из отросших прядей.
и то, как твой сын называл меня дядей.

* * *

экспресс. город N — Воронеж.
сквозняки. тотально простыл.
смотрел в твои глаза. думал «в них утонешь»
утонул. так и не всплыл.
ночь прорастает в землю
черным упругим волосом.
ночь закончится ранним завтраком.
мне нужна тишина с твоим голосом.
мне нужна темнота с твоим запахом.

* * *

прости, я не готов к бесконечной зиме,
хоть я её вечный пророк.
в моём к тебе письме
семьдесят семь строк.
семьдесят семь лишних строк.

* * *

в этом июне я опять первогодка
падаю в жизни стог
разрежьте арбуз и пусть сок течет
по подбородку
этим летом нам скажет Бог
и я все сомневаюсь, но убеждаюсь
почти воочию
на ощупь нахожу дорогу
перебирать твои волосы огненной ночью
это и есть истинное служение Богу.



Молодые берега

Евгений Журавли

Евгений Журавли родился в 1979 в городе Ярцево Смоленской области.

Образование — педагогический факультет КГУ (ныне БФУ им. Канта). Живёт и работает в Калининграде. Сфера деятельности — малый бизнес.

Увлекается историей, экспериментальной поэзией и частной публицистикой.

В рамках сотрудничества с общественно-политическими и гуманитарными организациями, как исследователь и журналист, совершил множество поездок по странам бывшего СССР, Балкан, Ближнего Востока и Центральной Азии. В том числе — в Афганистан, Иран, Косово и воюющий Донбасс.



Естественна ли поэзия для мироздания?

Беседа с поэтом Евгением Соя

Эта беседа состоялась солнечным апрельским утром в дворике одного из утопающих в зелени маленьких гостевых домов Калининграда. Воздух был прозрачен и свеж, что давало надежду пообщаться без излишних туманностей, а с ветвей вокруг повсюду щебетали птицы. Птицы кричали о любви. Может быть, о дальних странствиях и долгой разлуке, о птенцах, весне и солнце, но всё равно, только о любви. Как ни странно, казалось, что эти птицы — единственные существа, которые могут что-то знать о человеке, с которым предстояло сейчас встретиться. Ведь на первый взгляд их жизни так похожи... Бесконечные перелёты — только за эти 2 месяца он выступил в 50 городах десяти стран. И бесконечные слова любви — ведь на каждое из этих выступлений, собирающих неизменный аншлаги, люди пришли услышать его стихи. А все без исключения его стихи — о любви, и только о любви. Полные залы и недешёвые билеты — кто после этого может сказать о невостребованности современной поэзии?

- Привет.
- Привет.
- Женья.
- Женья.
- На «ты»?
- На «ты».

Высокий молодой человек с пирсингом, татуировками, крепким рукопожатием и простой улыбкой... Восходящая звезда русской словесности. Глашатай любви. Девичий кумир. Топ интернета. Простой одесский парень. В общем, Евгений Соя. А если одним словом — Поэт.

- Начнём? — произнёс он с улыбкой.
- Да. Как тебе?
- Имеешь в виду «какое впечатление сложилось у меня о Калининграде»?
- Кому это интересно? У нас у самих есть мнение о своём городе. Мы тут давно живём. Просто интересуюсь, готов ли...
- Логично. А что, надо было готовиться? Какие-то специфические вопросы?

— Конечно. «Какого цвета небо?» И «можно ли судить о поэте по его ботинкам?»

— Ммм, неплохо. Надо бы ответить... Даже если это вопрос от дальтоника, я готов помочь. Я считаю, что небо именно такого цвета, каким ты его видишь. И только ты. Даже если остальные видят только тучи, ты, возможно, видишь и солнце за ними. В этом, даже можно сказать, суть поэзии.

— Хорошая метафора. А насчёт...

— А вот судить вообще никого не надо. Ни по ботинкам, ни по чему-либо ещё. Не наше это дело, — улыбнулся поэт.

Это было хорошее начало, сулящее тёплый приём даже такому неудачливому интервьюеру.

— Так суть поэзии в том, чтоб увидеть то, что не видят другие?

— Отчасти. Скорее, дать почувствовать более ярко то, что уже чувствуешь, но не можешь сформулировать в душе и мыслях. Ведь это так круто! Где-то прямо сейчас находится человек, только что прочитавший стих и благодаря этому остро и более ярко, чем ранее, пережил собственное чувство. Прямо представляю, как он мысленно восклицает: «Вот, же! Ну точно ведь! Как с языка снял! Ведь столько лет чувствовал это, а тут какой-то паренёк так чётко выразил...» Суть поэзии — это чудо обретения вкуса в чувстве. Осознание его.

— Получается, и способ записи чувства... Возможность его многократного переживания. А что такое поэзия вообще?

— Вообще? Это фиксация определённой красоты. В моём случае. А технически, поэзия — это искусство слов, которые складываются единственно возможным способом, необходимым для возбуждения в человеке конкретного чувства или переживания. Этот порядок слов можно назвать не иначе как алхимическим, когда понимаешь, что теперь эти слова не только рядом... По другому они просто не могут находиться. Все вместе они образуют нечто цельное, единое. Это прямо чудо. Приходят строки, и вдруг видишь, что в них есть какая-то внутренняя красота. Гармония.

— А что такое поэт?

— Кто?

— Нет, «что»?

— Я думаю, что это, наверное... Людям всем снятся сны. А поэт — это не только человек, который способен их запоминать, но и как-то об этом рассказывать. Настолько, насколько может.

— Только описывать? А создавать?

— Да. И создавать. И быть проводником в эту фантазию, в этот сон.

— Ммм, во как! То есть, если исходить из твоего определения, поэт скорее сновидец, чем сновидец...

— Да, скорее созидатель. Творец.

— Царедворец ли созданного творения поэт? Хозяин ли этого сна?

— Нет. Созданное творение выходит в мир и живёт само по себе. Иногда и не оправдывая чаяний создателя. Больше не принадлежа ему. Стихотворение — это голограмма чувства. Каждый волен брать его и применять по своему желанию. И в каждой душе, где оно принято, оно обретает свою собственную жизнь. Каждый стих — это координатная сетка, для удобства выраженная словами. Мы даём эту карту, координатную сетку, слушателю, и человек дальше уже идёт по ней сам. Наверняка делая те открытия, которые поэт заготовил ему на этом пути. Которые сам поэт уже открыл.

— Неплохо. Искатель. Бескорыстный Колумб. Сталкер в аномалии подсознания. Проводник в бушующем море чувств?

— Скорее подсказчик. Все чувства человек переживает и без нас. Но поэт способен увеличить резкость и контрастность переживания.

— А для чего всё это? Есть ли цель у поэзии? И нужен ли смысл поэту?

— Поэзия имеет право на существование даже и в отсутствии смысла. Это нельзя назвать грустным. Это величественно. Это как дар. Или судьба. Так получилось, что я нашёл себя в этом. Просто пишешь, просто выступаешь. Потому что это лучшее, что ты можешь делать.

— Без цели?

Затянувшись сигаретой, Женя поднял голову вверх, попробовав выпустить пару колец дыма... «Какая может быть цель, если у самого мироздания нет цели?» — наверняка подумал он. — «Зачем эти вопросы?» Но у мироздания есть смысл. И поэт как никто другой это знал. И знал, что смысл этот словесно невыразим.

— Я могу рассказать лишь о своих личных открытиях, — мягко сказал он... — Когда-то давно, как и любой подросток, я считал себя отличным от других, непонятым. В какой-то момент стал писать стихи — и почти сразу же они нашли какой-то отклик, начались какие-то выступления. И вдруг я понял, что множество людей понимают — о чём я, подобно мне чувствуют, и нечто одинаковое переживают. А ведь только что я считал себя в некоторой степени особенным, одиноким. И пускай они, конечно, понимают мои чувства по своему, через свою призму, но меня с ними что-то роднит. И в моём случае поэзия доказала мне, что я не одинок. И полагаю, то же самое она может доказать читателю.

— В поэзии читатель видит свои чувства, а не твои.

— Вот именно! Но это и прекрасно — найти какие-то чужие строки и понять, что этот человек говорил об этом, а если говорил — значит, и пережил. А если пережил, значит это можно пережить. Значит, это сможешь и ты. В какой-то степени смысл в этом и есть.

— Меняет ли поэзия окружающий мир?

— Всё индивидуально. Для кого-то она может изменить мир, для кого-то — нет.

— То есть, в чьём-то восприятии меняется мир, а для остальных остаётся неизменным?

— Да, возможно только внутри отдельного человека.

— То есть, действие поэзии индивидуально?

— Конечно. Уверен. Как и у любого другого искусства. Даже самое массовое — оно индивидуально в любом случае.

— Но разве простая стихотворная строка, например: «коня на скаку остановит, в горящую избу...», или «никогда мы не будем братьями», или «...немытая Россия, страна рабов, страна господ» — разве такая стихотворная метафора не влияет в дальнейшем на народы, их менталитет и историю?

— Думаю, ты преувеличиваешь. Страны и народы вряд ли изменятся. Но отдельный человек вполне может задуматься, его внутренняя сторона может измениться, или даже и взбунтоваться против нечто.. И, по большому счёту, этого достаточно.

— Вообще, может ли поэт рассчитывать на какой-то эффект от своих творений?

— Нет. Эффект есть, но он непредсказуем. Его невозможно предугадать. Он индивидуален. Просто потому, что рассчитывать на 100%-е понимание невозможно. Поэт говорит, поэт пишет, а каждый читает и понимает по-своему.

— Может такое быть, что поэт разрушает?

Евгений достал очередную сигарету, легонько постучал фильтром о сигаретную пачку, и внимательно посмотрел на сигаретный кончик. Кажется, ответа там не было. Между прочим, эта сигарета была уже четвёртая за время, прошедшее с начала разговора. Немного задумавшись, возможно, о вреде такого активного курения, Евгений всё же поднёс её ко рту, чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся сладким ядовитым дымом...

— Разрушает ли? Разве что, себя. Что-то в себе.

— То есть, в поэзии есть жертва?

— Скорее да. Как говорит Борис Борисович: «каждая песня — это террористический акт». А террористический акт не бывает без жертв. И в большей степени — это жертва поэта. Но есть и мистический аспект. Настоящая поэзия — это опасность. Поэзия — лунное искусство. Понимаешь о чём я? Солнечное искусство — то, что мы слышим по радио, а также пресса, беллетристика. И лунное искусство — то, что порождает луна. А там, где луна — там и разрушение. Опасность. И жертва.

— Лунное искусство? Интересно. А чем жертвует поэт, выдавая творения в мир?

— Сказанное слово уже не вернёшь. И это выпущенное слово уже не принадлежит тебе. Как минимум жертвуешь этим.

— Так и растратишься весь... Где же черпать вдохновение?

— Мы с тобой заходим в какие-то мистические дебри. Посмотри на этот мир! Неужели он уже описан? Скушен? Исчерпан? Поэту просто остаётся перевести его на язык слов. А там, где не из чего черпать — поэт может и создать.

— Из чего?

Поэт очертил сигаретной пачкой округлую фигуру на пыльной поверхности нашего садового столика. Упорядоченные рукой художника, бессловесные пылинки стали что-то означать. Как минимум, направление мысли поэта. Когда-то пылинки были частью чего-то земного, а ещё ранее были рождены в недрах звёзд, как и всё остальное вещество во Вселенной. Из звёздной пыли возникли планеты, а на планетах всё остальное, в том числе и снова пыль. Подобный круговорот происходит и со смыслами, которые являясь частицами нечто цельного, мечутся, ища способ слиться в одну большую истину. Чтоб когда-нибудь рассыпаться вновь.

— Из ничего ничего не берётся. Во-первых, есть большое пространство памяти, и многое берётся из большой реки ностальгии. А много — из огромного моря любви, бушующего вокруг нас.

— Ну, хорошо. Просто интересует щекотливая для творческих людей тема: «исписался», «выдохся». Нужно ли выжимать из себя, если не пишется?

— А ничего не выжмется. А если и выжмется, то только то, что никому не интересно. Но ведь это не нужно и самому себе.

— А быть трудоголиком? Например: не хочется, а надо?

— Для поэта если надо — то хочется.

— Хорошо сказано. В общем, имеешь в виду: у тебя такой проблемы не стоит?

— Не стоит. Проблемы. И, дай бог, не кончится вдохновение. Ещё есть о чём писать.

— Ну как же! Все стихи о любви... Неужели её в тебе столько?

— Как показывает практика — да. Ведь в любви ничего не теряешь, а только приобретаешь. И сколько не выплёскивай её наружу, меньше в душе она не становится.

— Это что, значит, всё, что описано в твоих стихах — твои личные переживания? Или ты описываешь чужое чувство так, как его представляешь? Или, может быть, фантазируешь об идеале?

— Да, Жень, это то, что я переживаю. Оно может быть утрировано или гиперболизировано, а иногда даже преуменьшено, но оно моё. Одно плавание по реке ностальгии чего стоит... Но и сиюминутное, то, что происходит с тобой прямо сейчас — самый-самый горячий пирожок берётся с полочки... Ох...

— Ну, неужели всё из себя? Не верится как-то... Давай ещё раз констатируем: все стихи о любви, она и только она является источником твоего вдохновения — не приходится ли тебе самому искусственно поддерживать в себе такой высокий накал чувств, разгонять движок, искать нового, если текущее чувство исчерпалось...?

— Разгонять движок? Поддерживать высокий накал? Нужно. Как и любому другому человеку, потому что любовь — это источник вдохновения не только для написания стихов, это смысл того, чтоб вставать с кровати. Это смысл того, чтобы жить.

— Да, это мощная мысль. Но хочется спросить по-простому: «не привираешь ли ты в своих стихах»? Неужели столько возможно почувствовать?

На секунду застыв, поэт перевёл взгляд и потянулся рукой куда-то под свой стул. «За топором, что ли?» — мелькнуло в голове... Однако в руках Евгения появилась бутылка минеральной воды. Чуть улыбнувшись, он наполнил стакан перед собой и ещё пару секунд помолчал, глядя, как пузырьки поднимаются из глубины. Пузырьки весёлыми струйками спешили вверх и, коснувшись поверхности, тотчас исчезали, растворяясь в окружающем воздухе. Так же как исчезает неловкость, коснувшись простой искренности...

— Только искренность, Жень. Честность. Перед самим собой. Это главное. В стихотворении не должно быть никакой фальши. Это важно. Нельзя заводить себя в дебри. Лучше тогда вообще не писать.

— Хорошо. Но насчёт высокого накала и неиссякаемости источника вдохновения хотелось бы до конца раскрыть тему: должен ли поэт быть героем-любовником, разрушителем сердец?

Поэт усмехнулся:

— Я думаю, что слово «должен» и слово «поэт» не могут быть употреблены в одном предложении.

— Круто. Это весь ответ?

— Да.

— Отлично соскочил. Попробуем более дипломатично... Ты певец не общего, если угодно — не «христианского» понятия любви, а «личного». Наша любовь персонализирована, не обезличена. Да и не вечна. И твой слушатель ищет в этих строках ответ на своё личное переживание в отношении другого человека. Но ведь они ищут и тебя... Куча поклонниц, для которых ты являешься в некоторой степени пророком... Понимаешь, о чём я? Должен ли ты сам являться желанным для них?

— Почему нет? Если мы говорим о популярности, то наверняка более желанным продуктом всегда является тот, который желанен в максимальном количестве аспектов. Герой-любовник? Не плохо. Думаю, да. Но при этом, я тебе скажу важную вещь — писать стихи о женщинах можно, даже не зная их. Лишь только увидев женщину мельком, ты однажды понимаешь, что женщина, как существо, достойна всех стихов мира.

— Любая женщина?

— Практически.

— Ммм... Тогда, наконец, вопросы погорячее: не приходится ли периодически заменять музу?

— Не всегда женщина, с которой ты живёшь, является источником твоего вдохновения. И это нужно принять. Но, в то же время есть кто-то, кто тонкой красной нитью вьётся сквозь все мои стихи, присутствует в каждой секунде моей жизни. Наверняка не зная этого. Но это отдельная тема.

— То есть, для тебя главное — быть искренним с самим собой, а экстерьер этих переживаний ты не собираешься создавать искусственно. Так?

— Как может быть иначе? Всё, что требует душа — ты делаешь. Ведь поэт — певец души, а не обстоятельств. Как говорил один наш одесский поэт, Игорь Гусев: «поэт в России — больше, чем поэт. Поэт — любовник — гладиатор». В этом тоже есть жертва. И, знаешь, в свои 24 года я уже в героя-любовника наигрался. А что мне хочется на деле — давай оставлю при себе...

— Да расскажи уж...

— Давай, констатируем бесспорное — каждый из нас хочет настоящего крепкого счастья. Такого, какое он себе представляет.

В возникшей паузе каждый на миг задумался о своём... Что такое счастье? Каждый стремится к нему, представляя по своему, но, вроде бы достигнув, не останавливается, желая большего... Достижимо ли оно вообще? И может ли быть описано словами? Наверяд ли, ведь в счастье нет слов. Они там не нужны.

— Сменим тему. Поэзия сегодня востребована?

— Думаю да. И именно настолько, насколько ей нужно быть востребованной, и ровно настолько, насколько сама современная поэзия этого достойна. При всей массовости своих почитателей поэзия не является массовым искусством. И в этом 21-веке, в наше время «смутного» искусства, отвечая на те потребности, которые она удовлетворяет, поэзия находится на самом точном своём месте. Это если мы говорим о русской поэзии. Не знаю, как происходят дела за рубежом, отсюда кажется, что похуже.

— Приятно слышать.

— У русской поэзии всё в порядке. Вообще, это интересное явление, к которому я сам отношусь — путешествующие поэты, выступающие в клубах, собирающие залы... Мне кажется, что вне русскоязычного мира такого нет. Хотя, может, мы просто не знаем...

— Так может, вообще, поэт — это и есть одухотворение острия времени? Время меняется, а поэт, обладая чуткой душой, первым предугадывает грядущее? Является его буревестником. Всегда ведь при исторических переменах происходит всплеск поэзии... В опасное ли время или в спокойное —

поэт воспеваает мечту, фантазию, сон своего общества. То, куда оно стремится — будь то любовь, покой, или война...

Поэт Евгений Соя одобрительно повёл бровью в ответ на данный спич. Не часто приходится выслушивать лекцию на собственном интервью... Казалось, что ему уже хотелось произнести: «Ну-ну, сейчас только за ручкой сбегаю...» Но разговор вернулся в обычное русло:

— Можно ли говорить о поэзии, как о некоем особом языке, где с помощью слов выражается то, что словами выразить вообще-то невозможно? Где слова сравнимы с ролью красок в изобразительном искусстве?

— Знаешь, для кого-то стихи — это такая грустная история, нечто, что заставляли учить в школе. Типа, для ботанов и прыщавых задротов. Для кого-то стихи — это просто несусветный бред. Многие понимают это синонимом понятия «рифма». Для кого-то слова песен любимой группы «боже, какой мужчина, хочу от тебя сына» являются высшим проявлением поэзии. И задумайся — для кого-то это и есть истина в последней инстанции! И, может быть, это мы с тобой заблуждаемся и возводим в культ свои самолюбивые измышления, не стоящие и выеденного яйца! Неужели мы достойны судить вообще кого бы то ни было?

— Не, судить не хочется. Но хочется что-то изменить. Заметь, ты уже задаёшь вопросы... А тебе хочется менять мир своим словом?

— Хочется. Любому хочется. Но как оно выходит и выйдет ли? Кто знает? Мне известны какие-то истории людей, жизнь которых изменилась благодаря стихам. Это уже неплохо. Очень часто меня спрашивают о широких вещах: «видишь ли ты себя на каком-то месте в истории? на какой страничке хрестоматии?» На деле я понимаю, что мне всего этого не нужно. Ну, ненужно, и всё. Нет таких амбиций. Я помню себя 16-летним. Мы сидели с прекрасной девушкой в подъезде и слушали «БГ». Слушали на одном из тех древних телефонов с памятью 32 МБ, куда влазит 6 песен. И вот мы сидим и слушаем их по кругу. Но ведь хорошо! Как же хорошо, блин! И всё чего я хочу добиться — это того же чувства. Такого же удовлетворения. Себе и всем вокруг. Чтоб кто-то 20-летний протянул кому-то открыточку или записку на тетрадном листе с этими строками — и им стало так же клёво. Пусть они поцелуются, пусть они закроют глаза... Пусть между ними возникнет нечто. На зависть тем, кто рождён завидовать. Это любовь... Мы отсчитали уже 21 век своей эры. И при этом никто ещё не сказал исчерпывающе — что это такое. И, боюсь, никогда и не сформулирует.

Лёгкий апрельский ветер шевелил листву вокруг нашей беседки. Птицы всё так же щебетали вокруг... Нет никаких сомнений в том, что эти маленькие создания будут петь о любви вечно — будучи способными выразить то, что у них на душе, или и не пытаясь это сделать. Любовь оказалась достойна того, что можно вечно воспевать и её крохотную часть. А птица поёт, потому что она может это сделать. Разве в этом нет смысла?

— Поэт пишет, потому что может. Это самореализация?

— Безусловно.

— Возможна ли самореализация без слушателя? Без наблюдателя, который оценит?

— Я думаю, что всё-таки нет. Это не имеет отношение к публичному признанию, поэт вполне может быть счастлив, имея лишь 1 слушателя. Но представить, что поэт не собирается показывать кому-либо свои стихи, делиться ими, сложно. Это всё равно, что иметь голос и не говорить.

— Поэт имеет право и ненавидеть мир. Не лучше ли иногда молчать?

— Поэты вообще, в целом, далеко не оптимисты. Но даже самая депрессивная лирика ищет отклик. Какие-либо обстоятельства, например, обида на общество, могут заставить поэта молчать. Но поэт — это тот, кто изливает. Иначе теряется смысл. Стих должен прозвучать.

— Мы снова обращаемся к области смысла... Всё же для себя созидает поэт, или для других? В этой потребности дать — он эгоист или альтруист?

— Даже отдавая, ты всегда получаешь.

— По-христиански так...

— Именно. Мы говорим не про лайки, не про алхимические чудеса, превращающие строки слов

в строки цифр денежных знаков. Мы говорим о каком-то внутреннем обмене. Ты получаешь... Какой тут альтруизм? Но и эгоизмом здесь не пахнет. Потому что ты даришь. Не надеясь на возмещение, но всё же, получая взамен. В том числе и то чувство, о котором мы обмолвились в начале — что ты не одинок.

— Поэт должен быть голодным?

— Если уж ты продолжаешь настаивать на возможности совмещения слов «должен» и «поэт», скажу, что поэт должен (то есть, поэту «лучше») быть возбуждённым. Всё его должно радовать или удивлять. В идеале — поэт всегда «на взводе». Жадный до впечатлений и чувств. И в какой-то степени — это и есть синоним слова «голодный». Это не пустой карман или холодильник. Этот голод — духовный.

— Так может быть не голодный, а «страдающий», «мучающийся»?

— Главная мука поэта — это то, что в мире столько всего. Столько красоты, столько любви! Наш словарный запас таков, что каким бы ты не был подкованным и даже гениальным, ты не можешь окончательно приблизиться к тому, что чувствуешь. Ты никогда не опишешь, как пахнет твоя любимая женщина, как падает на неё свет в этой комнате, и что ты видишь, глядя на неё. В этом и есть главная мука и главное страдание. Понимаешь, какая странная метаморфоза происходит с настоящей поэзией? Всё великое остаётся всё-таки вне её, как бы мы не пытались. Потому что всё самое великое и самое прекрасное является непостижимым.

И даже если выучить все языки мира, все его наречия и сленг, мы сможем описать лишь неполную часть этого грандиозного величия. И мне кажется, что это прекрасно.

В биографии поэта Евгения Сои явно было много всего... Фаланги пальцев на обеих его руках окольцованы сплошной татуировкой — без рисунка или орнамента. Представляется, что на этом месте вполне могли когда-то стоять буквы «маша», «катя», «валя» и ещё множество подобных... Подобные татуировки на плечах рук и далее... На самом деле эти руки действительно ещё недавно были исписаны словами, но, говоря обобщённо, несли в себе девизы поэта. Хотя, кто знает? Поэт предпочитает давать интервью одетым. В любом случае, каждый из этих девизов когда-то рассказывал о любви. И наверняка, каждая из этих татуировок заслуживает целой истории. Ведь в мире столько всего! Красоты и любви! Кажется, в этом и есть главная мука поэта Евгения Сои.

— То есть, если мы напишем все стихи, соединим все возможные слова во всех возможных комбинациях, мы не исчерпаем всех возможных способов описания нечто великого? Например, любви?

— Именно. О любви писано испокон веков. Да наверняка и сам жанр любовной лирики старше письменности. О любви кричат глиняные таблички, берестяные грамоты, миллионы книг, километры строк, терабайты информации — и разве сказано всё? И в этом 21-м веке мы продолжаем её познавать и описывать. И, представьте себе, открытия ещё не заканчиваются! А кто пишет о Вавилонской башне? Единицы. Так, может, там уже и нечего познавать? Сравни то, что пишется о любви и то, что о правителях и войнах... Я читал мало свежих стихов о царе Навухудоносоре. Да и о царе Соломоне тоже...

— Ты хотел бы, чтоб твои строки вошли в «крылатые слова» и поговорки, так сказать, «отлились в граните»?

— Уже есть некоторые стихи, которые стали популярными, можно даже сказать «народными». Они живут своей жизнью, и мне, по большому счёту, уже и не принадлежат. Помнишь, Башлачёв пел: «поэт умывает слова, возводя их в приметы». Замечаю такое.

— Приятно ли?

— Ну, такое смутное чувство. Наверное, то же самое чувствует мать, когда её дети вырастают, становятся самостоятельными, не присылают особо весточек, да и в гости не заходят. Это чувство и радости, и, конечно, гордости, но и тоски... С другой стороны, со стихами легче — конца не предвидится, и хочется рожать и рожать ещё, надеясь снова увидеть, как они взрослеют, становятся лучше, чтоб однажды так же отправиться в свой собственный путь.

— Интересно... У тебя уже вышло несколько изданий. Не пора ли получить какое-то официаль-

ное признание? Литературную премию? Статус в писательских организациях? Имя на телеэкране, строку в энциклопедии, полку в библиотеке?

— Мне приятней, когда мои стихи вырезаны на скамейке в парке, куда иногда приходит грустить какой-нибудь молодой человек... Когда они в отчаянии написаны на двери подъезда. Когда эти стихи посланы СМС-сообщением вместо тысячи возможных слов. Когда выговоренные или написанные — они стоят рука об руку с надеждой... Вот это и есть признание. Никакие дипломы и памятники это не заменят. В этом — и есть смысл. И я вижу, что так уже случается, и надеюсь, что так и будет. Значит — всё это было не зря. Значит, я смог подарить чудо. Надежду. Возможность. Прощение. Помог, или, хотя бы, подсказал... А может, просто избавил двух людей от лишних слов, подарив им время на чувства...

Навряд ли существуют иные слова, способные доказать, что поэзия — это чудо. Выторговать секунды у неумолимого времени. И подарить их тем, кто способен чувствовать... Евгений улыбнулся. Усталый алхимик, выплавляющий магические камни из невзрачного лома... Прямо сейчас в физическом мире вокруг атомы вещества самопроизвольно организуются в кристаллические решётки таким способом, при которых достигается наименьшая энергия. При всей простоте принципа, человечество не может повторить данного алгоритма. В мире поэта Евгения Сои слова сами рождаются на тех местах, которые предназначены для образования нечто большего. Большого, чем слова.

— Каким вообще может быть идеальное стихотворение?

— Знаешь, учитывая вышеизложенное, иногда я задумываюсь о том, не является ли лучшим стихотворением молчание, тишина... Но, если спуститься с божественных сфер к тому, что можно выразить словами, думаю, идеальное стихотворение это то, где слова рождаются. Где они вдруг становятся в таком магическом порядке, который единственно возможен для выражения данной эмоции, чувства. Нельзя сказать короче, нельзя длиннее, невозможно иначе — только этот ряд слов и только таким образом. Мы говорим не о ямбе, хорее, велибре или другой стихотворной форме или размере. Мы говорим о комбинации, где эта группа слов образует нечто единое и неделимое. Полное и достаточное. Это магия. Это волшебство. Я говорю тебе о некой молитвенности в стихах. Созданное и произнесённое — оно вдруг получает ответ. Некий цельный образ, посылаемый нам свыше в ответ на произнесённое стихотворение. Это чудо. А поэт — это лишь католический священник, который венчает слова. И слова отвечают ему: «Да, мы будем вместе несмотря ни на что». Старенький падре с белым воротничком, совершающий таинство для бестелесных истин — вот, кто такой истинный поэт.

Священник, венчающий слова, с улыбкой посмотрел куда-то вдаль, где по-своему птицы складывали свои звуки, и по-своему ветер шептал что-то юной листве... Сквозь ясное небо просвечивала седина вечности... Всё это вместе само по себе выглядело как ответ, но всё же прозвучало как вопрос:

— Естественна ли поэзия для мироздания? Или это человеческая блажь? Есть ли в мире вокруг подобие стиха? Присутствует ли рифма и ритм в безусловной закономерности сущего?

— Хороший вопрос. Давай посмотрим вокруг. Ты не находишь, что всё это — одно прекрасное стихотворение? Слышишь, как поют птицы? Чувствуешь этот лёгкий ветер? И как недалеко от нас морские волны накатывают на берег? То, что вокруг. Всё. Вообще всё — это и есть идеальное стихотворение. Лучшее.

Протоиерей Георгий Бирюков

Русские победы на полотнах Александра Коцебу

Известный художник-баталист Александр Евстафьевич (Августович) Коцебу родился 9 июня (28 мая по ст.ст.) 1815 года в Кенигсберге, где и провёл своё раннее детство. Его отец Август фон Коцебу, известный драматург и писатель, был назначен в Кенигсберг русским генеральным консулом. Дворянский род Коцебу происходил из Стендаля, где упоминается ещё в 15 веке. Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу был первым членом этого рода, поступившим на русскую службу. Матерью Александра была уроженка российской Эстляндии Вильгельмина Фридерика фон Крузенштерн.

За свою прорусскую деятельность Август фон Коцебу 23 февраля 1819 года был заколот студентом Карлом Людвигом Зандом в германском городе Мангейме. После его трагической смерти осиротевшее семейство переехало в Санкт-Петербург. У Августа фон Коцебу было двенадцать сыновей и пять дочерей, но часть из них к моменту смерти отца уже были взрослыми. Александр же лишился отца четырёхлетним ребёнком. Через некоторое время он был отдан на воспитание в Петербургский второй кадетский корпус, откуда был выпущен в лейб-гвардии Литовский полк. Александр мог бы сделать военную карьеру, но ещё с юношеских лет в нём обнаружилась склонность к живописи. С годами она настолько развилась, что в 1837 году он начал посещать Академические классы, а в 1838 году и вовсе оставил службу в полку и поступил в Петербургскую академию художеств.

Сохранилось прошение Коцебу: «13 декабря 1840 г. В Совет Императорской Академии художеств. Отставного гвардии подпоручика Александра Коцебу. Прошение. Желая более усовершенствовать себя в баталической живописи, покорнейше прошу Совет позволить мне посещать рисовальные и художественные классы Академии, также анатомии, теории изящных искусств и перспективы; причем обязываюсь ежегодно вносить следующую плату за билеты для входа в рисовальные залы. А. Коцебу».

Коцебу избрал для себя баталический род живописи, работая под руководством профессора Зауэрвейда. За пять лет учёбы Александр получил все отличия Академии художеств: в 1839 году малую серебряную медаль, в 1840 году большую, за картину — «Сражение при Ливенберге», в 1843 году малую золотую медаль за большое полотно — «Битва при Кулевче», и, наконец, за картину «Взятие Варшавы» — большую золотую, дававшую ему право на командировку за границу.

Воспользоваться этим правом удалось не сразу. На талант Александра Коцебу обратил внимание император Николай Павлович, заказав ему несколько картин. Художник написал в этот период картины «Взятие крепости Шлиссельбурга в 1702 году», «Взятие Нарвы в 1704 году»... Картина «Взятие Нарвы» вызвала всеобщее восхищение, и император Николай Павлович заказал полотно баталии Петра I с Карлом XII. Только закончив эту картину, Коцебу смог поехать за казённый счёт в заграничное путешествие. Посетив мастерские лучших художников Франции и Италии, Коцебу поселился в Мюнхене, где занялся выполнением нового заказа императора Николая Павловича — написанием серии картин из истории Семилетней войны. Кстати, наряду с картинами «Цорндорф», «Куннерсдорф», «Русские в Берлине», «Взятие Кольберга» им была им написана и картина «Битва при Гросс-Егерсдорфе», на которой изображено сражение, происшедшее в 1757 году на территории нашего края.

О сложности работы художника в чужой стране свидетельствует следующее письмо: «Милостивый Государь Василий Иванович! Честь имею сообщить Вам, что 10 августа картина моя (эпизод из сражения при Гросс-Егерсдорфе) отправляется до Петербурга на Гаврском пароходе. Не получив никаких известий о поездке г. Вернета в Петербург, я решил наконец писать в Париж и поручить отправление картины моей, находящейся по сие время в мастерской Вернета, комиссионеру, от которого сегодня получил известие. Если издержки пересылки падают на меня, то честь имею просить Вас вычесть оные из будущей моей трети. Можете себе представить, с каким нетерпением буду ждать известий о благополучном получении, а особенно о мнении, которое Его Им-



Александр Евстафьевич Коцебу

ператорскому Величеству благоугодно будет отдать о труде моем — и какое впечатление произведет на Вас картина моя; дай Бог, чтобы она была бы выгодна! Картина была уже окончена в начале апреля, а потому я бы очень желал, чтобы она до представления на вид Его Императорскому Величеству была покрыта лаком! Не благоугодно ли Вам будет приказать Дивинрелли сделать это, я надеюсь, скоро будет случай прислать ему плату за его труд. Сколько мне известно, холера не касалась Вашей Академии? Слава Богу, что эта ужасная болезнь остановлена в СПб. Покорнейший Вам слуга А. Коцебу. Штутгарт, 2/14 августа 1848 г.»

Речь зашла о присвоении Коцебу звания академика. «29 июля 1850 г. В Совет Императорской Академии художеств. Пансионера Правительства, отставного гвардии подпоручика А. Коцебу. Прошение. Рапорт. Совету Академии известны мои занятия по части баталической живописи, равно и то, что мои произведения нередко одобрялись Советом и неоднократно удостоивались Всемилоостивейшего внимания и Монарших щедрот. Избрав поприще художника с твердым намерением на нем оставаться постоянно, я почел бы для

себя за большую честь принадлежать Академии в качестве члена ее; но как занятия, по высочайшей воле мне сделанные, не дают мне возможность исполнить особую для того программу, то я осмеливаюсь просить об удостоении меня звания академика без исполнения программы. А. Коцебу. № 2, Мюнхен. 20 июля /1 августа 1850 г.»

Решение Совета Петербургской Академии художеств было следующим: «Выписка из журнала Совета Академии от 23 августа 1850 г. По рапорту пансионера Академии, отставного подпоручика Коцебу (№ 1109), определено: по известным трудам пансионера Коцебу по живописи баталической, которыми давно уже доказаны его дарования и достоинства сочинения и исполнения, признать его без программы академиком и представить о сем на утверждение Общего собрания Академии, которое будет в сентябре текущего года»

Затем Коцебу приступил к исполнению нового заказа российского императора — написание серии картин, изображающих важнейшие события итальянского и швейцарского походов Суворова. Выполняя эту работу, художник объездил Италию и Швейцарию, сделав массу эскизов местностей, где прошла с боями непобедимая русская армия. Уже после смерти Николая I Александр Коцебу был в 1857 году признан профессором за картины «Переход русских войск через Чортов мост в 1799 году», «Битва при Нови» и «Сражение в Муттенской долине».

В 1862 году Александр Коцебу написал полотно «Победа под Полтавой», которая впервые была представлена в 1864 г. на Всемирной выставке в Париже. В последующие годы Александр Евстафьевич продолжал трудиться в Мюнхене, создавая всё новые картины о важнейших событиях русской военной истории, то обращаясь к эпохе Петра I («Сдача Риги», «Битва под Лесным»), то колоритно изображая события русско-шведской войны 1809 года («Бой при Куортане», «Переход через Ботнический залив»). Тяжелая болезнь застала профессора баталической живописи Императорской академии художеств Александра Коцебу во время работы над полотном «Взятие Шипки» — завершить задуманное художнику не удалось. Супруга Александра Коцебу написала из Мюнхена императору Александру III: «Ваше Императорское Высочество. После долгой надежды, что мне не придется беспокоить Ваше Императорское Высочество, вижу себя принужденной довести до све-



Взятие Кольберга



Переход войск Суворова через Сен-Готард 13 сентября 1799 года

дения Вашего, что муж мой, профессор живописи Александр Коцебу, вследствие тяжелой болезни лишен возможности окончить заказанную ему Его Императорским Величеством, в Бозе почивающим Государем Александром II картину «Шипка», т.к. состояние здоровья моего мужа не оставляет почти надежды, чтобы он мог вновь приняться за работу, то считаю своим долгом уведомить об этом Ваше Императорское Высочество как президента Академии и высокого покровителя моего несчастного мужа. Вашего Императорского Высочества верноподданная слуга Шарлотта Коцебу, урожденная Крузенштерн. Мюнхен 10/22 марта 1884 г.»

Александр Евстафьевич Коцебу скончался в Мюнхене 24 (12 по ст.ст) августа 1889 года. Большинство произведений Коцебу находятся сейчас в Эрмитаже и в Русском Музее. Специалистами по батальной живописи признаётся, что Александр Евстафьевич Коцебу был талантливым и добросовестным художником хорошей школы и хорошего вкуса, удачно соединивший достоинства старых академических традиций с успехами реализма. В статье о Коцебу в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона отмечается, что его картины «свидетельствуют о нем как о высокодаровитом баталисте нового направления, трактовавшем свои сюжеты не только как сцены борьбы и убийства, но и как пейзажные задачи. Сочиняя картину, он прежде всего выбирал местность и точку зрения, наиболее удачные для развития изображаемого эпизода, и представлял в этом пейзаже самый характерный момент происшествия с ясностью и неподдельным движением. Его композиция полна жизни и нередко очень поэтична, рисунок правилен, колорит блестящ и гармоничен, кисть свободна и одинаково искусна как в фигурах, так и в ландшафте».

Не так много можно насчитать уроженцев Кенигсберга, которые верой и правдой служили России. Александр Евстафьевич Коцебу — один из них. Печально, что в нынешнем Калининграде память о родившемся в Кенигсберге талантливом российском художнике, сыне русского генерально-го консула, никак не увековечена. Знают ли воспитанники калининградских кадетских корпусов и классов об уроженце Кенигсберга кадете Петербургского второго кадетского корпуса Александре Коцебу? Помнят ли члены регионального отделения РВИО об уроженце Кенигсберга подпоручике Лейб-гвардии Литовского полка Коцебу?

Некоторые из братьев Александра оставили заметный след в российской истории. Отто Евстафьевич Коцебу стал известным мореплавателем, совершил три кругосветных путешествия, открыл множество островов в Тихом океане, а также крупный залив на Аляске, получивший его имя. Город, возникший на берегу этого залива, также называется Коцебу. Маврикий Евстафьевич Коцебу участвовал в одном кругосветном путешествии, но затем стал сухопутным офицером. Участвовал в войнах против Наполеона, побывал во французском плену, дослужился до чина генерал-лейтенанта, окончил службу сенатором. Павел Евстафьевич Коцебу участвовал в войнах на Кавказе и Дунае. В Крымскую войну служил начальником штаба Дунайской армии, а затем — Южной армии и всех сухопутных и морских сил, расположенных в Крыму. Получил множество наград, произведен в генералы от инфантерии. С 1862 по 1874 гг. занимал пост Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора и командующего войсками Одесского военного округа. Кстати, он стал последним генерал-губернатором Новороссии. В 1874 году это генерал-губернаторство было упразднено, а Павел Евстафьевич стал Варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа. Был назначен также членом Государственного совета и пожалован графским титулом. Василий Евстафьевич Коцебу стал российским дипломатом, писателем и драматургом.



Берега культуры и искусства

Михаил Федоров

Встреча с Василием Паниным и Евгением Дога

1

Прошло почти полгода, как отметили 80-летие Василия Панина в Доме кино, а я 2 апреля снова был в Москве, теперь на встрече Панина со зрителями и показе его фильма «На заре туманной юности» в ЦДРИ (Центральном доме работников искусств). У входа в ЦДРИ Панина встретил худощавый мужчина с очень выразительным лицом и выразительным взглядом. Он держал ребенка на руках:

— Василий Степанович...

— О, Гриша...

Я пытался припомнить, где же я видел это лицо, и только потом вспомнил: это был Григорий Дунаев, он сыграл роль друга Кольцова Александра Караева в фильме «На заре туманной юности».

Панин прошел в холл, где ему помогли раздеться, и он уже на лифте поднялся на четвертый этаж. Пройдя по коридору, оказался в просмотровом зале, где вниз уходили ряды кресел, а на сцене висел огромный экран. У меня запело на душе: я снова оказывался как бы во ВГИКе, где двадцать лет назад учился на сценарном факультете.

Василий Степанович сел в самом центре верхнего ряда: отсюда открывался вид на весь зал. Всем было понятно, что Панину трудно было спускаться вниз, да и верхний ряд выделялся своим особым положением. Сидевший на нем Панин виден был любому, кто обернется и посмотрит наверх.

Вот Григорий Дунаев оказался около Панина.

Я не заметил, как в зале появилась Анна Данилова, которая вела вечер 80-летия Панина, актер Александр Вершинин с девочкой в платьице (дочерью), и все оказались около кинорежиссера.

Зал наполнялся людьми. Кто входил и приветствовал Панина на расстоянии, кто подходил к нему, кто, уже сев рядами ниже, здоровался с режиссером. Вот в зал вошел человек, чья популярность превышала известность самых именитых людей. Это был Евгений Дога, автор многих романсов, которые нашли отклик в душе миллионов людей, и автор музыки для фильмов Василия Панина.

Дунаев спросил:

— Евгений Дмитриевич, а как Вы себя чувствуете?

— В смысле? — спросил Дога.

— По радио передали, что Вы что-то...

Дога рассмеялся: он выглядел бодрцом:

— Так для чего туда ходят: помирать или выздоравливать...

Панин сказал мне:

— Иди с Евгением Дмитриевичем...

Как я понял, к сцене.

Но Дога замялся:

— Куда идти... Выходит группа, как положено...

А группы-то еще нет.

Тут в зал вошел и сразу устремился вниз по ступеням Александр Пятков.



Догу спросил кто-то из женщин:

— Как вы поживаете?

Дога:

— Я живу. Слово «поживаете» для меня не существует, а — жить.

— Значит, Вы живете...

— Не значит, а я — живу...

— А здоровье?

— Все имеют проблемы...

— Вы здесь живете или там?

— Что значит, там?

— На Родине.

— У меня Родина везде. Вот ты не читаешь мои интервью.

— А где?

— Да где угодно...

— Я выписываю газету... Но там...

Дога:

— У меня Родина там, где моя музыка.

— Логично...

Дога:

— А где Пятков?

— Мелькнул и убежал...

— Вот звезды, они больны звездными делами, — посетовал Дога, видя, что остался один: Пятков убежал. Уже и Вершинин куда-то делся. — Так не делают... Выходит вся группа...

Но вот все устроилось: Вершинин, Пятков, Дога спустились вниз. Пятков развлекал Догу и Вершинина последними событиями из актерской жизни.

Ведущая называла поднимавшихся на сцену:

— Народный артист России Александр Пятков... Классик нашей музыки Евгений Дога... Исполнитель главной роли в фильме Александр Вершинин...

— Итак, Александр Вершинин... — по-дикторски сказал в свой микрофон Панин.

Александр Вершинин стал читать стихи Кольцова:

Ночка темная,
Время позднее, —
Скучно девице,
Без товарища...

Одни, другие.

Две жизни в мире есть,
Одна светла, горит она, как солнце;
В ее очах небесный тихий день;
В сиянии — святая мысль и чувство...

Потом:

Надо мною буря выла,
Гром по небу грохотал,
Слабый ум судьба страшила,
Холод в душу проникал...

Вершинин:

— Алексей Кольцов испытал много страданий. Они и были толчком его вдохновения. Он сохранил до конца жизни свою духовность. Четыре строчки:

Пишу не для мгновенной славы:
Для развлечения, для забавы,
Для милых, искренних друзей,
Для памяти минувших дней.

Спасибо...

Панин:

— Привет нашему Малому театру. После великой поэзии давайте послушаем великую музыку в исполнении композитора Евгения Дмитриевича Дога...

Дога прошел к роялю. И в зал полилась то тягучая, то бравурная, то игровая, то учтивая, то вальсовая, то бегущая-бегущая, то утверждающая мелодия... И я метался своим воображением, мыслями по каким-то далеким и близким тайникам моей памяти, вспоминая радостное и горестное...

А Дога играл в притихшем зале. Было ощущение, словно все мы пришли не на просмотр фильма, а на его концерт.

Дога встал:

— Я сыграл романсы на стихи Алексея Кольцова.

На стихи нашего поэта.

Из зала раздалось:

— Ваш вальс... вальс...

А кто-то добавил:

— К кинофильму «Бульварный роман».

— Да, — сказал Дога своим негромким голосом и снова прошел за рояль.

Зазвучала музыка из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Хотя именно у Василия Панина был фильм «Бульварный роман», к которому музыку тоже писал Евгений Дмитриевич.

С первыми звуками вальса зал замер. И по нему что-то робко прошелестело, потом стало набирать звучание, снова стихло и как будто проникло в тайники человеческих душ и оттуда вышло с новой силой и уже, накручивая, набирая обороты, неслось в это небольшое пространство зала, которое, казалось, обрело небесные размеры, вбирая в себя всех находящихся в нём с их мыслями и чувствами. На глаза наворачивались слезы...

Я оцепенел.

— Bravo! — раздалось.

Зал оглушили аплодисменты.

Дога снова встал:

— Я играть не собирался... Я не был готов играть... Я хочу сказать, что я не такой «высокий», как наша ведущая Анечка, — глянул на Анну Данилову.

Все с улыбкой оценили юмор композитора.

— Я хочу сказать, что благодаря Василию Степановичу я окунулся в новый мир... У него именно та лирическая сторона российской культуры — народного творчества, особенно. Благодаря его таланту, его любви к своей земле он сумел народное творчество вознести на уровень высокого художественного мастерства... И это заслуга, наверное, не только его личная, а заслуга той земли, которая удивительно талантлива, богата талантами, потому что, что ни возьми из российской культуры, оно связано с воронежской землей. По всей вероятности, не только черноземы, которые вывозили немцы во время войны и которые действительно уникальные земли. Но эти земли еще обладают духовным потенциалом. Поэтому, я думаю, Василий Степанович — счастливый человек, что родился там. В другом месте Вас наверняка бы высушило, Вы впитывали культуру края, она Вас подпитывала и, очень надеюсь, будет питать. Потому что, к великому сожалению, у нас с поддержкой таланта, талантливых людей, вообще искусства, дело обстоит...

«Архи как плохо».

—... не так как хотелось (сказал мягче Дога)... Потому что массы людей ждут денег, ждут денег, а время-то не ждет! Оно тикает, тикает и отсчитывает. Я вот вспоминаю, как по нашей части, по музыкальной, Джузеппе Верди в XIX веке, а мы — в XXI-ом. Он еще не написал последние ноты, а уже в театре шли репетиции. Где такое сегодня можно встретить? Нигде. Почему? Зато мы можем встретить — миллиарды уже крутятся по карманам. И ни один рубль из них не попадает ни на кино, ни на музыку. Вокал. Театры... Очень странно, что приходится говорить не о том, как мы красиво живем, а приходится говорить о проблемах. Потому что для того, чтобы красиво жить, надо быть свободными. Свободными духом. Всем нашим руководителям нужно купить по энциклопедии, чтобы они прочитали, что такое духовность. Национальная культура. Потому что исчезло... Вот мы смотрим в информационных передачах по телевизору, по радио, в газетах о спорте, пожалуйста, сколько хочешь. А в культуре как будто ничего не происходит. А на самом-то деле страна

живет. Вот сейчас Пасха приближается — пасхальные концерты. Где-то, наверное, происходит. Вижу только в афишах... Василий Степанович! Я Вас поздравляю с этим событием. Это не просто мероприятие... Я рад, что молодые — вот мы видим Анечка — занимаются пропагандой, вернее, не пропагандой. Хорошее искусство не нужно пропагандировать, с ним жить надо... Если молодежь этим занимается, надеюсь, наши боли уйдут в прошлое. Давайте, дерзайте! Шу-руй-те!.. Василий Степанович! Спасибо Вам за Ваше искусство.

В зале снова раздались аплодисменты.

2

Тут предложили:

— У кого есть вопросы к Евгению Дмитриевичу, спрашивайте.

— Как произошло ваше первое знакомство с Василием Степановичем? — сразу спросили.

— Трудно сказать, когда мы познакомились. В искусстве мы все друг друга настолько хорошо знаем, что знакомиться и не надо, — говорил Дога. — Я даже не понимаю, когда говорят: двадцать лет творческой деятельности. Сорок лет там ты-ры-пы-ры... А зачем это? Я думаю, что не этим измеряется знакомство, а значимостью знакомства. Я могу сказать, когда появились наши фильмы: вот это да. Это является подтверждением нашего знакомства. А так: «Здрасьте, Василий Степанович», — «Здрасьте», — «Вы режиссер?» — «Режиссер. А вы композитор?» — «Композитор»...

В зале засмеялись.

Дога продолжал:

— Я говорю: Василий Степанович, я смотрел Вашу картину «На заре туманной юности». Это прекрасная картина. Вот это можно сказать, отправная точка знакомства, а не календарные даты. Вы меня точно спросили, но спровоцировали меня на другой ответ... У меня недавно была встреча в Большом театре. В женский день. И там прозвучало: «Каждая женщина красива, прекрасна в диалоге с Евгением Догой». Такая претенциозная. Но мне понравилось, потому что собралось много мыслящих и духовных людей, которые задали прекрасные вопросы. Конечно, я хотел, не мой вечер, но такая форма хороша. И Анечка, у нее усов нет, но она намотает на ус...

— Можно представить, — прозвучало из зала.

— Да, вот такие диалоги хороши, потому что мы, к великому сожалению, мало знаем друг друга. Мы выходим на сцену, спели, сыграли и ушли домой. Зритель пришел, заплатил за билет, посмотрел спектакль, и ушел домой. А хороши не пресс-конференция — а диалоги. Которые, к великому сожалению, исчезли из нашего быта. А очень, очень это нужно. У меня на столе лежит «История государства Российского» Карамзина. И что ни страница, там мудрость. И одна из них: «Чтобы любить, надо знать». Мы мало знаем друг друга и мало знаем предмет. Такие встречи хороши. Повод можно придумать, как по поводу Василия Степановича сегодня. Но надо знать предмет общения. Познания. Мы будем лучше знать друг друга. Лучше относиться друг к другу. Больше будем улыбаться и таким образом продолжать свою жизнь. А то мы так хорошо наспециализировались на сокращении собственной жизни, что дальше некуда...

— Евгений Дмитриевич, что свежее пишете? — спросили из зала.

— Я четвертый год работаю над циклом «Диалоги любви». Настала пора петь про любовь. Потому что главным стержнем нашего бытия является любовь. К великому сожалению больше видим и слышим по телевизору... Не это является...

— То не любовь, а секс...

— К этому есть слово другое. Но они почему-то называли так. Поэтому, про любовь. Есть румынский великий деятель, классик Михай Эминеску, умер в 39 лет... Я уже показывал часть этой музыки в Большом зале консерватории. С оркестром или с хором. Надеюсь и в следующем году это осуществить в Царицыно на открытом воздухе. Это так здорово! Потому что я уже это проделал в Яссах, в Кишиневе, в Бухаресте. Это так здорово, когда тысячи людей будут слышать и смотреть. Не покупать билеты. Придут те, которые захотят, а не те, которые могут. Это разная публика. А я как раз пишу для той публики, которая придет без билета. Потому что не все сегодня в состоянии купить билет. На воздухе. У меня музыка, которой тесновато в четырех стенах...

«Точно!»

— Поэтому я очень хочу с симфоническим оркестром, с хором, соберу хорошие силы... Если

кино сейчас: все еще стреляет, насилует, то в певческом жанре появилось много талантливых исполнителей, потрясающих. Хотя, к сожалению, большая часть их за «бугром», но ренессанс есть. Потому что тенденция наметилась.

— А где узнать, когда это будет? — спросили из зала.

— А я сам еще не знаю, но, думаю, будет в начале лета.

— У Вас телефоны не поменялись?

— Нет, я телефоны не меняю, и семью не меняю... Единственное, это я меняюсь...

Снова хлопали.

Теперь задал вопрос я:

— Евгений Дмитриевич, а скажите, какую роль в Вашей судьбе сыграли отец и мать?

Дога:

— Я немножко шире отвечу на этот вопрос. Три человека изъявили желание писать книгу. Но я понял, что они совсем другую книгу хотят писать, а не ту, которую я хочу. Которую я жду. И пишут они хуже, чем это делаю я. Дело в том, что грамматике нас учили. Точки. Запятые. Но помимо знания еще нужны чувства. Слово нужно чувствовать, а не только знать. И, к великому сожалению, я часто замечаю... Вот, буквально, чтобы не быть голословным, несколько лет тому назад вышла в Москве книга, довольно толстая, а называлась «Немузыкальные россыпи, или виртуальная спираль времени». Так я ее сдал в издательство. А как она вышла? Нет, чтобы со мной согласовать, а... «Немузыкальные россыпи, или вихревая спираль времени». Ну это идиотизм! Люди, я думаю, это не нарочно сделано, не понимают слово «виртуальная». Ну, возьми словарь или телефон. Позвони. Нет. Поэтому я не доверяю этим людям, и решил сам написать эту книгу. Сейчас у меня 12 глав. И это — новеллы моей жизни. Потому что вся моя жизнь состоит из новелл. И мне так понравилось то, что я делаю. И, конечно, это первое мое ощущение. Почему мне так нравится, потому что нужно с любовью делать. И сейчас я влюблен в то, что я делаю. А потом я буду себя корить и, конечно, чиркать и все портить. Ну так... Вовремя нужно отобрать эти рукописи. Так же, как и с музыкой, кстати. Те вещи, которые написаны залпом, они лучше, чем те, над которыми я сидел и разрисовывал каждую ноту...

«Мучился».

— Записываешь под запалом, а потом начинаешь корректировать, и все портится. Нужно тут же отбирать ноты. «Ласковый... зверь...» я написал буквально за полночи. «Табор уходит в небо» я вообще потерял ноты. И надо было делать вид, что я могу сделать. Послезавтра должна быть запись, а я за два дня до этого потерял ноты. Забыл в такси. И запись состоялась. Лучшие номера, когда экспромтом... Я думаю, ответил на этот вопрос.

3

Панин:

— Теперь слово народному артисту Александру Пяткову...

Пятков даже не стал подходить к микрофону.

— ...Василий Степанович снял столько картин, что можно позавидовать. Вопреки всему: отсутствию денег. Он передал свою душу в великолепных картинах. Ведь он собрал великих актеров — Соколову, Пуговкина, Ануфриева, Пяткова, само собой...

Все засмеялись.

Пятков продолжал:

— Какой у него композитор? Дога. Оператор? Коропцов... Мне внучка листочек бумаги принесла, вы думаете, с чем? Со стихами Кольцова... А Панин снял фильм... В Воронеже планируется сниматься фильм о великом художнике Иване Крамском...

И запел песню:

— Я рисую, я ношу мою мечту,
Облака над полем, а под ним — дорога,
За рекой немного дальше на версту
Я стою мальчишкой у порога.
Святая Русь, златые купола.
Святая Русь, пшеничные поля...



Александр Вершинин читает стихи



Слева направо: Анна Данилова, Александр Вершинин с дочерью, Василий Панин, Григорий Дунаев с дочкой



Александр Пятков



Евгений Дога у микрофона и за роялем

Читал стихи...

Панин:

— Слово директору фильма Татьяне Кузнецовой...

Кузнецова вышла к микрофону:

— Как Евгений Дмитриевич говорит, о нас, творческой братии, нигде не услышишь, кроме «Дежурной части». То актер кого-то задавил, то замминистра культуры посадили, то у режиссера наркотики нашли...

«Жизнь бьет ключом».

— С Василием Степановичем Паниным мы знакомы с 1985 года, когда начали снимать картину «Певучая Россия». Я была директором. А на протяжении этих тридцати лет мы сняли столько картин... Работать с ним — удовольствие. Я работала со многими режиссерами. У них чтобы не случилось, всегда дирекция виновата. А Василий Степанович выходит на съемочную площадку, он знает, куда какого актера надо ставить. Как разводить. Мы снимали очень быстро, вся группа была в восторге. Мы выезжали в 9 утра и приезжали в 6 часов вечера в гостиницу. Такой «щадящий режим кормящих матерей», — такие были съемки. Мы быстро заканчивали, никакой тягомотины, как сейчас принято по шестнадцать часов работать... И хочется пожелать Василию Степановичу найти денежку и запуститься с какой-нибудь картиной. У него много планов, много сценариев... Мы Вас любим, надеемся...

Вроде вступительная часть просмотра фильма подходила к концу, как из зала снова попросили Догу к роялю.

И он не отказал...

И снова зазвучали звуки любимого всеми вальса... И все без исключения погружались для кого в окружающие, а для кого — в глубоко личные миры....

4

Что было потом? В зале смотрели фильм. Я сидел около Панина, и он комментировал, где что снимал. А я узнавал знакомые мне воронежские просторы, улицы, дома. И звучала музыка, написанная только что «вживую» игравшим здесь композитором.

Потом на банкете сидел с Вершининым, и мы говорили о театре.

Он крепко держал мою книгу о Панине «Василий Панин»:

— А то уже позарились на нее...

Здесь продолжали чествовать режиссера.

И, словно срывая потолок своим голосом, пел Пятков; шумели актеры, и всем было хорошо, хотя на душе-то было не очень.

Приехав в Воронеж, первое, что сделал, вошел в Интернет и обнаружил... массу интервью Доги. Теперь смотрел на композитора на экране и слушал уже знакомый голос.

Дога говорил: «Я живу в трех измерениях. Кишинев, Бухарест, Москва. И мне нужно все согласовать, чтобы нигде не поскользнуться, потому что упустишь где-нибудь, и тебя начнут приватизировать. Потому что это ужасно! Я каждый раз повторяю: “Братцы, оставьте меня в покое. Я не объект для приватизации”. Сообщают обо мне на радио, на телевидении: “У нас в гостях молдавский композитор Евгений Дога”. Но извините меня, что ж вы обижаете моих коллег. Что ж вы не говорите: у нас в гостях еврейский композитор Оскар Фельцман. Что ж вы его не обозначаете, а меня обижаете. Поэтому я не оставляю свое происхождение где-то в сторону, я не брезгую им, наоборот, я горжусь. Но я не могу позволить сделать мне обрезание рук, ног, памяти особенно. Поэтому я всегда ставлю на место людей, которые это не понимают. Я — не молдавский композитор. Я — композитор из Молдавии. Хотя я могу сказать я здесь — молдавский композитор (видимо, интервью в Молдавии), в России — я российский композитор. Это подтверждено изданиями: произведения русских композиторов. И меня это не унижает, и, в общем, меня не ограничивает. Но нельзя подменять одно другим. Нельзя в Молдавии сказать: он русский композитор. Или в России сказать: он молдавский композитор. Извините меня. А чем я менее русский, чем все русские? У меня есть

масса произведений, которых у моих коллег из Российской Федерации в помине не существует. Три тетради романсов на стихи поэтов Серебряного века. Извините, такого не существовало вообще в истории музыки. У нас еще важное событие, я по дороге рассказывал, у нас 7 апреля, считается там, какие-то бандитские акции, все это не так с моей точки зрения. Я считаю, что это справедливо. Нельзя считать всех дураками».

«Видимо, что-то в Молдавии», — подумал я.

«Я не думаю, что просто нечего делать было этим людям, которые пришли под дубинки полицейских — потом и эти сникли. Или, чтобы подставить свои головы под камни. Понимаете, нужно спокойно оценивать. Не надо сразу навешивать ярлыки. Я написал произведение, которое вовсе не предполагал. Вот так занесло меня туда. По всей вероятности, та энергетика, которая накапливается у каждого в какой-то период жизни, у каждого артиста, каждого из нас, у каждой страны, в конце концов она требует не только обозначения, она требует выхода. Иначе, она, как продукты в холодильнике, они портятся, если они долго хранятся там. Вот я решил высвободить свой холодильник, и когда я очередную свою работу, которую я пишу каждый раз, один раз в десять лет, — я пишу эти сюиты, эти квартеты. Ну, я их потом превращаю в сюиты — добавляю всякие инструменты, чтобы было больше вариантов исполнения. Потому что можно и с четырьмя человеками исполнить, можно и с десятью человеками... Когда я стал очередную шестую сюиту писать, даже опередил время, не через десять лет, потому что через десять лет я должен был писать в 2013-м году, я на три года опередил время. И это тоже логично, потому что не знаю, эти десятилетия — есть ли у меня они. Поэтому я должен торопиться. И под влиянием, под впечатлением этих событий. И я начал писать, и вдруг меня заносит, — кисть поднес к носу, — пахнет ладаном что-то эта музыка. Я ладану не дал особенно разгореться, потому что надо почувствовать. Вот будет в органном зале, и я хочу, чтобы ее послушали и участники этих событий, и люди, несостоятельные в своей политической сути, роли, потому что это могло быть иначе. Все нужно вовремя делать. Иначе что-то не то сделали, раз пришли к крайним мерам. Это хирургический способ, надо было терапию использовать. А терапию не использовали, к великому сожалению. Кстати, продолжают и до сих пор. Кстати, и сейчас ни терапии, ни хирургии, вообще ничего. Все в порядке. Танцуют, в основном, танцы. Так вот 7 мая будет в органном зале, а 15 мая будет в Национальном дворце, будет большой концерт. Не как обычно я делаю, это будет другая программа. Раскрывать я ее не могу, но она уже в процессе становления. Помимо этой сюиты, которая длится полчаса, будет две тетради для фортепьяно... Я всю жизнь мигрирую. Поэтому пространство, которое называлось Советский Союз, я знаю вдоль и поперек. Я своим коллегам русским говорю: я более русский, чем вы».

— Вот!

«Потому что, если я бываю, я хожу с записью, я записываю фольклор. Когда был в Кузбассе, меня к аборигенам. А что это такое? Я там увидел потрясающее. Так как там никто этим не занимается, поэтому все находится в нетронутом виде. Бывшие стоянки когда-то кочевников. Я помню, нашлись какие-то кожаные изделия. Ошметки каких-то деревянных приспособлений, которые к этой коже. И я увидел на той же Оби камни с рисунками. Спрашиваю, а никто не изучает эти вещи. Меня поражает, все знают о египетских пирамидах и ничего — о своих собственных уникальных монументах, которым наверняка тысячи лет. Я знаю Заполярье, когда смотрел на солнце, которое садится на горизонт и не уходит за горизонт. Потрясающие вещи — благодаря моим “националистическим” наклонностям. Слава Богу, меня в этом никогда не упрекали...»

Слушая это интервью, я подумал: а действительно, когда же в Воронеже состоится концерт Доги?

И теперь слушал и слушал этого незаурядного человека с потрясающим культурным багажом... А в своих поездках в Москву отныне планировал не только встречи с Василием Степановичем Паниным, но и с Евгением Дмитриевичем Догой.

Берега культуры и искусства

Александр Федоров



Александр Павлович Федоров родился 22 ноября 1949 года в деревне Кошкино Вачского района Горьковской области. В 1977 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (бывш. Строгановское) и приехал в Калининград. Награжден Серебряной медалью Российской академии художеств и Золотой медалью Творческого союза художников России. Председатель правления Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России

«Сердце города» как мечта калининградского либерала или будет ли в России русский дом

Мой народ, не склонивший своей головы...

Иосиф Бродский

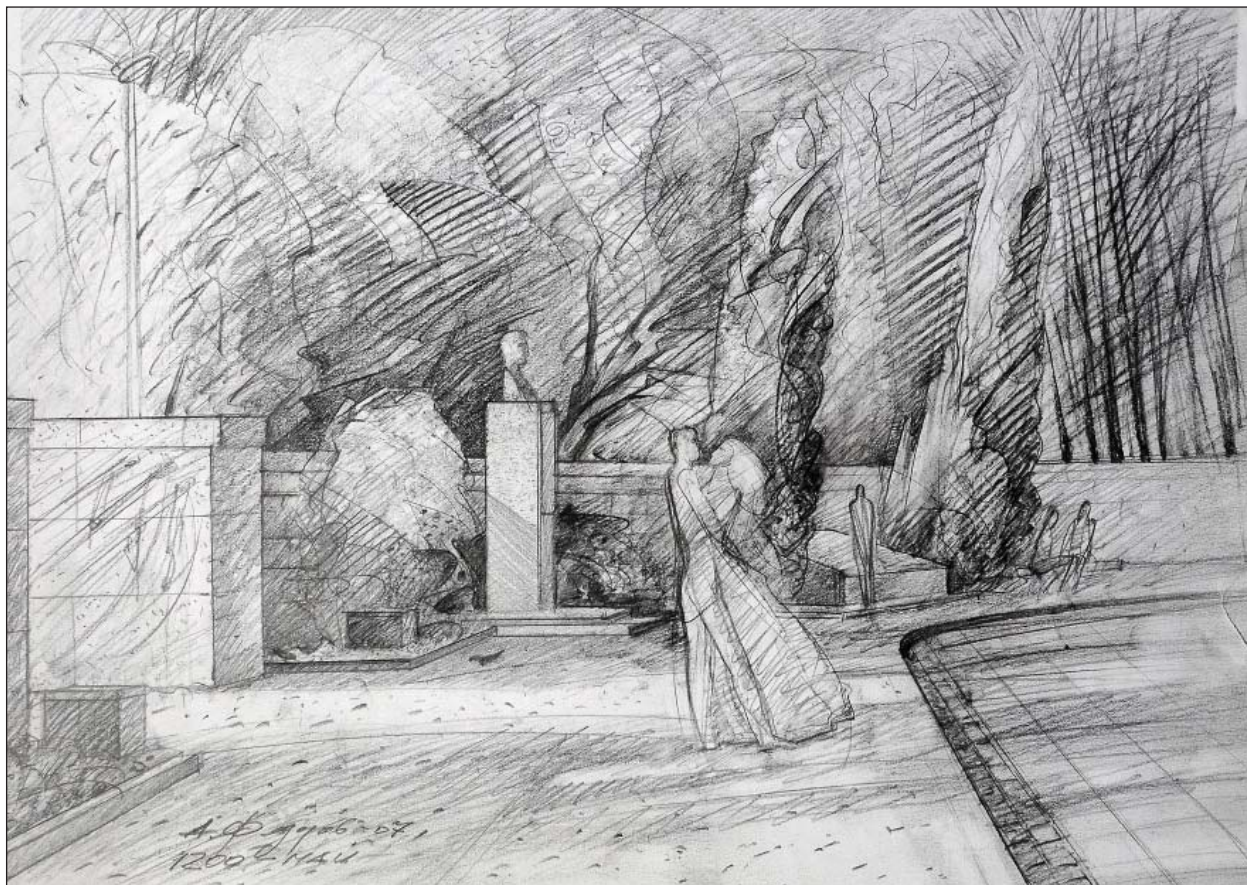
Они амбициозны, плохо образованы, нахраписты, мало пригодны профессионально, что-то слышали о башне Татлина и называют наш народ «этот народ», нашу страну «эта страна». Прочно присосавшись к бюджетной сиське нелюбимой матери-России, они живут здесь без счастья и радости, но постоянно борются за счастье других людей. Мечта о переделке мира под собственные грёзы о добре и зле «до основания, а затем» живёт в этих страдальцах уже тысячелетия. Строить у них не всегда получается, а разрушать — да. Хочется грандиозности, масштаба, оваций, места в истории, побед.

*Мы гении. И звёзды нам друзья.
Вся наша жизнь фрагмент космического пира.
Венок лавровый мы хотим принять.
Из рук оплёванного нами мира, —*

выводят, взявшись за руки, поощряемые властями, региональные русофобы вослед Интернационалу. И вот уже, взбодрённые хором либералов, отцы области и города открывают финансирование. Освоение бюджетов ненавистной страны — главное развлечение безответственных прожектёров. Самая грандиозная точечная застройка « в стране! Нет, в мире!» — взывают они с либеральных амвонов, наращивая темпы освоения по изначально безнадёжному проекту. Первый тур. Второй. Третий. Раздача премий и гонораров. И тут в лучах славы на фоне бумажного «Сердца города» они корят победителей в самой отчаянной войне за Победу, за то, что выжили, за то, что «не так» подняли из руин город, вышибли из него в 1945-м тевтонский дух и не собираются этот дух восстанавливать. «Кёнигсберг, прости!» — плачут о том, чего никогда не держали в руках русофобы. «Восстановим всё», — подпевают им власти. «А вот Медведев сказал...», — грозят непутёвому народу пальчиком.

Народ безмолвствует, его уже не раз за последние сто лет увлекали грандиозностью. Не хочет он её. Не хочет увеличенную до небес господином Попадиным копию башни Татлина. Он хочет жить в удобном, чистом, зелёном, уютном городе, сделанном под себя с восточно-славянской затейливостью, без тевтонской тяжеловесности и прямолинейности.





Май. Свадьба. Мемориал 1200 героям.

Немцами мы всё равно не станем.

Не оправдаем мы опять ваших надежд, подведём вас, господа экспериментаторы! Не тот мы народ. Вы же знаете! Не сумели мы построить под вашим руководством коммунизм, не построим благословенный капитализм. Не нужно нам вставное, грандиозное и чужое сердце. Пусть будет родное, своё. Каждый народ хочет расцвести на Лугу Жизни самим собой, сохраняя во всеобщем цветении свою особость и красоту. Не стоит склонять голову перед ревнителями прусского или иного одноцветья. Не стоит давать власть над собой неучам, ненавистникам и дуракам. Мама моя! Как бы мы жили, если бы в сердечном согласии расцвели все цветы.

* * *

Совершенно очевидно что революционно-русофобский тренд в России теряет силу. Впереди давно чаемый подъём русскости, рост созидательных настроений, вытеснение из политики, экономики, культуры ненасытных либеральных болтунов и приспособленцев. Наполнение всех сфер жизни человеком труда — образованным, порядочным, предприимчивым. Нас, русских, в России 80%. Мы фундамент и цемент необъятной страны. На нас лежит главная ответственность за состояние государства. Важнейшее здесь — культура, искусство, наше представление о том, как нам нужно обустроить жизнь в нашей стране, согласно нашим представлениям о добре и зле, нашим представлениям о нашей русской душе. Не безмолвствовать! Эту работу по окормлению нашей души можем сделать только мы, русские. Никакой иной народ, даже самый работающий и шустрый, за нас это не сделает. Сможем ли? А куда нам деваться, надо смочь. До Парижа и Берлина дошли, когда было надо. И сейчас надо.

* * *

Один из главных калининградских русофобов уехал на постоянное место жительства в Берлин. Заслужил. Если отлучить остальных от бюджетного финансирования, и они в Европы потянутся. Пусть едут. Скатертью дорога. Пусть будут они в Берлинах счастливы и не портят немцам кровь.

Послесловие

Я написал этот текст совсем не для того, чтобы поднять народ против Попадина и ему подобных. Еще 4-5 лет назад я говорил о том, что невозможно застроить огромный пустырь в центре города по единому «грандиозному» проекту. Нет людей. Нет средств. Это чисто идеологический, русофобский проект, не имеющий под собой экономической основы. Сейчас после введения санкций и непомерных трат на футбол переживать на тему возведения «Сердца города» тем более неуместно. Переживать нужно о том, что страна толком не работает, работники не востребованы, 25 лет ловкачи, либералы и вороватые чиновники пилят бюджет. Запоздало — «мудрые» советы русофобов о том, что зря мы сопротивлялись в войну — ездили бы сейчас на «мерседесах» и пили бы баварское пиво — слушать не стоит. Попадинцам немцы, конечно, нальют, а нам вряд ли. Работать придется. Надо встать с печи. Начать движение. Наше «Авось» — великая сила. Не одни тевтоны об него обламывались.

Но надо работать, чтобы расцвести самими собой.

* * *

И вот еще вопросы: либералы ли наши либералы? Представляют ли они тот изначальный либерализм, всегда готовы отстаивать права и свободы всех людей независимо от цвета кожи, вероисповедания, сексуальных и идеологических предпочтений? Или в борьбе за превращение России в некое подобие Запада они готовы закатать под асфальт «цивилизации» неугодные им цветы?

А что на другой стороне медали у просвещенных консерваторов и патриотов? Так же мечтают о безоговорочной победе или дадут дышать всем?

* * *

Парадокс. Хорошо известные мне плакальщики по Кёнигсбергу, призывающие нас «обернуться» немцами, в жизни сильно далеки от немецкого Ordnung и представляют, скорее, любезный русский бардак. Немцами мы все равно не станем.

* * *

Поражает поистине надмирская высота, на которую воздвигли себя некоторые из либералов. Тот, который заслужил себе место под берлинским солнцем, заявил как-то в газете «Комсомольская правда», что «хотел бы общаться с великими прошлого». Вот ему ответ:

С великими общаться я хочу,
На кладбище пути я к ним ищу.
В тиши оград я оказаться буду рад,
И гениям я буду словно брат.
Ах! восхищенные моим умом,
Они предложат мне свой дом.
Бом-бом, бом-бом, бом-бом.

Русский мир без границ

Берега Лондона и Москвы

Никита Лобанов-Ростовский



Юбилей Ильи Зильберштейна в ГМИИ им. А. Пушкина

Чествование 110-летия со дня рождения Ильи Самойловича Зильберштейна состоялось в Итальянском дворике ГМИИ им. Пушкина в 19:00 28-го марта 2016 г. Программу вела И.А. Антонова, бывший директор музея. Затем выступали директор РГАЛИ Татьяна Михайловна Горяева, а за ней Алла Геннадьевна Луканова, заместитель заведующего отделом личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина; заместитель Директора РГАЛИ по научной работе Галина Злобина и Наталья Борисовна Волкова, вдова Ильи Самойловича. Потом выступал я и завершил выступления Михаил Ефимович Швыдкой, представитель Президента по международному культурному сотрудничеству. В своем обращении к присутствующим я отметил уникальное достижение Зильберштейна: ему удалось совершить совместное мероприятие между государством и частником-коллекционером. Ведь коллекционеров в ту эпоху называли «спекулянтами». Идеология того времени не предвидела сотрудничества между государством и частными лицами. Благодаря усилиям Зильберштейна и Антоновой был создан Музей личных коллекций при ГМИИ им. Пушкина в здании слева от музея, которое до того принадлежала фирме «Автоэкспорт». Принцип музея был основан на том, что коллекционер дарит музею, а музей ему предоставляет пропорциональное пространство для размещения даров. Каждый даритель имеет свое пространство, где выставляются только его дары. Музей не требует от дарителя никаких других обязательств, как, например, денежный дар за уход дарения. В любом музее вне России значительный дар музею (Зильберштейн подарил 2200 единиц) сопровождается значительным вкладом наличными за содержание дарения. Как член музея «Метрополитен» в Нью-Йорке я был причастен к дарению собрания импрессионистов от банкира Бобби Лемана. Он дал 25 млн долларов на постройку залов и 25 млн за уход его коллекции. Сегодня создание Музея личных коллекций вряд ли кого-нибудь удивит, но в эпоху «светлого прошлого» — этого было немыслимо с позиции философии марксизма-ленинизма. После создания музея, отношение правительства к коллекционерам резко изменилось. Их перестали называть «спекулянтами», а предложение описи правительством всех частных коллекций было не выполнено.

Вспоминая эту эпоху, Ирина Александровна Антонова отметила, что среди коллекционеров были и спекулянты, которые разыскивали живопись и антиквариат, торговали ими и этим наживались. Я считаю, что такая «спекуляция» была положительным явлением, ибо мотивировка заработка вдохновляла этих «спекулянтов» выискивать по всей стране культурное наследие и предлагать его настоящим коллекционерам.

Нина о Зильберштейне

А вот, что моя бывшая супруга Нина вспоминает о Зильберштейне:

В сентябре 1970 г. ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства) пригласил нас провести две недели в СССР за их счет. Они нас заприметили, потому что в 1967 г. Никита организовал выставку работ из нашего собрания русского театрального искусства в музее Метрополитен, в Нью-Йорке, с каталогом. Никиту попросили выступить в Москве, Ленинграде и Киеве на тему

о русских художниках-эмигрантах. Через ЦГАЛИ мы узнали о существовании Клуба коллекционеров и официально встретились со многими его членами, с некоторыми из которых мы завязали дружбу.

Первый советский коллекционер, с которым мы встретились, возможен, самый значительный, — искусствовед профессор Илья Самойлович Зильберштейн. Мы познакомились в 1965 г. в Париже, в бывшей мастерской Александра Бенуа по адресу рю Огюст Витю, 2, куда нас с Зильберштейном пригласила на чай старшая дочь Бенуа Анна Черкесова. Доктор Зильберштейн был в Париже в командировке от советского Министерства культуры. Его заданием было купить у Сержа Лифаря 13 любовных писем А.С. Пушкина своей тогда невесте Наталье Гончаровой (задание не удалось выполнить). Зильберштейн любил творчество Бенуа. Между нами сразу же образовалась приязнь, как только он узнал, что мы восхищались и собирали Бенуа. Помимо этого он почувствовал в нас ту самую навязчивую «лихорадку коллекционера», которой он сам был заражен. Зильберштейн завязал переписку с Никитой, часто прося его разузнать или подтвердить те или иные сведения о художниках-эмигрантах для своих статей и книг. Глубоко сознавая значимость архивного материала, который в изобилии теснился в квартирках стареющих художников и их вдов, Илья Самойлович убедил Никиту купить некоторые архивы, связанные с Бенуа, Дягилевым, Константином Коровиным, Сомовым, Судейкиным, Яковлевым и другими и подарить их ЦГАЛИ, которым заведовала вторая жена Зильберштейна Наталья Борисовна Волкова. ...

Собрание Зильберштейна

Потрясающий успех Зильберштейна в архивных исследованиях и профессиональных публикациях оказал влияние на его коллекционерскую деятельность. Он положил основание своей коллекции еще юношей-подростком в Одессе, когда совершенно случайно ему повезло купить два прекрасных рисунка Бориса Григорьева. Шестьдесят лет спустя его коллекция представляла настоящую историю русского рисунка и акварели от конца XVIII в. до начала XX в. Она включала почти каждого значительного художника, и количество работ каждого художника превышало нормальные коллекционерские владения: 60 работ Ильи Репина, 22 рисунка Павла Федотова, почти 50 работ Бакста и примерно столько же Константина Сомова, 72 рисунка Александра Бенуа и многочисленные другие сокровища, как 76 портретов декабристов и их жен в исполнении Николая Бестужева.

Несмотря на ее разнообразие, у коллекции Зильберштейна есть ядро: Илья Самойлович больше всего лелеял работы «мирискусников», творчество которых отображено в собрании их лучшими работами. Мы с Никитой помним, с каким благоговейным восторгом мы любовались шедеврами в «лазурной» библиотеке Зильберштейна, когда он нас впервые пригласил на обед в 1970 г. Среди работ были портреты Анны Павловой и Айседоры Дункан в исполнении Бакста, известный портрет Бориса Кустодиева, изображающий Федора Шаляпина в меховой шапке, театральные наброски Александра Бенуа, Сергея Чехонина и Мстислава Добужинского, репинский изящный «Летний пейзаж в Абрамцево» (1879), изображающий женщину в белом на порушенном мосту, а также работы Ореста Кипренского, Александра Орловского, Павла Федотова, Карла Брюллова, Василия Садовникова, Алексея Венецианова, Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Алексея Боголюбова, Василия Polenova и многих других.

Западноевропейская часть коллекции была построена гораздо менее логично, чем русская, и во многом состояла из удачных находок, как, например, рисунок Рембрандта «Авраам и Исаак по дороге к алтарю» (1643). Есть множество французских рисунков, включая несколько в исполнении Юбера Робера и автопортрет Виже-Лебрен. Еще одна группа замечательных рисунков и работ акварелью состоит из набросков, сделанных архитекторами и мастерами интерьера, которые работали в России в конце XVIII и начале XIX в.: Франческо Галли Бибиена, Джузеппе Валериани, Пьетро Гонзага, Джакомо Кваренги и Тома де Томон.

Музей личных коллекций

Зильберштейн был не только историком и коллекционером. Он был также практичным и дальновидным человеком. Он знал многих собирателей и понимал, что после смерти многие коллекции

будут распроданы детьми и вдовами (поскольку в то время в СССР якобы не было частной собственности, то также не было налога на унаследованное имущество) или распаханы по разным музеям, где они очутятся в запасниках. У него была идея, простая, но неожиданная для человека, жившего в стране, которая неодобрительно относилась к частной собственности. Он предложил создать Музей личных коллекций в здании слева от Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина в Москве. Идею он изложил Ирине Александровне Антоновой, замечательному и неугомонному директору ГМИИ им. Пушкина. Зильберштейн пригласил Никиту сопровождать его к Антоновой в роли русского эмигранта, коллекционера русского искусства, который поддерживает инициативу и тем самым обеспечивает поддержку русской диаспоры. Илья Самойлович пообещал подарить всю свою коллекцию Музею личных коллекций, если таковой будет создан. Музей открылся 24 января 1994 г., поначалу в здании «Автоэкспорта» на Волхонке, № 14, как филиал ГМИИ им. Пушкина. В 2005 г. его перевели в другое здание на Волхонке, № 10, справа от музея. Коллекция Зильберштейна составила ядро владений нового музея. Нужны были неординарная дальновидность, мужество и самопожертвование, чтобы, во-первых, реализовать создание такого музея, и, во-вторых, чтобы расстаться целиком со своей коллекцией, состоящей из свыше трех тысяч рисунков, акварелей, графики.

Мы с Никитой гордимся, что наши имена фигурируют вместе с именами других сооснователей и дарителей на мраморной табличке в крытом дворике музея.

Поминки

На прощании с Ильей Самойловичем в Большом зале ГМИИ им. Пушкина 25 мая 1988 г. я была единственной иностранкой. Гроб был обит красным бархатом и усыпан цветами сирени. Около гроба стояли три мольберта с тремя картинами: «Летний пейзаж в Абрамцеве» Репина, фронтиспис Бенуа к пушкинскому «Медному всаднику», изображающий Евгения, убегающего от Медного всадника, и «Король прогуливается в любую погоду» Бенуа. Я горько плакала, потому что мы потеряли друга, который щедро советовал, наставлял и направлял нас в нашей собирательской деятельности и наших поездках в Россию. Это был незабываемый человек».



И.С. Зильберштейн у себя в кабинете. Москва 1956 г.

Визит к Фальц-Фейну

На прошлой неделе, в воскресенье 20-го, я был в Вадуце, столице княжества Лихтенштейн, в гостях у барона Александра Эдуардовича Фальц-Фейна. Ему 103 года, и он единственный еще в живых, кто сидел на коленях у Николая II, когда тот гостил в родовом имении барона «Аскания Нова», в нынешней Херсонской области. Мой визит совпал с посещением барона московской журналисткой Оксаной Карнович, которая пишет на тему балета. Она приехала к барону за сведениями о его близком друге Сергее Лифаре. Разговор был записан на магнитофон.

У барона изумительная память. Он помнит даты и события безошибочно. Вот, что он рассказал:

Аукцион в Монте-Карло

«В 1975 г. по приглашению Лифаря я съездил в Монте-Карло, где был четырехдневный аукцион в «Сотбис» по продаже библиотеки Сергея Дягилева, принадлежащей Лифарю. На второй день аукциона, 29-го ноября, в 10 утра, в зал вошел Илья Самойлович, которого Лифарь посадил возле меня. Зильберштейн волновался во время аукциона и по окончании, не зная меня, обратился ко мне и показал мне список книг, которые ему велено было купить на аукционе. Он сказал, что если вернется в СССР без ничего, у него будут плохие дела. К счастью, 2 из этих книг я купил и сказал, что дарю их Зильберштейну. На это Зильберштейн меня спросил: «Извините, сударь, не из Москвы ли будете?» Я ответил, что я — барон Фальц-Фейн, Эдуард Александрович. А Зильберштейн сказал: «Я родился в Одессе и помню, как отец покупал конфеты и шоколад в магазине Фальц-Фейна».

Илья Самойлович не получил разрешения на выезд из Советского Союза вовремя и потому опоздал на аукцион. Но несмотря на то, что ему не выдали достаточно денег на покупку книг, благодаря барону Фальц-Фейну, вернувшись в СССР, ему удалось оправдать свою командировку в центр европейского развлечения. Свою командировку в Монте-Карло Илья Самойлович описал на полную полосу на 6-й странице «Литературной газеты» от 11 февраля 1976 г.

Наше знакомство

Сам я познакомился с Ильей Самойловичем 50 лет тому назад, в 1965 г., в Париже, где я тогда работал в банке. Иссар Саулович Гурвич, обаятельный торговец русским искусством, мне рассказал о Зильберштейне и дал мне его адрес в гостинице «Вольтер» на ке Вольтер вдоль Сены, недалеко от квартиры Лифаря, на той же стороне набережной. Мы с Ниной поехали к нему в гости и у нас сразу же завязались дружеские отношения. Мы пригласили его на ужин в следующее воскресенье с целью показать ему наши парижские приобретения, главным образом работы Александра Николаевича Бенуа. Будучи диабетиком, Илья Самойлович мало что кушал за ужином. Увидев, что мы с Ниной серьезно увлечены «Миром искусства», а в особенности театральной живописью, Зильберштейн нас всячески поддерживал и поощрял в этой деятельности. Ему захотелось иметь портрет Бунина работы Бакста, а также и рисунок Есенина работы Бенуа. Но мне тогда было жалко с ними расстаться, и я ему их не отдал. Но на этом тема не закончилась.

Авиабилет

После этой встречи у нас завязалась регулярная переписка, и я ежегодно навещал Илью Самойловича во время моих официальных командировок в СССР в качестве ростовщика. Параллельно я навел деловые связи с Натальей Борисовной, которая, от имени ЦГАЛИ, пригласила нас с Ниной в 1970 г. на 2 недели в СССР взамен на то, что я передал им архив Сергей Судейкина.

Нам выдали 14 тысяч рублей, часть которых Нина отказывалась на себе носить, говоря, что будучи ростовщиком, я должен располагать деньгами. Сначала мы встретились с коллекционерами Москвы и Ленинграда. Потом нас повезли в Киев. Там в фойе гостиницы «Днипро», пока мы разговаривали с местными представителями ЦГАЛИ, некий представившийся глухонемым умело



Слева направо: Луканова А.Г., Лобанов Н.Д., Швыдкой М.Е., Горяева Т.М. 110-летие Зильберштейна. ГМИИ им. Пушкина. 28 марта 2016 г.



Н.Д. Лобанов и Н.Б. Волкова. Музей личных коллекций, Москва, 27 марта 2016 г.



Евгений Шеф. Фотомонтаж. Слева направо: Н.Д. Лобанов с супругой Джун, Нина Лобанова-Ростовская и И.С. Зильберштейн.



Перед домом барона А.Э. Фальц-Фейна, Вадуц, Лихтенштейн. 21 марта 2016 г.



Н.Д. Лобанов и Н.Б. Волкова у бюста Зильберштейна работы Леонида Баранова на заказ Н.Д. Лобанова, переданного в дар Музею личных коллекций. Музей личных коллекций, Москва, 27 марта 2016 г.



И.А. Антонова и Н.Д. Лобанов. 110-летие Зильберштейна. ГМИИ им. Пушкина. 28 марта 2016 г.

вытащил у меня из кармана пиджака бумажник с оставшимися рублями и авиабилетами. К счастью, в те годы заграничникам нельзя было иметь паспорта при себе. Они должны были лежать в гостинице. Возник вопрос, где найти 2 тысячи с чем-то рублей на покупку авиабилетов на полет обратно, а также преодолеть запрет иностранцам покупать авиабилеты на территории СССР. С деньгами нас выручил Илья Самойлович, который снял деньги из сберкассы и нам их передал. А скандинавская компания SAS сжалась над нами и продала нам билеты в Лондон.

Запрет упоминания имени Лобанова-Ростовского

Илья Самойлович много писал в «Литературной газете» и «Огоньке» о российском культурном наследии, находящимся за рубежом. В том числе он написал большую статью в «Огоньке» о нашем собрании с иллюстрациями на страницу или разворот. 16-го февраля 1983 г. наш общий знакомый Борис Ионович Бродский мне написал: «Илья Самойлович статью закончил. Печатать ее будет журнал «Огонек». Тираж — что-то более двух миллионов. Задержка теперь за слайдами. Как я и предвидел, потребовались слайды 9 по 12 см. Увеличить их могут только в одной единственной лаборатории. Кроме того, редакция просила подробную аннотацию к картинкам. Предлагают печатать и Ваш портрет.» Статья вышла в свет без упоминания моего имени и, конечно, без моего портрета. Окончивалась она словами «Продолжение следует», что оставляло надежду. В письме от 29-го июня 1983 г. Бродский пишет: «Но, увы, Илью Самойловича, как у нас говорят, «сделали». О том, что журнал не собирается печатать продолжение, было ясно. Хуже всего то, что старику заморочили голову «инстанциями.» А «инстанции» — это Комитет государственной безопасности СССР.

Илье Самойловичу запретили упоминать мое имя. КГБ в письме от 25-го мая 1983 г. главному редактору журнала «Огонек» товарищу Сафронову указывало: «Возвращаем вам статью И.С. Зильберштейна «Шедевры отечественной культуры». Популяризацию Лобанова-Ростовского Н.Д. и его коллекции в советской печати считаем нецелесообразным. По нашему мнению, статья оставляет впечатление саморекламы автора и по содержанию написана с объективистских позиций. Начальник пресс-бюро КГБ СССР Киселев Я.П.»

Бывший сотрудник «Огонька» мне объяснил случившееся в письме таким образом: «...то, что когда-то завернули статью Зильбера, меня несколько не удивляет. Собственно, иначе и быть не могло в то время. Рассказывается о коллекции «беляка», у которого отец, «беляк», был даже репрессирован и пропал без вести в наших или болгарских лагерях. А мы его коллекцию будем пропагандировать, всякие там авангардистские штучки. Это сейчас все дозволено. А тогда бдели, будь здоров как! Единственно, чему я порадовался, что Сафронов (человек довольно трусливый, не смотря на его личное хорошее отношение с начальством из органов) наложил крепко в штаны, получив такой ответ.»

Не смотря на запрет, Илья Самойлович искал выход из этого тупика. Мало кто во времена «светлого прошлого» взялся бы оспаривать решение КГБ. В одну из моих поездок в СССР в 1984 г. Илья Самойлович намекнул, чтобы я предложил портреты Бунина и Есенина СССР, а за этот жест он брался уговорить КГБ снять запрет на употребление моего имени в его статьях и в печати СССР. Я согласился. Илья Самойлович пошел на Старую площадь и вернулся довольный, не смотря на то, что ему пришлось унижаться и уговаривать генерала Киселева переменить свое решение. В следующий свой приезд я передал Илье Самойловичу оба портрета. В результате 27-го августа 1984 г. последовало иное письмо в «Огонек», в котором частично указано: «Возражений против публикации, в части, касающейся КГБ СССР, не имеется. Приложения: статья на 4 листах — не секретна. Начальник пресс-бюро КГБ СССР Я.П. Киселев.» В результате обширная статья Ильи Самойловича о нашем собрании была опубликована в «Огоньке» с анонсом на обложке в № 36, за сентябрь 1986 г. Об этом мне написал Зильберштейн в письме от 13-го сентября: «...Я вам сообщил, что уже вышел №36 «Огонька», в котором начало моей статьи о вашей коллекции русской декорационной живописи, и что через 2 дня выйдут №37, где печатается конец этой моей статьи.

Оригинальные документы на бланке КГБ за подписью Киселева мне удалось приобрести из архивов КГБ в 1992 г.

Выставка в ГМИИ им. Пушкина

31-го июля 1985 г. Илья Самойлович мне писал: «С директором музея изобразительных искусств И.А. Антоновой я говорил о вашей выставке. Она очень положительно относится к этой идее. Убежден, что в конце августа Вы получите официальный ответ на это ваше предложение.»

Как предсказал Илья Самойлович, госпожа Антонова мне прислала письмо, где сообщала, что она готова выставить у себя в музее наше собрание, но что она не имеет право договариваться о выставках и иностранными коллекционерами, и что это необходимо решать через Министерство культуры. Вслед за этим я написал в Министерство культуры, ссылаясь на письмо Ирины Александровны. В ответ мне указали, что у всех музеев запланированы выставки на последующие 5 лет.

Советский Фонд культуры

Прошло 2 года. К власти пришел Горбачев. Был создан Советский фонд культуры, который получил больше прав, чем Минкульт СССР, и стал как бы ее противовесом. В начале 1987 г. Илья Самойлович пригласил меня к себе домой, говоря, что в этот вечер из Киева прилетает первый зампред Фонда культуры Георг Мясников (доверенный Раисы Максимовны Горбачевой), который хотел бы со мной поговорить. Как выяснилось, Мясников хотел показать наше собрание в России, потому что в уставе фонда был пункт, связанный с возвращением на Родину культурных ценностей. Я ответил, что не могу самостоятельно решить, ибо я являюсь только совладельцем собрания. Я должен был спросить Нину. Нина согласилась и я ответил Мясникову положительно.

В письме от 7-го февраля 1987 г. Борис Ионович пишет «Илья Самойлович утверждает, что выставка Вашей коллекции в музее Пушкина планируется на январь 1988 г. Уверенность его такова, что мы готовим текст, в котором упоминается подарок Никиты Лобанова, после его выставки, в Музей частных коллекций работы Николая Бенуа.» А 20 февраля Борис Ионович пишет: «Поздравляю с официальным решением о проведении выставки Вашей коллекции в Москве в Музее им. Пушкина. Звоните Зильберштейну.»

Я связался с Ириной Александровной, ибо мне нужно было ее письменное подтверждение о сроках проведения выставки. Это позволило бы мне начать оформлять страховку и документы о ввозе и вывозе части собрания из СССР. Она прислала мне такое письмо от 10-го апреля 1987 г. Отобрав 400 с лишним работ для выставки, я отправился в Москву на официальную встречу с Мясниковым. В те времена узор линолеума на 3-м этаже Минкульта состоял из супрематических картинок Малевича. К счастью, специалисты Минкульта этого не понимали.

Мы уселись в переговорной, и Мясников меня спросил: «Почему Вы хотели со мной встретиться?» Я ему ответил, что в гостях у Зильберштейна, он просил нас показать нашу коллекцию в России. На что Мясников сказал: «Я вас ни о чем не просил». А я ответил: «Дорогой, я понимаю, что Зильберштейна Вы сможете прижать, но со мной так не выйдет. К тому же у меня письмо от Антоновой, где написано, что выставка состоится. А ежели Вы ее запретите, то Вам придется мне выплатить значительную неустойку за мой финансовый и моральный ущерб.» Мясников побледнел. В зале был телефон. Я набрал Антонову и передал Мясникову трубку. И тут началась феноменальная перебранка, в присутствии корреспондента газеты «Родины» Н.Г. Щегловой и фотографа газеты В.Д. Некрасова, которые запечатлели эту встречу.

В результате выставка состоялась, и Илья Самойлович не пострадал.

Смелость

В 1960 г. в «Правде» появилась крохотная статья, без подписи, о кончине Александра Николаевича Бенуа в Париже. Инициатором статьи был Илья Самойлович. До этого времени о любом «мирискуснике» можно было писать только отрицательно. В 1974 г. Илья Самойлович заметил, что за рубежом к этому времени вышло 79 книг о Сергее Дягилеве, а в России ни одной. Илье Самойловичу удалось пробить книги о Дягилеве, Бенуа, Коровине и Серове. Мне удалось пополнить большую часть его книги о Коровине следующим образом. В Париже Константин Коровин подрабатывал своим талантом рассказчика, публикуя еженедельно рассказы в «Русской мысли». В конце Второй

мировой войны в редакцию «Русской мысли» попала бомба, и все номера газеты были уничтожены. Илья Самойлович хотел воспроизвести как можно больше литературного наследия Коровина. Однажды, будучи у вдовы его сына Алексея, я спросил ее, не остались ли у нее, случайно, газетные статьи ее свекра. На что она ответила: «Да, большой сверток в шкафу, помогите мне, пожалуйста, его вытащить». Сверток я привез Илье Самойловичу, за что он меня благодарит в предисловии книги.

Алексей Коровин

В Париже Илья Самойлович разыскивал (среди множества другого) тексты статей, которые Константин Коровин публиковал в газете «Возрождение». В редакцию газеты во время войны попала бомба и архив погиб. Коровину не удавалось жить на доходы от продажи живописи и для дополнительного заработка он писал увлекательные рассказы в газету. Илья Самойлович вслед за книгой «Александр Бенуа размышляет» собирался издать книгу «Константин Коровин вспоминает». Часть статей ему удалось найти, но большинства он не имел.

Собирая театральную живопись, я искал следы покойного Алексея Коровина, чей стиль очень напоминает работы отца, как по палитре, так и по почерку. Михаил Бенуа (заведующий Русской частной оперой в Париже Марии Кузнецовой) дал мне адрес вдовы Алексея Константиновича (1897—1950), у которой была двухкомнатная квартира в 16-м округе Парижа. У нее осталось мало работ мужа. Я купил у нее все, что там было. А на вопрос: есть ли у нее еще что-нибудь? — она указала на большой пакет весом килограммов пять. «Это газетные вырезки статей Константина Коровина. Хотите их?» Я тут же их купил и поблагодарил судьбу за то, что она привела меня туда, ибо 6 месяцев спустя после моего визита она скончалась. Я отвез в Москву пакет со статьями и передал их Илье Самойловичу. Таким образом, у него очутился почти весь подбор и он смог опубликовать книгу («Константин Коровин вспоминает...» М.: Изобразительное искусство, 1971).

Серов — Юсупов

Во время визита в Париж в 1964 г. Зильберштейн побывал у князя Юсупова. Он часто заходил к князю на беседы с его супругой Зинаидой Александровной, и главным образом, с Феликсом Феликсовичем. В его доме на улице Пьер Герен в 16-м округе находился портрет его отца работы Серова «Юсупов в мундире кавалергарда стоя у вороного коня»¹. Вариант этой картины «Юсупов в белом мундире верхом на белом коне» (1903) был хорошо известен Зильберштейну, ибо он висел в постоянной экспозиции в Русском музее в Ленинграде, и ему очень хотелось вернуть эту картину в Советский Союз. Феликс Феликсович не соглашался, несмотря на то, что Зильберштейн был чрезвычайно убедителен и красноречив.

После кончины Юсупова картина перешла по наследству его дочери Ирине, а от нее к внучке, Ксении Николаевне Сфири, урожденной Шереметевой. Ксения Николаевна решила ее продать. Она поделилась с моим дядей Николаем Васильевичем Вырубовым, который и меня известил об этом.

Я был готов за нее заплатить 50 тыс. долларов с целью обменять картину на театральные эскизы в любом из музеев Советского Союза и об этом написал Зильберштейну, который приветствовал мое предложение, указав немедленно связаться с ним при моей очередной поездке в Москву. В 1976 г., договорившись с Зильберштейном, в назначенный час я явился к нему на квартиру на Лесной улице. Там нас ждала «Волга» из Министерства культуры, которая нас отвезла на свидание с Генрихом Поповым, начальником Иностранного отдела. Я заметил, что у него на столе лежала большая фотография картины Серова и справка от Третьяковской галереи о ее подлинности. Я выразил свое желание обменять картину Серова на 10 театральных эскизов Головина, чьи работы отсутствовали у меня в собрании. Попов отказался, что было в те времена обычным ответом советского чиновника. Зильберштейн напомнил Попову, что Третьяковская галерея очень хотела бы иметь эту картину и что мое предложение явно в пользу Советского Союза, ибо 10 эскизов Головина могли бы стоить тогда максимально 20 тыс. долларов. Попов был неумолим.

¹ Граф Феликс Сумароков-Эльстон — губернатор Москвы (1914–1915), муж княгини Зинаиды Юсуповой, чей титул и имя он принял.



Н.Д. Лобанов с картиной В. Серова

В сделках такое отношение советского чиновника обычно, по моему опыту, кончалось взяткой. Но Попов был мне неприятен и, в отличие от других коммерсантов, взятку я ему не предложил. А идти к министру П.Н. Демичеву мне не хотелось, я знал, что Попов и Демичев — одного поля ягоды.

Зильберштейн был чрезвычайно огорчен. Мне же было обидно за то, что лишний раз пришлось безрезультатно иметь дело с советским чиновником.

Зато Попов наладил хорошие деловые отношения с Антониной Гмуржинской, хозяйкой известной галереи, торгующей авангардом в Кельне. Гмуржинская покупала в 1960–1970-х гг. шедевры авангарда 1920-х гг. в Москве и Ленинграде у коллекционеров и семей художников. С официальным разрешением Министерства культуры она вывозила живопись, заплатив продавцам и Минкульту. Часть того, что она вывезла, было приобретено у нее П. Людвигом. Ныне эти работы висят на двух этажах в музее им. Людвига в Кельне (Russische Avantgarde. 1910—1930; Sammlung Peter Ludwig; Museum Ludwig).

Зильберштейн проявил свое чрезвычайно дружеское отношение ко мне, подарил уникальный эскиз Головина, костюм для Тамары Карсавиной в роли Жар-птицы (1910). Честь и слава ему!

После неудачи я предложил Ксении Николаевне свести ее с аукционным домом «Сотбис» в Лондоне. Она согласилась. Вскоре Джулиан Барран, директор отдела импрессионистов приехал в Париж и вместе с Ксенией Николаевной и Вырубовым они отправились на склад «Сожегард» на авеню Клебер, где хранилась картина. Барран был ею восхищен и оценил ее в 100 тыс. фунтов. Ксения Николаевна была в восторге и тут же согласилась поставить ее на аукцион в Лондоне. Но на аукционе картина не продана, в 1977 г. она казалась покупателям слишком дорогой.

После аукциона картину купил антиквар американец Николас Лин, у которого был антикварный магазин в Лондоне «Зимний дворец» (Winter Palace).

Когда Лин скончался, его имущество, включая картину Серова, 13 февраля 1986 г. продавалось на аукционе «Сотбис» в Лондоне¹. Там ее купил М.Л. Ростропович.



¹ 13 февраля 1986 г., лот 61.

Русский мир без границ

Берега Лос-Анжелеса

Анатолий Берлин

Анатолий Берлин — известный поэт и эссеист, философ, переводчик и меценат, родившийся в Петербурге, ныне живущий в Соединённых Штатах Америки.

Пишет на русском и английском языках. Автор десяти стихотворных сборников, многократный Лауреат Международных поэтических конкурсов, обладатель «Серебряного Перо Руси», Дипломов «ЗА ВКЛАД В РУССКУЮ ПОЭЗИЮ XXI века», «ПРИЗНАНИЕ МЭТРА» и многих других. Стихи и проза Анатолия Берлина печатаются в многочисленных литературных журналах и альманахах поэзии, включая публикации в таких эксклюзивных изданиях как «Грани» (Франция), «Интерлит» (Беларусь), «Вольтеровское кресло» (Россия), «Лебедь» (США). Подборка публицистических статей и стихов Анатолия включена в недавно вышедшее издание легендарных «Тарусских страниц». В 1996 году совместно с женой Софией основал литературно-музыкальный салон «ДОМ БЕРЛИНЫХ», отмеченный Дипломом «Золотое Перо Руси» за двадцатилетнюю работу по поддержанию русской культуры за рубежом.



Осколки памяти

Петра томленье,
в веках застывшая Нева,
Оград смиренье,
отважность каменного льва,
Рассвета влажность,
пробитый шпилем тучи плед,
Соборов важность,
кабриолета свежий след.

Стрела проспекта,
мостов чугунных кружева,
Сирени ветка,
зеленой бронзы старина,
Театров звуки
и перламутровый лорнет,
Поэта руки
и ненавязчивый сонет.

Прелестниц бывших
ещё неотразимый шарм,
Салонов пышность,
игривое “cherchez la femme”,
И шепот тайный,
мазурки выход на паркет,
И стол игральный,
квартет, записка и корнет.

Очарованье

и пересуды давних лет,
В любви признание
и данный смолоду обет,
Круженье вальса,
волна блестящих эполет,
Движенье пальца
и конь, гарцующий вослед.

Львы стерегут Петербург

Эту дикую кошку
обнаружил рассвет...
На гранитную крошку
теневого силуэт
Наползает из бездны,
и рычит, как живой,
Возле сонных подъездов
лютый зверь молодой.
Припорошен ли снегом,
солнцем скудным умыт,
Он под северным небом
неизменно стоит.
Оторочен лохматой
медной гривой густой,
Он могучею лапой
катит шар пред собой.

Спит, замаявшись, город,
только львам не уснуть:
Паутиною морок
опустился на грудь
Площадей и соборов,
своенравной Невы,
На огни светофоров,
ширь проспектов прямых.
День за днём, год за годом
горделивые львы
Сторожат в непогоду,
берегут от беды
Город юности нашей,
город нашей любви...
И ветрами раскрашен
вечный «Спас-на-крови».

Понтий Пилат

(Глава из поэмы «Начало»)

«... жестокий пятый прокуратор Иудеи,
всадник Понтий Пилат».

М. Булгаков

«Что Истина?!

Ты должен знать ответ... Я был бы рад
Понять, кто ты, Мессией нареченный,
И в чём ты, странник божий, виноват
Перед народом соплеменным?

Зачем Искарот — твой ученик презренный,
Предательства переосмыслил грех?¹

Ты нужен им, но только убиенный,
Затем, чтобы развеять твой успех!
Ты смуту сеешь среди вся и всех —
И в том причина гнева иудеев...
Что проповедуешь ты, странный человек?

Безмолвствуешь, пред будущим робея?
Ведь знаешь наперёд, что на кресте я
Велю распять, как тех ворюг и мразь,
Тебя — пророк из Галилеи...

¹ *Иуда Искарот (авт.) «Смерть органически завершала земной путь Учителя, своею кровью искупившего грехи людские. Его смерть нужна была миру, Иуда понял это и взял на себя роль орудия Божьего Провидения. Он понимал, что человечество проклянет его, но он понимал также и то, что Иисус — Сын Божий, нуждается в его помощи и поддержке. Именно вера и любовь к Учителю толкнула его на содеянное им, на так называемое «предательство».*

Сергей Михайлов
«Оправдание Иуды или
Двенадцатое колесо мировой колесницы»

Мой перст и взгляд сверлящий — это власть!
Толпа враждебная, как вороньё кружась,
Клокочет, предвкушая представленье...

Яви им чудо: пусть цветут оливы!..
И я, клянусь, назначу справедливый
Вердикт, достойный сана моего!

Но ты молчишь... Бич самоотречения
Избрал ты для себя, а мне клеймо
Проклятия вовеки суждено!

Мне — прокуратору, наместнику Тиберия,
В игре непрошеной нести страстей ярмо.

Обязан буду не тебе ли я,
Что, дав зарок, прерву изготовление
Монет, на коих я изображён?..

Ты не вершишь чудес по принуждению?
И у тебя имеется резон
Пойти на муки, искупая грех людской?
На крест взойти!
И вправду ты святой?!..

Я принимаю, праведник, с трудом
Твоё желание и волю быть распятым;
Жестокосердной волею объятый
Пусть возликует в этот час Синедрион.

Кто б ни был ты, Иисус, на самом деле,
Пора судьбу решать — конец недели...

Мне руки не умыть, традицию храня,
Весь мир сегодня смотрит на меня...
Что Истина?

Мне истину открой!»

Цветение сакуры

Туманом припудрен задумчивый парк,
Проснулась одетой японская вишня,
В цветах её зреет медовый нектар —
Природы весенней восторженный дар
И пчёл целомудренных райская пища.

Шарфом бело-розовым станет гореть
Аллея влюблённых...

Причуда творенья
Уже незаметно опала на треть,
Недолго ещё декорациям тлеть,
Оставив интимную тему цветенья.

Лишь крокусы — спутники грустных стволов,
Живые свидетели бывшего чуда,
Следят за агонией тех лепестков,
Что выткали нежно-белёсый покров
На скрытом в тумане ковре изумруда.

Страсти

Я вижу рыцаря сверкающего лета...
Эдмон Ростан

На ринге два рыцаря —
два петуха.
Ставки растут,
улюлюканье, свист,
Ажиотаж,
как на бирже, когда
Час до открытия.
Вызов и риск.

Доспехи у рыжего —
золото чистое,
Второй — воронёный
с голубизной.
Головы вверх,
будто молятся истово
Два гладиатора,
выйдя на бой.

Гордо ступая,
рыжий вальяжится.
Полон величья
боец — фаворит.
Опытный,
он нападать не отважится:
Грозно, надменно
соперник глядит.

Торс мускулистый
и гребень атласный,
Шпоры стальные —
в них лезвия бритв.
Видно, молодчик —
драчун экстра-класса
И за плечами
с полдюжины битв.

Выждать и выжить —
и вспышка инстинкта
Повелевает
азарт одолеть.
Нервы решают
исход поединка,
Смелость без выдержки —
верная смерть.

Вот и атака!
Жестокая схватка!
Грудью на грудь —
и у зрителей шок.
Силы последние
все без остатка
Оба вложили
в летальный прыжок.

Доля секунды
и лезвием рыжий
Ловко соперника опередил
и, бездыханный,
Тот в красную жижу
вспоротый
рухнул
и крылья сложил.

А победитель
уже после стычки,
Перья на шее
в жабо распустив,
Клюнул несчастного,
так, по привычке,
И отошёл...
истомлен,
полужив.

Гибнут быки
и дерутся пернатые,
Рвутся собаки
на запах врага...

Я ненавижу
челюсти сжатые
И предпочту
тараканьи бега.

Русский мир без границ

Берега Аризоны

Натали Гагарина



Натали Гагарина как журналист-международник публикует свои статьи и рассказы в газетах и журналах России, Америки и Швеции. В свет вышли её шесть историко-детективных романов о любви, в которых писательница описывает свою жизнь в разных странах. Она активный общественный деятель и волонтер. Калининград — её родной город, а Аризона — тот край, где Натали живёт и занимается творчеством. «Ген бродяжничества» не даёт ей засиживаться на одном месте, поэтому она постоянно путешествует, открывая для себя наш безгранично интересный мир.

Жизнь как шаттл

Очерк

В Хьюстоне 9 марта 2011 года в день рождения первого советского космонавта Юрия Гагарина Америка торжественно праздновала 50 лет со дня первого полёта в космос! Американские астронавты и русские космонавты собрались большой, дружной семьёй. На открытии праздника моё сердце забилось, как сумасшедшее, когда американцы сказали: «Гагарин — не только ваш, но и наш! Потому что это — наш общий мир и наше общее будущее! Наша Вселенная! Мы вместе должны осваивать и завоёвывать космическое пространство!» Я — русская — испытала огромное счастье — участвовать в этих празднествах и гордилась от осознания того, что мы, две великие нации, можем жить в мире и согласии, что у наших детей есть общее, великое будущее. Я искренне верила в это.

Там же на празднике я познакомилась с американскими астронавтами: Кристофером, Майклом, Рексом, Дугласом, которые полетят на МКС (международную космическую станцию) в свой последний полёт на шаттле «Атлантис». Через четыре месяца, в июле 2011 года, Америка закрывала свою космическую тридцатилетнюю Программу «Спейс-шаттл».

Увидев мою знаменитую фамилию на бейджике, астронавты спросили:

— Ты настоящая Гагарина?

— Да, — ответила я с гордостью, — я родилась Гагариной.

— Ребята! — со свойственной американцам эмоциональностью оживились астронавты — Гагарина с нами! Это хороший знак, что наш полёт будет успешным!

— Ура! — заорала я во всю мощь своих лёгких — За ваш успешный взлёт и возвращение на Землю!

— We'll be back! — (Мы вернёмся!) — Хором прокричали астронавты..

В Хьюстоне я познакомилась с замечательным американцем. Пожилого седовласого мужчину звали Ричард. Всю жизнь он отдал работе в космическом центре по Программе «Спейс-шаттл». Американец рассказал мне потрясающую историю своей жизни, жизни под названием «Шаттл». Мы обменялись визитками.

Через полтора года я снова полетела в Хьюстон и встретила с Ричардом. Этот простой американец так глубоко затронул мою душу! Вот он, настоящий человек, гражданин, патриот! Человек планеты Земля. Искренний, любящий свою семью и свою Родину и честно отдавший свои знания и

силы делу во имя науки, во имя процветания планеты, на которой мы все живём. Я решила написать и опубликовать его рассказ.

Когда Ричард подрастал, Америка была охвачена болезнью космосом. Русские рвались в космос. От них старались не отстать французы, и, конечно, Америка — могущественная держава, которая априори во всём впереди, вкладывала миллиарды долларов на развитие космических программ. О космосе говорили все и везде, о нём писали, о нём снимали фильмы, и все мальчишки мечтали стать астронавтами. И Ричард был одним из них.

В 1970 году в 22 года будущий «астронавт» окончил Калифорнийский университет в Беркли со степенью бакалавра в области механики и поступил на службу в ВВС США. Приобретая опыт, за десять лет упорного труда от инженера-механика до конструктора, он понял и осознал своё предназначение в жизни — создавать и строить космические корабли. Его идеи и инновационные предложения, которыми был переполнен мозг молодого конструктора, внедрялись в новые модели и проходили успешные испытания. Ричард жил и бредил только космосом. Он гордился ракетами, уходящими на орбиту, потому что в них была и частичка его труда.

Вот его рассказ.

«Ричард, тебе пора жениться, — говорили родители, видя как работа засасывала меня всё больше и больше. Сердце матери подсказывало, что одиночество не может сделать человека счастливым. А мне, наоборот, казалось, что я очень счастливый, потому что занимался любимым делом.

— Что ты за человек?! — возмущалась мать, — как ты, молодой парень, можешь жить без любви?!

— Моя любовь — космос! И любовь к тебе, мама. Любовь к жизни, в конце концов. Я полон любви, мама, — отшучивался я, обнимая её.

Любовь к женщине проснулась во мне, как фейерверк. Мне было 32 года, когда я встретил Линдси — самую лучшую женщину в моей жизни. Это был 1980 год. В то время мы жили в Калифорнии. Новогодний фейерверк! Небо озарялось разноцветными вспышками, причудливыми узорами, огненными фонтанами и цветами! А вокруг ликующая толпа прыгала, обнималась, целовалась и неистово кричала в тысячу голосов! Рядом стояла девушка, сложив руки на груди. На лице её была очаровательная улыбка, большие глаза при каждой новой вспышке огней раскрывались ещё больше и, казалось, она ждала какого-то чуда, чего-то необычного, что должно свалиться на неё сейчас прямо с неба. Её лицо в свете огней фейерверка показалось мне каким-то сказочным, неземным, волшебным, и вся она была будто из другого мира, где не было меня. Вот когда мне нестерпимо захотелось войти в этот её мир! Будто кто-то дотронулся волшебной палочкой до моего сердца... и мир разом изменился...

С этого дня я не представлял себя без Линдси. Однако, смысл своей жизни я видел только в работе и без неё не видел ни себя, ни Линдси. Я любил свою работу и очень любил Линдси, но расставить приоритеты: что первично, что вторично не мог. И работа, и семья требовали полной отдачи, а совмещать это было невозможно. Кто-то в семье так или иначе должен был жертвовать собой ради великого дела, ради жизни, имя которой- «шаттл». Я пришёл работать в НАСА в космический центр уже в январе 1981 года. Линдси поддержала меня: — Я согласна — сказала она. Я поеду с тобой. Ехать во Флориду мы решили как семья, и не только потому, что семейным парам предоставляют более комфортное жильё, чем мужчинам — одиночкам, но, главное, потому что уже не представляли дальнейшей жизни друг без друга.

Жизнь наша пролетела, как быстрокрылые «шаттлы»... Мы жили и вращались в фантастическом мире создания космических транспортных кораблей, обсуждали все новости, касающиеся полётов, знали всех астронавтов поимённо и дружили со многими из них. А наша любовь с Линдси была такой прекрасной, и такой трудной!

Мы фантазировали, что в 21 веке люди уже будут заселять другие планеты и представляли, как мы будем жить на Марсе. Линдси даже придумала марсианские костюмы, а я сказал, что мы создадим такой аппарат, который будет летать на Марс и обратно на Землю, как рейсовый автобус.

В том месте, где мы поселились не было возможности найти работу для моей Линдси. Сидеть дома целыми днями, ожидая меня, ей было невыносимо тоскливо, хотя она прекрасно управлялась с домашними делами. Каждое утро я уезжал на работу, а вечером, как «боинг», летел к своей любимой. Со временем как-то само собой всё успокоилось и жизнь вошла в обычное русло, как жили все

американские семьи. Я работал и делал то, что мне нравилось, что умел делать на высоком профессиональном уровне. Линдси обижалась, что я уделяю ей мало внимания и мы почти никуда не ходим. Вечерами я возвращался домой, валясь с ног от усталости и засыпал после ужина мгновенно. «Ты женат на «шаттл», а не на мне — обиженно говорила жена... — я уеду обратно в Калифорнию к маме. Я не чувствую себя женой. Я не нужна тебе! Ты помешан на своей работе, на своих «шаттлах!»

Что я мог сказать ей? Я чувствовал себя виноватым, но изменить что-либо было невозможно. Кульминацией недовольства моей жены было Рождество, когда я сутками трудился над завершением срочного заказа оборонки и не смог прийти домой вовремя. Сидя одна за праздничным столом, она жалела себя, кляня мою работу и занятость.

Новый 1982 год Линдси встречала уже в Калифорнии без меня со своими родителями и друзьями. Я звонил ей каждый день вечером, возвратившись с работы. Скучал без неё ужасно! Слушая её голос в телефонной трубке, умолял вернуться. Но что я мог ей предложить? Неужели это всё? Вот так и расстанемся? Я просил босса дать мне отпуск хотя бы на неделю, но каждый раз, когда собирался уехать, случались какие-то непредвиденные ситуации, где моё присутствие было необходимым. ...

«Шаттл» — это не просто железный аппарат. Это в первую очередь — люди! Всё происходит благодаря людям. Через год меня перевели на другую более ответственную должность и, наконец-то, получив месячный отпуск, я немедленно полетел к своей любимой. Во время полёта я нервно думал о том, как мы встретимся и как пройдёт наше примирение с Линдси. Или не пройдёт? А вдруг у неё уже есть кто-то другой? Разволновался тогда жутко!... мне стало плохо..., ком подступил к горлу..., меня тошнило. Выйдя в здание аэропорта в Лос Анджелесе, я направился к стоянке такси, и вдруг услышал за спиной родной голос: — «Ричард!...» Молнией пронзило всё моё тело! Спина немедленно покрылась испариной. «Линдси! Девочка моя!», — Я схватил её в объятия, прижал к себе и не мог сказать ни слова. Слезы предательски текли по щекам. Год в разлуке — это более чем приличный срок, чтобы испытать свои чувства, чтобы вновь понять, что мы любим друг друга и жить друг без друга не можем. Больше мы никогда не расставались.

В 1983-м у нас родился Тимоти. Я помню, как будто это было совсем недавно... На вопрос, «Где папа?», — Линдси всегда отвечала: — «Папа строит космические ракеты. — «Хочу ракету!» — кричал малыш, и я каждый раз покупал и дарил сыну самолёты, ракеты, а он с самого раннего детства называл себя астронавтом.

В октябре 1985-го я впервые провожал свой шаттл «Атлантис» в космос! Это был мой шаттл, над которым я работал последние три года — моё детище! Я по праву могу так называть его: мой шаттл.. Сколько труда вложено в это творение! Это потрясающее достижение инженерной мысли! На запуск «Атлантиса» мне впервые разрешили пригласить семью. Представляете? Впервые! На мыс Канаверал допускались только работники, которые принимали непосредственное участие в создании этого аппарата. Вокруг нас сотни наших сотрудников, скрестив пальцы, с гордостью устремили свой взор в небо. Они молились за удачный старт и возвращение космического корабля, провожая его, как своего ребёнка, в самостоятельную жизнь. Слезы текли по щекам, грудь сдавило от волнения и эмоций, которые способен испытать только тот, кто вложил всю душу в это творение! Мой сын сидел у меня на плечах, и я сказал ему: — «Смотри, сынок, это твой папа сделал!». Моя Линдси, впервые присутствующая на таком грандиозном зрелище, только теперь поняла, чем занимается её муж и как важна его работа! Не для семьи, нет! Для всей Америки! Она гордилась мной. Я видел это восхищение в её глазах, полных слёз радости и мне хотелось сделать ещё больше... Хотелось создать настоящее космическое чудо.

В следующем году при запуске шаттл «Челленджер» произошла страшная катастрофа! Погибли все семь астронавтов. Эту трагедию мы переживали всей страной. Если бы вся Америка, наш президент не поддерживали нас, тех, кто принимал непосредственное участие в создании шаттла и подготовке полёта, многие бы не сумели перенести, пережить это тяжелейшее горе.

В 1998 году на экраны вышел фантастический фильм «Армагеддон» и потряс воображение людей во всех странах мира! Мы всей семьёй с восторгом смотрели этот фильм, потому что в съёмках участвовали два наших шаттла: «Колумбия» и «Атлантис». По сюжету фильма гибель корабля при посадке я смотрел с особым волнением и после этого мне часто снились кошмары... Я не мог принять умом, что мой шаттл вот так же может потерпеть крушение. Этого не должно случиться никогда! После этого фильма мой сын Тимоти просто бредил астронавтами и космическими кораблями. Ему было уже 13 лет.



А 2003 году случилось то, чего я боялся больше всего! При посадке потерпел крушение наш шаттл «Колумбия»! После фильма «Армагеддон» это была мистическая трагедия всей американской нации! Это было личным горем каждого человека, работающего в Программе «Спейс-шаттл». Не знаю, как я не сошёл с ума и как нашёл в себе силы жить и работать дальше.

Моему сыну шёл 19-й год и он шёл точно по моим стопам: учился в Калифорнийском университете в Беркли. В 2007 году окончил его со степенью бакалавра в области механики и так же, как и его отец, поступил на службу в ВВС США. Тим женился и, вскоре, наша семья пополнилась ещё на одного будущего «астронавта» Гарри. Линдси вся растворилась в заботах о внуке и баловала его безмерно.

Через пять лет в 2011 наш сын Тим уже окончил Хьюстонский университет и получил степень магистра в области организации производства и был направлен в испытательную эскадрилью в качестве лётчика — испытателя. Освоил более 20 типов самолётов и налетал более 4000 часов. Через три года его планировали зачислить в отряд астронавтов. Он твёрдо решил стать астронавтом и посвятить свою жизнь исследованиям космоса. Мы с матерью гордимся им, хотя и очень переживаем, понимая ответственность и опасность этой трудной профессии.

Как быстро пролетели эти тридцать лет! Мне уже шестьдесят два! Я не заметил, как сын стал первоклассным лётчиком, и даже не сомневаюсь, что внук, так же, как и его отец, будет астронавтом. Наша жизнь, как шаттл.

8 июля 2011 года на мыс Канаверал прибыли тысячи туристов из разных стран мира наблюдать взлёт последнего американского шаттла «Атлантис».

Тысячи сотрудников, работавших в НАСА по этой Программе прибыли из разных штатов воздать должное «Атлантису» — последнему из космических «челноков». Сколько нас работало в этой программе точно не знает никто... Мы сделали шесть шаттлов. Пять мы отправляли в космос. Два — не вернулись. «Атлантис» был нашим последним детищем и самым любимым, как последний ребёнок. Мы вложили в него душу и сердце. Каждый, кто работал в Программе, и не только те, кто крутил гайки, чувствовал свою ответственность и историческую значимость выполняемой работы. Мы — это и есть «шаттл»: проектировщики, конструкторы, инженеры, рабочие, служащие — все были одним целым. Когда ты видишь «шаттл» на открытой местности, вышедший из монтажно-сборочного корпуса — это и есть твоя награда! Ради этого мы и работаем. Вы понимаете меня? Мы отдали «шаттлу» часть своей жизни! Он был для нас смыслом жизни каждого! Да, я плачу... С закрытием этой Программы, мы потеряли этот смысл жизни! Понимаете ли вы меня и всех, кто работал 30 лет в этой Программе? Мы не знали, что делать и не представляли себя где-то вне этой жизни. Жизни под названием «Шаттл». Мы все гордились, что причастны к великой нации, к великим открытиям.

«Шаттлы» создают для достижения великих целей, чтобы обеспечить постоянное присутствие человека в Космосе. Именно «шаттлы» подняли на орбиту большую часть модулей международной космической станции — крупнейшего рукотворного объекта из всех находящихся в Космосе. На станции постоянно проживают экипажи — люди из разных стран. Они говорят на разных языках, у них разная культура и религия. Станция будто прототип новой планеты, где нет государственных

границ, виз и военных конфликтов. Нереальное ощущение! Наш 2000-тонный «Атлантис» доставит на космическую станцию, 11 тонн продуктов, запчастей и разных необходимых грузов для людей, живущих и работающих там. В этом и заключается величайшее достижение «шаттла».

На запуске шаттла «Атлантис» переговоры руководителя запуска Майкла Лайбаха с экипажем транслировали по громкой связи для миллионов людей, приехавших на Канаверал провожать последний шаттл.

Майкл: «От имени лучшей команды на Земле желаю удачи вам и вашему экипажу во время последнего полёта этой американской легенды!».

Командир шаттла «Атлантис» Кристофер Фьюргюсон: «Спасибо тебе и твоей команде, Майкл! Этот «шаттл» всегда будет символом того, на что может быть способна великая нация, которая не боится дерзать. Сегодня мы не завершаем путешествия. Мы только заканчиваем главу путешествий, которые никогда не закончатся. Ты, Майкл, как и тысячи других людей, вложил душу и сердце, и свою жизнь в исследование космоса и американскую историю. Давайте снова зажжём этот огонь в честь нашей великой нации! Поехали!».

— Давай, малыш!

Я, Линдси и вся семья моего сына, обнявшись, с волнением и гордостью наблюдали взлёт нашего «Атлантиса». Я подумал: -Это здорово, быть частью этой Программы и видеть взлёт последнего «шаттла»! Это так трогает! И ты не стыдишься своих слёз, потому что ты сделал всё, что мог! Я сказал своему внуку: — «Смотри, Гарри, это твой дедушка сделал!».

Через год 8 июля мы с Линдси пришли в парк музея Кеннеди, где навечно установлен шаттл «Атлантис». Гигантский космический челнок величаво возвышался над нами, как бы приветствуя: — «Hi, guys!» (Привет, ребята!) Я стоял и смотрел на него. Слёзы душили меня, я только мысленно говорил ему: «Ты мой шаттл, мой «Атлантис». Я люблю тебя и никогда не забуду. Ты навечно встал на прикол..., твою работу уже не потребуется, как и моя. Нас списали и поставили на вечную стоянку... Я вышел на пенсию и ты отлетал своё... Мы не нужны больше, но мы сделали великое дело для своей страны! Мы- герои! Мои руки создавали тебя, моя душа жила в тебе и тысячи таких, как я, скажут тебе то же самое». Слёзы текли у меня по щекам, а я всё стоял и не мог отвести взгляд от своего детища — огромного величавого и прекрасного «Атлантиса». «Смогу ли я жить на пенсии, не знаю... Но, как и ты, я уйду на вечный покой с чувством выполненного долга. Я сделал всё, что мог. И сделал это хорошо».



Русский мир без границ

Берега Парижа

Елена Лебедева

Лебедева Елена Алексеевна родилась в 1949 году. Представитель Межрегионального Шаляпинского Центра, родственница второй жены Шаляпина. Публикуется около 20 лет, написала около 70 статей, в том числе для парижской русскоязычной газеты «Русская мысль», автор более чем 20 статей о русской эмиграции. Данный материал публикуется впервые

В Русском доме под Парижем в 2014 году

Этот Русский дом находится в 25 километрах на северо-запад от Парижа. Добраться туда можно за полчаса на электричке с парижского вокзала Сен-Лазар, доехав до станции Кормей-ан-Паризи (Cormeilles-en-Parisis). А затем пешком по уютным улочкам, застроенным двух- или трёхэтажными домами с небольшими, засаженными цветами садиками, через 15 минут вы попадаете на улицу Мартре (Martray) к воротам этого пансионата. Сейчас это самый большой Русский дом во Франции из трёх оставшихся Русских домов, два из которых находятся под Парижем (в Кормей-ан-Паризи и в Сен-Женевьев-де-Буа) и один — в Ментоне, на Лазурном берегу. В этом пансионате живут 200 престарелых пансионеров. Недавно мне удалось там побывать и познакомиться с его современными обитателями, а также посетителями, которые навещают их. Несколько лет назад пансионат отметил своё 60-летие.

У истоков его создания в начале 1950-х годов прошлого века во Франции стоял Земгор — международная организация по оказанию помощи русским эмигрантам, которая стала воспреемницей дореволюционного Земгора — объединённого комитета Земского и Городского союзов, образованного ещё в России летом 1915 года. Земгор в России помогал правительству в организации снабжения русской армии в Первую мировую войну. В 1918 году, после революции 1917 года, он был упразднён. А через три года, в 1921 году, комитет возродился за границей по инициативе его руководства, которое эмигрировало из России. Но задачи его стали иными. В Европе, в ряде стран, после отъезда сотен тысяч беженцев из России из-за революции и Гражданской войны были созданы отделения Земгора, которые помогали русским на чужбине. Одной из задач, помимо помощи в трудоустройстве эмигрантам и в обучении подрастающего поколения, была забота о престарелых русских для продления их жизни. Поэтому Земгором на средства, полученные при закрытии Международной организации помощи беженцам после войны, недалеко от Парижа для Русского старческого дома в конце 1940-х годов была куплена территория католического монастыря, на которой сейчас и стоят три жилых пансионатных корпуса. Каждый корпус имеет своё название, по которому приходит почтовая корреспонденция постояльцам. Это «Розовый дом» — павильон «Долгополов» — в честь основателя Русского дома врача Н.С. Долгополова (1879—1972), павильон «Вишневый сад», «Белый дом» — павильон «Недошивин» в честь соратницы Долгополова Н.А. Недошивиной (1895—1983). Последний корпус в настоящее время находится на капитальном ремонте.

Сотрудники, обслуживающие пансионат, почти все говорят только по-французски, за исключением нескольких человек. Это заместитель директора Андрей Шестопалов, который работает с русскоязычными пансионерами и Анна Думлер, занимающаяся архивом постояльцев Русского дома. Помимо них, мне удалось познакомиться там ещё с двумя медработниками — Юрием из Ростова-на-Дону и Олегом из Волгограда, которые, приехав из России, устроились сюда на работу. Проведение лечебных процедур, взятие анализов, уколы — вот поле их деятельности.

На территории, в одном здании две церкви: католическая и православная церковь Святого Николая, где службы проводит отец Евгений из собора Александра Невского в Париже.

Административный корпус стоит отдельно от жилых корпусов пансионеров. До 2008 года Земгор один осуществлял руководство Русским домом. Но в 2008 году дом был передан филантропическому обществу, так как были необходимы большие средства на ремонт жилых корпусов пансионеров и закупку современного медицинского оборудования. Теперь президент Земгора входит в Совет директоров Русского дома и таким образом Земгор продолжает осуществлять управление. В этом году в честь 100-летнего юбилея Земгора в пансионате намечается торжественное празднование этого события всеми постояльцами.

При посредничестве представителя администрации мсье Патрика и медработника Юрия, который был переводчиком в беседе с ним, мне удалось познакомиться с несколькими пансионерами, говорящими по-русски, в Розовом доме.

Первый визит был осуществлён к Марии Григорьевне Хрипуновой, живущей на первом этаже. Она встретила нас очень приветливо и рассказала мне о своей жизни и обстоятельствах, которые привели её в этот дом. Сейчас ей 87 лет. Она родилась в Алтайском крае, в деревне Чиканово. Тридцать лет проработала зубным врачом и жила в городе Кургане (Зауралье). У неё была дача с небольшим загородным домом и огородом, на котором она очень любила работать. В 2003 году ей пришлось всё это оставить и приехать в Париж к дочери Ларисе, чтобы ухаживать за ней. Это было необходимо из-за болезни Ларисы, которая жила с семьёй в Париже. Лариса приехала в Париж более 20 лет назад вместе с мужем и сыном. Супруги оба окончили сельскохозяйственную академию в Кургане и поженились ещё до её окончания. У мужа Ларисы Василия Михайловича были рабочие связи с иностранными профессорами. Он не раз приезжал в Париж в командировки. Благодаря связям по работе всей семье удалось переехать в Париж и найти работу. Мария Григорьевна три года ухаживала за дочерью, а потом, после её смерти в 2006 году, через год, уже в 2007 году, она поступила в этот пансион. С тех пор она около 7 лет живёт в нём. Здесь ей очень нравится. У неё телевизор с большим плоским экраном. Есть несколько русских каналов. Это для неё очень важно, так как по-французски она совсем не разговаривает. Когда-то она изучала немецкий язык. Она очень любит сельскохозяйственные работы, любит ухаживать за животными. И здесь у неё есть свои обязанности. На территории пансионата есть вольер, где живёт баран. Кроме того, есть и куры в курятнике. Она их ежедневно кормит. У неё есть свои грядки, на которых она выращивает овощи. Обычно весной ей вскапывают грядки. Особенно хорошо у неё растут помидоры. Она очень довольна, что здесь может заниматься такой работой. На лоджии у неё много цветов, за которыми она сама ухаживает.

Сейчас её внуку уже 27 лет. Но, к сожалению, с ним у неё нет никакого общения. Зять иногда навещает её, но это бывает очень редко.

На диване в комнате, свернувшись клубочком, спал рыжеватый кот Васька. Он живёт у неё и гуляет по территории. Мария Григорьевна его кормит, ухаживает за ним. На территории живёт ещё 12 кошек. Она их тоже регулярно подкармливает во время прогулок.

Так проходят дни, месяцы, годы. В пансионате она не чувствует одиночества, потому что общается с русскоязычными пансионерами. За столом в столовой у неё сидят ещё три женщины, говорящие по-русски. Их зовут Нина, Татьяна и Ксения. Они разговаривают между собой по-русски, а иногда вместе отмечают чей-нибудь день рождения.

К одной из них — Нине Васильевне Хаустовой — я пошла делать следующий визит. Она тоже встретила меня очень радушно, и видно было, что ей хотелось поговорить по-русски с посетительницей из Москвы. Она рассказала, что, несмотря на долгую жизнь в Париже (более 20 лет), переписывается с сестрой мужа Валентиной, которая живёт в Москве. В этот пансион она попала, так же, как и Мария Григорьевна, благодаря переезду своей дочери в Париж. Она, как и Мария Григорьевна — из российской глубинки. Когда она училась в школе до 6-го класса, её родительская семья жила в Воронеже. Затем семья переехала в Челябинск. Её отец был шахтёром. В 1953 году она вместе с четырьмя подругами поехала учиться в Ташкент. Много лет проработала инженером-экономистом в сельском хозяйстве и жила в Кабардино-Балкарии, в пригороде Нальчика — Баксане. У неё двое дочерей и сын, который живёт в Харькове. Сейчас обе дочери живут во Франции.

Старшая дочь Оля училась в Москве и стала преподавателем русского языка. Она и работала в Москве. На работу в командировку из Парижа часто приезжали специалисты из Франции. Двадцать пять лет назад Оле удалось получить приглашение во Францию, и она устроилась на работу по спе-

циальности в Париже. По словам Нины Васильевны, Оля уехала в Париж, забрав двух своих детей, которые жили тогда с отцом (её бывшим мужем) в Санкт-Петербурге. И затем Оля пригласила мать в Париж, чтобы ухаживать за этими детьми — внуками Дианой и Пашей, которым сейчас уже 33 и 32 года.

Младшая дочь Светлана жила в Баксане. Она окончила педучилище и работала в области информационных технологий. Сейчас она тоже живёт во Франции, но в провинции — в деревне Лизисерук. Она вышла замуж за француза Даниэля. Он старше её на 15 лет. Он директор фирмы, и Светлана сейчас переквалифицировалась и стала бухгалтером-экономистом в фирме мужа. В пансионате Нина Васильевна только несколько месяцев. За её уход каждый месяц платят её дочери. Раз в неделю они обязательно приезжают к ней. Ей, так же, как и Марии Григорьевне, нравится в пансионе, потому что за ней очень хороший уход, и её питание в столовой учитывает диету, связанную с диабетом, который у неё уже много лет. Из-за войны на юго-востоке Украины она очень волнуется за сына, который работает инженером в Харькове. Сейчас внучка Диана навещает отца в Санкт-Петербурге. Она хочет переехать к нему и преподавать французский язык.

Начинался обед. Я прошла в столовую. Это зал с большими окнами. На стенах висят стенды с фотографиями, рассказывающие о жизни в пансионате за 60 лет. В начале пятидесятых это был пансионат, где были только русские постояльцы. В 1970-х годах начали появляться французы, так как уже не хватало русских для его заполнения. С годами количество русских уменьшилось, но название пансионата «Русский дом» не изменилось. В 2006 году в доме жило 50 пенсионеров с русскими корнями. Это составляло 25% от общего количества. В 2009 году таких пенсионеров было уже 40 человек, то есть 20%. В 2010 русское население пансиона уменьшилось до 35 человек. А сейчас количество русских — 25 человек. Это 12% от общего числа постояльцев. Теперь большая часть его обитателей — престарелые французы, не имеющие никакого отношения к России.

На стендах можно увидеть фотографию одной из долгожительниц Русского дома — Надежды Нилус-Модзелевской (1892-2000), которая дожила до 108 лет и умерла в 2000 году. Это был один из рекордов долголетия в пансионате.

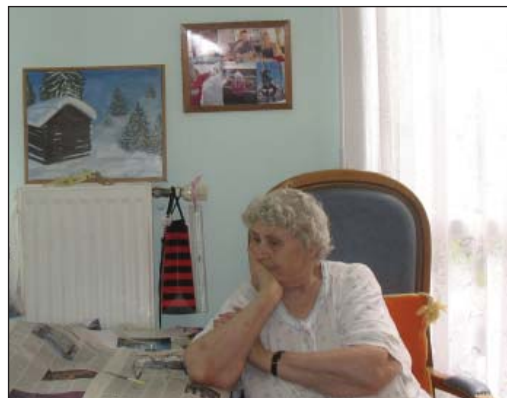
Она была символом России. Её детство и годы учёбы прошли в Харькове. Окончив институт, в котором обучались девушки из высшего общества, она училась в театральной школе и потом переехала в Санкт-Петербург. Надежда интересовалась французской драматургией и хотела стать театральным критиком. Из-за революционных событий всё сложилось по-другому. Пережив много трудностей, разлуку с мужем, Модзелевским, который был адвокатом международного права, она уехала из России в 1921 году. В эмиграции Надежда соединилась со своим мужем в Италии. Затем супруги жили в Монте-Карло, а с 1928 года обосновались во Франции, в Париже, где она занималась общественной деятельностью в русских обществах и играла в любительских спектаклях. Более 10 лет Нилус-Модзелевская прожила в Русском доме в Ганьи под Парижем, а когда он закрылся в конце 1980-х годов, переехала в этот дом.

Русская культурная жизнь в пансионате всегда была очень активна. О ней рассказывают фотографии на стендах, запечатлевшие артистов — русских эмигрантов, приезжавших с русскими концертными программами (романсы, балет, музыка и оперные арии).

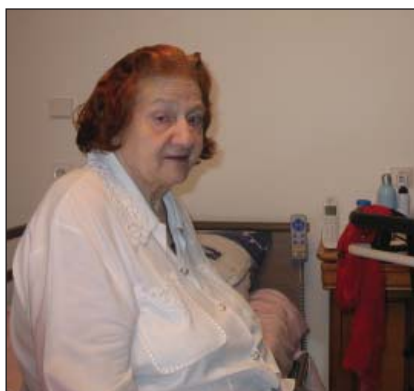
В столовой я познакомилась с ещё одной русской обитательницей, о которой говорила Мария Григорьевна. Это Татьяна Валентиновна Крживоблоцкая. Ей 87 лет, но по её энергичной походке ей никак не дашь этот возраст. Она дочь эмигрантов первой волны из России. Её отец, Валентин Николаевич Браиловский (1895-1967) был белым офицером — штабс-капитаном. Родители, покинув Россию, вначале жили в Болгарии, а затем переехали во Францию, так как Франции требовалась рабочая сила. Отец начал работать в порту Марселя, а затем устроился прицеплять вагоны к поездам на вокзалах. Потом научился ремонтировать автомашины, а затем уже долгое время работал шофёром. Валентин Николаевич не осуществил свою мечту — стать юристом, как его отец, потому что в 1916 году он попал в армию, а затем началась Гражданская война и случилась эмиграция вместе с родителями. Со своей будущей женой он познакомился в Тифлисе во время Гражданской войны, куда он попал вместе со своим полком, будучи москвичом. Его будущая супруга Зинаида Петровна (1896—1956), урождённая Хуциева — наполовину грузинка. Из Марселя супруги Браиловские переехали под Париж, в Ванв, где в 1927 году родилась Татьяна Валентиновна. Она ходила во французскую школу. После войны два года изучала английский язык в Британском институте



*Татьяна
Валентиновна
Крживоблоцкая*



*Мария
Григорьевна
Хрипунова*



*Нина
Васильевна
Хаустова*



*Юрий Васильевич
Титов, художник*



*Памятная доска
павильона
«Долгополов»*



*Олег Игоревич
Кобцев —
посетитель
Русского дома*



Церковь Святого Николая



*Корпус Русского дома. Розовый дом — павильон «Долгополов».
Париж 2009*

и затем 30 лет работала в библиотеке фирмы «Рено», которая была хранилищем документации, адресов и контактов. Её муж, Георгий Михайлович Крживоблоцкий, работал инженером по технике безопасности. До войны он поступал на курсы химии и биологии. Но университет закончить не смог, так как началась война. Георгий Михайлович был из военной семьи. Он приехал во Францию трёхлетним мальчиком вместе с бабушкой, дедушкой и отцом, который был участником Белого движения. Его матери к тому времени уже не было в живых.

Татьяна Валентиновна и её муж много лет жили вдвоём. Детей не было. Муж умер семь лет назад, и через год она переехала в этот пансионат, так как в квартире всё напоминало о нём, и это её всё время волновало.

Дядя Татьяны Валентиновны — брат матери, Виталий Петрович Смирнов, вначале недолго был рабочим, а затем его приняли на работу инженером. Образование он получил ещё в России.

Родители, родственники и муж Татьяны Валентиновны похоронены на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

За шесть лет пребывания в Доме Татьяна Валентиновна привыкла к обстановке и считает тоже, что ей живётся неплохо. Она мне рассказала про русскую пожилую женщину Ксению, сидящую за их столом. Когда-то Ксения была разговорчивой собеседницей, а сейчас уже около двух месяцев почти всё время молчит. Очень редко говорит какие-нибудь фразы, а потом опять замолкает. У окружающих создаётся впечатление, что она живёт в потустороннем мире и постепенно отходит от мирской жизни. Это результат появившихся возрастных отклонений в её психике, связанных с нарушением мозгового кровообращения.

У меня была назначена встреча в пансионате с моим знакомым — Андреем Львовичем Сметанкиным, живущим неподалёку, в небольшом городке Буа-Коломб, под Парижем. Этот пожилой, но очень энергичный человек, которому за 80 лет, приехал на своей машине и поразил меня своим хорошим состоянием. Сейчас он, конечно пенсионер. Работал врачом. Три года (с 1990-го по 1993-й) он был врачом в этом Русском доме. Он занимается разными исследованиями по истории русской эмиграции во Франции. У него есть интересные коллекции. Например, недавно он подарил Дому Русского Зарубежья в Москве большое собрание русских открыток, выпущенных в эмиграции. Он работал в архивах города Монморанси, под Парижем, и составил список всех русских военных, похороненных на кладбище Гроле, в Монморанси, где был Русский дом для военных инвалидов и их жён. Это 264 могилы, захоронения в которые были сделаны за 50 лет во время существования Дома — с 1951-го по 2001 год.

Он рассказал, что его мать, Нина Владимировна Сметанкина-Бурковская (1902—1967) была из военной семьи и вместе с родителями из Крыма попала в Константинополь. Затем семья переехала в Югославию. Мать училась в Белграде. В 1924 году семья матери приехала в Париж. Отец, Сметанкин Леонтий Клементьевич (1896-1983), был простым казаком и воевал в армии Врангеля. Работал таксистом. Мать похоронена на Сен-Женевьев-де-Буа, а отец — на кладбище в Клараре, под Парижем.

Дед Андрея Львовича со стороны матери — Владимир Константинович Бурковский (1863—1941) — был генерал-майором, начальником штаба Ковенской крепости. Он не участвовал в Гражданской войне. Вёл дневник с 1915 по 1941 год, который сохранился. Помимо военного образования, дед имел музыкальное образование. Он хорошо играл на пианино и выступал в казино, как в Париже, так и в некоторых курортных городах Франции, зарабатывая этим на жизнь. Приходилось ему участвовать и в благотворительных спектаклях. Сочинял музыку. К сожалению, сочинения его не сохранились.

Жена Андрея Львовича, Мария Васильевна Сметанкина-Гудкова (1923—2011), тоже имела русское происхождение и работала в Париже врачом. Она родилась в Екатеринославе (ныне Днепрпетровск). Появилась во Франции со своими родителями Гудковыми после Второй мировой войны. Мария Васильевна написала книгу об истории Аньерского прихода под Парижем «Мать Нона». В этой книге она рассказала о русской женщине Лидии Васильевне Волковой (1896-1975), которая в России жила, как и Гудковы, в Екатеринославе, и была знакома с ними. В России Волкова была сестрой милосердия Российского Красного Креста. Покинула страну вместе с Белой армией. Во Франции она появилась в середине 1920-х годов. Была монахиней при Храме Христа Спасителя в Аньере и помогала многим обездоленным, попавшим в сложные обстоятельства. В середине 1940-х,

после войны, мать Нона приютила Гудковых, появившихся во Франции, и помогла им устроиться. Презентация книги состоялась несколько лет назад в Доме Русского Зарубежья.

В пансионате можно навещать знакомых и родственников. Я познакомилась с одним из посетителей — Олегом Игоревичем Кобцевым, который регулярно навещает свою мать Марию Борисовну Кобцеву (урождённую Логодовскую). Она много лет преподавала английский язык для инженеров, работающих в советских и французских институтах, занимающихся космическими исследованиями. Сейчас ей 90 лет. После перенесённого семь лет назад инсульта она не разговаривает. Обычно во время своего визита сын ей что-нибудь читает около получаса. И она понимает прочитанный текст. Так, если бывает что-то смешное, она улыбается. Улыбку можно видеть на её лице и при красивом описании природы. В этот раз сын читал матери воспоминания «Три сестры», автор которых — Иулиания Шмеман. Мария Борисовна живёт в таком состоянии в доме уже семь лет.

Отец Олега Игоревича — Игорь Константинович (1924—1985) — был церковным и общественным деятелем. Он служил при Соборе Александра Невского на рю Дарю в Париже. Дед, Константин Михайлович Кобцев (1896—1966), был в Белой армии поручиком Дроздовского полка. В 1970-х годах в этом Русском доме жил прадед Олега Игоревича — Георгий Кириллович Дяденко. Самому Олегу Игоревичу 57 лет, и он преподаёт геополитику в Американском университете в Париже.

Я не первый раз в этом Русском доме. Последний раз я была здесь осенью 2010 года. Тогда я познакомилась с пансионеркой Ниной Иосифовной Ивановской, которая попала во Францию после войны, в середине 1940-х годов, и являлась представительницей второй волны эмиграции из России.

Она рассказала, что до войны жила в Минске. Её отец был директором автомобильного завода. Он был арестован за растрату. Нина Иосифовна жила с мачехой, когда Минск был оккупирован немцами. Девушка знала немецкий язык. Ей ещё не было и 20 лет, как её угнали в Германию. Вначале она работала несколько недель в немецкой семье, а затем в городе Эрлангер в Баварии, в подразделении концерна «Сименс». Там она познакомилась с будущим мужем Владимиром Трофимовым, который работал в сервисе на принудительных работах. Они поженились и после войны переехали в Париж. Однако муж вскоре бросил её, оставив с двумя маленькими детьми трёх и пяти лет. Во Франции ей удалось выучить французский язык и даже окончить институт. При этом она одна вырастила двоих детей.

В этот же визит (в 2010 году) была встреча и с 94-летней Людмилой Сергеевной Брижатовой (урождённой Яковлевой). Она рассказала о себе, но очень мало, так как просто уже не помнила некоторых моментов из своей прошлой жизни. Её отец и дядя были шофёрами. Она присматривала за детьми в семьях. У неё был муж Виктор Григорьевич Брижатов (1906—1969), который в России учился в Крымском кадетском корпусе. Родившись в Севастополе, он покинул Крым с Белой армией и окончил этот корпус уже в Югославии. Переехал во Францию. В 1930-е годы был одним из руководителей Национальной организации русских разведчиков, которая работала с русской молодёжью. В семье выросло двое сыновей — Владимир и Георгий. Оба они окончили русский Интернат Святого Георгия в Медоне, под Парижем, в 1950-е годы. Есть внучки, но их имена она забыла. И это не вызывало у меня удивления из-за её возраста.

Я поинтересовалась у администрации об этих двух женщинах. Узнала, что они обе живы, но, конечно, за несколько лет стали слабее.

В тот же приезд в 2010 году я познакомилась с Георгием Валериановичем Бибиковым, которому тогда было 90 лет. Он не жил в пансионате, а регулярно приезжал из дома, чтобы навещать своих знакомых постояльцев. Этот посетитель пансионата мне хорошо запомнился своим внешним видом. Высокий пожилой человек в светлом костюме, который хорошо выглядел, несмотря на возраст, и ходил без палки. Годы не сломили его. Он работал во Франции инженером-химиком и был членом правления Земгора до 1980 года. Его родители создали семью в трудные годы Гражданской войны. Они венчались в Киеве. Валериан Николаевич Бибиков (1891-1950) — его отец, окончил Пажеский корпус и был офицером Кавалергардского полка. Мать была урождённая графиня Софья Михайловна Толстая (1895-1979). Вместе с Белой армией они покинули Россию. Их сын родился уже в Швейцарии — в Лозанне. Потом семья переехала во Францию.

Недавно Георгий Валерианович отметил 95-летие и, несмотря на возраст, до сих пор приезжает в пансионат.

Четыре года назад в пансионате ещё была русская библиотека. Сейчас её уже не существует, а книги раздали русским пансионерам, которые читают их, если зрение в старости позволяет им.

Мне было известно, что в пансионате живёт художник Юрий Васильевич Титов, который в 1972 году уехал из СССР жить за границу. Приехав в этот раз, я случайно встретила с ним в коридоре. Узнав, что я интересуюсь русскими пансионерами, он пригласил меня к себе в комнату. В помещении висели копии его работ и многочисленные целлофановые пакеты для упаковки. Хозяин, сидя в кресле, рассказывал о своей судьбе.

Сейчас ему 86 лет, из которых он 42 года, почти что половину жизни, прожил во Франции. Родился он в 1928 году в городке Струнино Владимирской области, недалеко от Москвы. До войны переехал с родителями в Москву. Окончил в Москве школу, затем Архитектурный институт. Был художником-абстракционистом и занимался иконографией. Его картины увозили за границу. Как художник-диссидент он с семьёй вынужден был покинуть СССР. Сначала семья жила около полугода в Риме, а затем все в конце 1972 года переехали в Париж, который всегда притягивал к себе людей искусства. Его семья жила в центре Парижа, и до 1994 года у него была мастерская. Но супруги захотели вернуться обратно в СССР, так как жизнь во Франции у них не сложилась, и всё оказалось совсем не так, как им бы хотелось. Они были разочарованы западным обществом и не смогли интегрироваться во французскую среду. С возвращением обратно в СССР ничего не вышло. Жена Елена ушла из жизни во Франции в 1975 году — через три года после отъезда из СССР.

Когда художник работал во Франции, были очень большие сложности с поисками заказов. Если в СССР у него была репутация художника-гения, то здесь, за границей, к нему относились не как к гению, а просто как к рядовому художнику абстрактного жанра.

Прожив полжизни за границей, художник сказал, что к эмигрантам лучше всего относятся во Франции. Ему удалось получить французскую пенсию, и с ноября 1999 года — почти 15 лет — он живёт в этом старческом доме. Сейчас раз в неделю его навещает приезжающая из Парижа дочь Елена, которой ныне 63 года. Она тоже художница. Елена вышла замуж за француза, и у неё две дочери — его внучки. А иногда приезжает его друг — музыкант Камиль Чалаев, живущий в Париже. У Юрия Васильевича и Камиля много общих интересов. Камиль часто ездит в гости к своему отцу, композитору Ширвани Чалаеву, в Москву, и всегда рассказывает об этих поездках.

Посетив с художником полдник в столовой, я попрощалась со знакомыми постояльцами. Юрий Васильевич проводил меня до ворот, на выход с территории, и попросил меня кланяться Москве. Чувствовалось, что ему было грустно расставаться с проявившей интерес к его судьбе гостьей из далёкой Москвы, где он прожил много лет и куда он так и не смог вернуться.

По дороге на станцию я думала о разных судьбах, о факторах, которые привели людей в этот старческий дом во Франции, об их жизненных радостях в пансионе. И ещё о том, как все они приветливо отнеслись ко мне, рассказывая мне свою не совсем обычную жизнь, о своём отъезде из России к семьям взрослых дочерей, уехавшим во Францию, или при оставлении России родителями в далёкие годы Гражданской войны после революции. Мне удалось также узнать, что иногда получается так, что желанный переезд в другую страну не оправдывает надежд. Зарубежный мир может оказаться не совсем таким, как его представляют до отъезда из России, а потом путь назад может быть уже невозможен по разным причинам.

P.S. Чтобы жить в этом Русском старческом доме, необходимо быть либо гражданином Франции, либо иметь разрешение на постоянное проживание во Франции. Если пенсии не хватает на оплату за уход и питание в пансионате, то необходимо доплачивать ежемесячно за пансионера его детям. Если детей нет или дети не имеют возможности платить, то при наличии справок доплата производит государство. Стоимость нахождения в пансионате в течение одного дня составляет примерно 80-85 евро. Она зависит от корпуса проживания, возраста человека, а также состояния его здоровья. В пансионат можно устроиться на месяц или несколько месяцев для поправки здоровья, а затем вернуться домой.

Критика

Григорий Блехман

Григорий Блехман — поэт, прозаик, публицист, литературный критик. Родился 11 августа 1945 года на Кубани в казачьей станице Бескорбная. Доктор биологических наук, профессор.

Автор пяти сборников — стихотворений, прозы и очерков, вышедших в издательстве «Российский писатель». Член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии им. Н.Гумилёва и премии МГО СПР «Лучшая книга 2012-2014» в номинации «эссе» за книгу «Когда строку диктует чувство»



Земля — это берег надежды...

О сборнике Геннадия ИВАНОВА «ИЗБРАННОЕ»,
Изд. «Белорусский Дом печати», 2015 — 256 с., Минск

Заглавием этой заметки стала строчка одного из стихотворений Геннадия Иванова, которое поэт включил в сборник:

Таинственно и безбрежно
Шумит мировой океан.
Земля — это берег надежды,
И он неслучайно нам дан.

Мы здесь наполняемся верой,
Мы здесь открываем исток.
И сущим живя, не химерой, —
Ложимся лицом на восток.

Ложимся, закрыв свои вежды.
Проснёмся в хорах Отца.
Земля — это берег надежды.
Надейся и верь до конца...

Когда-то мастер лаконичных определений Вадим Кожинов сказал, что «произведение писателя — это рентген его души». И всякий раз, когда читаю очередной поэтический цикл Геннадия Иванова или перечитываю его сборники, вспоминаю стихотворение, которым начал заметку и приведённые слова Кожинова. Потому что для меня «рентген души» этого поэта — в его строчках: «Земля — это берег надежды. / Надейся и верь до конца...».

В одном из своих ранних стихотворений, размышляя на тему вечную, он написал:

...Надо жить, хотя так трудно верить
В лучший смысл земного бытия,
Надо приходить на этот берег,
Чтоб тоска развеялась твоя.

Ведь уже не раз такое было:
Так же сердце от неверья стыло,
А потом, откуда ни возьмись,
Начиналась, продолжалась жизнь.

Каждый из нас время от времени сталкивается с таким «откуда ни возьмись», которое вдруг может развернуть твою жизнь, в очередной раз показывая её многообразие и непредсказуемость. Поэтому, когда читаешь, такое ощущение, будто сам написал.

Иногда бывает — обычный эпизод: ты плывёшь на корабле или теплоходе, смотришь на воду, о чём-то думаешь. Потом забываешь об этом. А у поэта в тем временем возникают ассоциации и образы, которые обладают магией притяжения, и не отпускают его, пока не выльются в слова, которые потом не забудешь:

Когда погас на горизонте свет
И от миров повеяло кочевьем,
Я всё глядел на уходящий след
При свете кормового освещенья.

И думал я, что жизнь, как этот след,
Недолго вьётся, мчится и играет,
Что чуть подальше — и его уж нет,
И он в волнах бесследно исчезает.

Но всё хотелось на него смотреть...
Работал винт, поток воды толкая,
И нёсся след — исчезнуть, умереть,
И смысл, и очертания теряя.

Если человек рождён поэтом, он — философ, и многое услышанное или увиденное трансформируется его сознанием в объединяющее начало, как, например, возникшее вроде бы из мимолётной фразы четверостишие:

Говорят, что ласточки — из рая.
А цветы? А дождика вода?
Всё из рая то, что, умирая
Нам хотелось видеть бы всегда.

Просто, но КАК ёмко в этом кратком изречении сказано. Такая простота приходит не сразу, а через многие размышления и пережитое. А умение сказать ТАК, конечно, даётся природой.

Для меня это четверостишие связано ещё и с такими строчками Геннадия Иванова:

Торопиться неохота,
Жизнь так хороша!
Поле, речка и болото —
Любит их душа.

Любит ветер, дождь и вьюгу,
И тепло в избе...
И лететь не надо к югу,
Как скворцу тебе.

Стихотворение в очередной раз показывает насколько поэт отличается от простого смертного: рассказывая о себе, он невольно рассказывает и о нас. Ведь, когда на душе хорошо, то тебе хорошо везде и «неохота» что-то менять. А ещё хочешь поделиться этим состоянием и рассказать всем и каждому о том, как после пережитого возникает вновь чувство, которое звучит просто и точно: «И снова — жизнь!»:

Белые хлопья каштанов цветущих
С розовым цветом внутри...
Мыслей не надо угрюмых, гнетущих.
Всё расцветает — смотри!

И одуванчиков жёлтые краски,
Зелень и листьев, и трав...
Все они сбросили снежные маски.
Всякий ликующий — прав!

Было безумно, но мы дотерпели.
Вот и наградою нам
Тонко, свирелисто птицы запели!
Сердце прильнуло к цветам!

Наша весна — это Божия милость.
Дивно в родной стороне.
Бог не оставил — и жизнь заструилась
В реках, полях и во мне...

Казалось бы, ЧТО ещё надо, чтобы жить в гармонии с природой, частью которой являешься и ты. Но, почему-то мы развиваемся так, что всё больше нарушаем её законы, не задумываясь насколько неправомочны это делать. Ведь, жизнь тебе дарована свыше, поэтому пройди свой путь земной достойно и благодарно.

И поскольку поэты — «люди без кожи», они особенно чутки к происходящему:

Мы люди последних времён.
Нам выпала доля такая:
Земли и воды слышать стон,
К ним собственный стон прибавляя.

Мы люди последних времён.
Опоры надёжные сбиты,
И катится всё под уклон.
Помогут ли чьи-то молитвы?

Помогут ли наши труды?
Задумано — так и случится:
Рассеются наши следы,
И только дымок будет виться...

Галактики гибнут, а тут
Какая-то мелкая сошка —
Земля; этот замысел крут,
И ждать нам осталось немножко.

Но замысел есть и другой:
Чтоб мы до последнего вздоха
Любили бы берег земной —
Неважно, какая эпоха.

Любили бы лист золотой,
Любили бы снег над рекой,
Полей плодородных покой,
Людей, с их великой тоской...

Когда читаю стихотворения Геннадия Иванова, вижу что каждое из них не только отражает время, в какое написано, но и уходит во вневременное пространство, благодаря глубине философских размышлений. Не случайно этого поэта изначально отметили такие известные и уважаемые в литературе люди как Владимир Соколов, Василий Казанцев, Владимир Цыбин... И не случайно его строчки востребованы не только сверстниками и теми, кто старше, но и ровесниками наших детей. А это показатель, к которому стремится и о каком мечтает любой поэт или писатель.

И объясняется эта востребованность тем, что его поэзия даже о самом горьком светла. Сколько ни пишет, свет в его строчках не меркнет. Что-то, кроме природного склада, помогает этому поэту. Может, отчасти то, о чём он сказал в одном из стихотворений:

Выхожу из храма. Лето под парами.
Ласточки мелькают и звенят: фьюить!
После полной службы в православном храме
Умереть не страшно и не страшно жить.

Всё понятно-ясно: что, куда, откуда,
Как нам жить сегодня, завтра и всегда
Если б мы так жили — вот уж было б чудо,
Не было бы страха Страшного Суда.

Я пошёл за город, где цветы и речка.
Всё прекрасно, даже этот нежный слизень!
Нагревает воду солнечная печка,
Торжествует милая временная жизнь.

Думаю, именно такая «питательная среда» даёт просветлённость его душе и позволяет Геннадию Иванову в любых обстоятельствах сохранять присутствие духа, что и отражается на поэтической интонации каждого из стихотворений.

Стихотворные строчки одного из давно любимых мною поэтов могу приводить и дальше, поскольку остановиться трудно. Но, уверен, лучше каждому, кто этого ещё не сделал, взять его сборник и остаться с поэтом наедине.

Думаю, никто не пожалеет.



Критика

Людмила Поликарпова

Людмила Павловна Поликарпова – ученица Юрия Куранова. Занималась изданием книги о Куранове «У слова есть не только будний смысл» и книги Юрия Куранова «Размышления после крещения»; автор книги прозы и стихов «В созвучии с невидимой лирой».

У слова есть не только будний смысл

У слова есть не только будний смысл,
Но есть и горный зов Святого Духа,
Его лишь целомудрствующим слухом
Вкушает целомудренная мысль.

Юрий Куранов

Удивительная особенность творчества Юрия Куранова — вызывать отклик в душе читателя, пробуждая тающиеся в обыденном состоянии в её глубинах чувства светлого, радостного восприятия жизни. Это происходит благодаря простоте восприятия его произведений, ненавязчиво вовлекающей читателя в сложный духовный процесс, приносящий, наряду с наслаждением красотой и чистотой русского языка и возвышенностью мыслей, пробуждение и очищение собственной души читателя. Такое благотворное воздействие возможно потому, что за кажущейся простотой восприятия творчества стоит *целостность* такого явления, как *Юрий Куранов* — явления общечеловеческого значения, с особенной его значимостью для России. Корни этой целостности — в религиозном мировоззрении Юрия Николаевича Куранова.

Если бы я впервые увидела и услышала Юрия Куранова на Днях славянской письменности 28 мая 2001 года, то у меня бы непременно появилось горячее желание познакомиться с этим человеком и его творчеством. Будучи же ученицей его литературной студии «Дуновение дню», я в течение дарованного мне года (неизвестно за какие прошлые заслуги или авансом за какие будущие) спешила на встречу с этим, так много значащим для меня и других студийцев, человеком, проводя всю неделю в ожидании следующей встречи и подготовке своих робких литературных проб. В последнее время Юрию Николаевичу с его большим горлом наше счастье слушать его стоило большого напряжения. В этот раз, когда он начал говорить, сердце защемило, но его выступление было столь вдохновенным и захватывающим, что всё во мне превратилось в восторженное внимание и (когда возникла мысль о возможной утрате столь ценных для нас всех по красоте и смыслу слов и мыслей) старание что-то записать между строчек программки, за неимением чистого листа.

Даже по тем фрагментам, которые удалось зафиксировать, можно увидеть, что в этом выступлении Юрий Куранов хотел донести до наших сердец то главное, что запечатлела его душа за прожитую жизнь.

Вначале Юрий Куранов говорил о своём творческом и духовном пути, потом о путях человечества: о том, как оно отходило от Бога и в чём причины такого губительного движения.

«Человек был поставлен в центр. Смысл человеческой жизни стал неправильно пониматься. (Смерть — самая основная реальность, сколько бы человек не выпендривался, которой обесмысливается земная жизнь.) Вперёд поставлена ежеминутная жизнь — спасение игнорируется». В результате — «Выхолощенный гуманизм. Мир из организма превращается в механизм... Без идеи Бога люди дойдут до антропофагии. Чистый гуманизм не спасёт. Духовные ценности не похожи на гуманистические...»

Куранов привёл стихи Тютчева, написанные более ста лет назад, но не утратившие своей актуальности:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
 И человек отчаянно тоскует...
 Он к свету рвется из ночной тени
 И, свет обретши, ропщет и бунтует.
 Безверием палим и иссушен,
 Невыносимое он днесь выносит...
 И сознает свою погибель он,
 И жаждет веры — но о ней не просит...
 Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
 Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
 «Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
 Приди на помощь моему неверью!..»

«Народ предан элитами. Этого не могло быть, если бы было христианское мировоззрение».

Далее говорилось о путях спасения: *«Сущность христианства — соединиться с Богом... Даже христианские заповеди — средство, цель — приобрести благодать Божью... Сами добродетели не гарантия принятия (не юридический подход). Нужно приобрести сродные Христу качества... Рождение духовной жизни не от знания, а от ведения своей болезни. Надо блюсти заповеди, увидеть свою болезнь, свою самодостаточность (у такого не может открыться духовное зрение). Я — духовный паралитик, надежда только на Тебя, Бог. Приходит смирение. Мало уверовать — в духовной жизни масса камней. Можно ходить в церковь, но оставаться духовным заморышем... Должен быть постепенный духовный рост. Должно быть постоянство (этого роста)».*

По окончании чтений, которые длились несколько часов, ничто в Юрие Николаевиче не говорило о немощности, болезненности, усталости. Руку пожимал поэт *«со светящимися глазами, в каждой зрачке (которого) сияла радуга»* («Озарение радугой»), казалось, прощавшийся до следующей встречи в субботу. Следующее свидание-прощание было мистическим, на грани сна и пробуждения в ночь на 11 июня, когда душа Юрия Куранова покидала этот бранный мир.

Путь постоянного духовного роста Юрия Куранова — путь спасения жизни перед лицом искушения смертью в мире, казалось бы, почти не способном противостоять омертвлению и механистичности, можно проследить по его творчеству.

Призвание поэта Юрий Куранов почувствовал рано. Уже в стихах 19-ти, 22-х-летнего студента видна рука, в смысле мастерства, зрелого автора, но чувствуется душа непосредственная, юная и до прозрачности искренняя.

Уже давно гроза прошла,
 И на ветрах обсохли клены,
 Но в небе, ясном добела,
 Все бродят запахи озона.

В густом свечении листвы,
 На чердаке и на повети
 Как будто запах синевы
 Разлит во всем июньском лете.

Слегка хмелеет голова,
 В глазах хандры и скуки убыль,
 И обнимает синева
 Каким-то сладким звоном губы.

И в ликование птичьих слов,
 И в сквозняке чердачных стонов
 Ты слышишь: небо до краев
 Налито солнечным озоном.

Твардовский, назвав манеру молодого автора «блоковщиной», не принял его стихи в печать, видимо, в силу их юной дерзновенности, устремлённой вширь и ввысь от приземляющей и выравнивающей направленности принятых установок.

Миниатюры Юрия Куранова были напечатаны, и обезжизненными однообразием трудовых будней соотечественниками восприняты как родниковые струи. Он получает сотни писем от благодарных читателей. Для некоторых его произведения стали судьбоносными. В одном из писем — признательность за спасение от самоубийства.

Желание Куранова уловить за внешними проявлениями некий скрытый смысл передаётся читателю. Сквозь обыденность загадочно просвечивает нечто чудесное. Природа, как младенец, доверчиво открывается для общения. С цветком, ручейком, зарницей, облаком, дождём можно вступать в диалог и многое узнавать о природе и о себе.

«Маленький трепетный цветок притаился где-то в гуще трав и, уже охваченный вечернею тьмой, трепещет перед надвигающимся мраком ночи. Все существо его напряжено, он живет, он лелеет в себе жизнь и за нее трепещет. В нем проснулись необычайные силы, в этом крошечном венчике лепестков, и светит сквозь сумерки — поистине неугасимый светильник...

В мире внимательного общения трав друг с другом, и в то же время с человеком, высвечивалась и чуть-чуть обнажалась с деликатностью необычайной аналогия: жизнь — всюду жизнь, и вся она держится на трепетности, на священном чувстве любви».

«Цветы... просто наслаждаются тем, что живут, что видят свет, и свет для них — любовь...» («Озарение радугой»)

А, может, цветы живут и для того, чтобы сердце человека отозвалось на их красоту, и душа, ожив и осознав своё существование, стала способной услышать *«горный зов»*. Высшие смыслы, возможно, специально от человека сокрыты, чтобы он духовно рос для их осознания.

На одной из студийных встреч Юрий Николаевич рассказал о главном событии своей жизни: божественном чуде исцеления. Это произошло, когда он был уже известным в СССР писателем; и в зарубежье его проза переводилась. Пришли испытания социальной востребованностью и славой: поездки по стране и за границу, многочисленные встречи, зачастую заканчивающиеся застольями. Будучи человеком наблюдательным и честным, Куранов видел пороки общественной жизни и не отмалчивался. В результате стал восприниматься партийным руководством как невписывающийся в ряд послушной посредственности. Он и сам ищет уединения, и находит его в живописном месте псковского края — селе Глубоком у озера Глубокое.

«Я прожил замечательные дни и ночи, восходы и рассветы на берегу озера Глубокое, которые протекали под пение ласточек, цветение клёнов и под музыку Шопена да Вивальди».

Но совсем отойти от общественной деятельности не получалось. Разочарования в советской действительности накапливались. Регулярные попытки снятия нервного напряжения с помощью алкоголя только всё усугубляли.

Спасение пришло, когда, дойдя до отчаяния и осознав собственную немощь, он взмолился: «Господи, помоги, гибну...»

Откликом на его молитву явилось чудо: пришло не только освобождение от самой для него разрушительной страсти: алкогольной зависимости, но и духовное возрождение, изменение мировоззрения. Любовное созерцание природы было свойственно Юрию Куранову с детства. Но с верой в Бога стали открываться глубины понимания. Ум пришёл в согласие с сердцем. *«Теперь я знаю, кого благодарил моё сердце, когда я шагал по земле. Я благодарил Того, Кто всё это создал и дал мне безвозмездно всё это вместе с моей жизнью».*

«Для меня теперь все по-иному. И музыка звучнее, и солнце ярче, ветер объемнее, дыхание глубже... И ничего нет на свете замечательнее этого детского ощущения, вновь для себя открытого: как прекрасен, удивителен, добр и всемогущ Бог».

После обретения веры в Бога были написаны «Размышления после крещения» (1978 — 1980), роман «Дело генерала Раевского» и духовные стихотворения.

«Поэт — это человек, всей своей сутью живущий в возвышенной и чистой красоте... в нём есть негибимый и даже не от него зависящий стержень», — пишет Куранов в эссе «Так что же такое целомудрие?». *«Если в творчестве человек хочет уподобиться Богу, он обязан творить без всякой бытовой и материальной, без какой бы то ни было корыстной причины. Единственным побуждением для творчества должна быть Любовь, прежде всего любовь к Богу и далее — любовь к Его творению, к миру Божьему»* («Размышления после крещения»).

Сквозь свет листвы сияет беглый отсвет,
 Кружась, ложатся тени вдоль шагов,
 Как все вокруг доверчиво и просто,
 Какая тишь и бережность кругом.
 Как нежно сквозь прозрачный отсвет чащи
 Вздыхают и смиряются леса.
 Как трепетна, грустна и преходяща
 Земная мимолетная краса.

Земная красота преходяща, но любовь и благодарность, рождённые в сердце её созерцанием, остаются.

За гул дождей, за шелест листопадов,
 за говор трав, за каждую зарю –
 как за бессмертную и вещую награду
 Создателя до слёз благодарю.

И осень жизни Юрий Куранов принимает с благодарностью.

А в небе утреннем такая красота,
 Такие облака, такая чуткость света!
 Настала осень. Отшумело лето,
 Как отшумели зрелые года.
 Нам осень дал Господь, как синий зов,
 В надмирные бесплотные просторы,
 И листьев опадающих узоры,
 Как покаяньям прошлого покров.

«Как мудро Бог преображает время внутри человека. В неверующем с годами усиливается тоска по прошлому, ценность прошлого все более возрастает... Верующий переполнен настоящим и весь устремлен в будущее, оно все более и более наполняется для него красотой. Между тем настоящее все изобильнее насыщается значением, а прошлое — смыслом.

Для верующего будущее все необъятнее развертывается как пространство, в котором человек сольется с Богом, оно все более празднично» («Размышления после крещения»).

Большое, во всём его величии, можно разглядеть только на расстоянии. Величие Куранова, человека столь мощно и многогранно одарённого, можно было почувствовать и вблизи. И не из-за своей малости (в уничижительном смысле) рядом с ним — Юрий Николаевич не был высокомерен. В нём органично сочетались мудрость и молодой задор, как будто *«из-под самого (его) сердца поднималась весёлая и несколько отчаянная прохлада молодости»* («Озарение радугой»). Чтобы почувствовать свою малость в перспективе своего развития, надо было прикоснуться к радушно-расширяющейся радуге его боговдохновенного величия. Яркое сияние многоцветной ауры его талантов не могло укрыться за его скромной интеллигентностью и христианской кротостью (говорящей не о робости, а о внутренней силе) — оно было доступно для чуткого сердца и от него можно было возжечь собственную радугу.

«Душа человеческая должна быть подобна лампаде. Скромна, чутка, светоносна и, неизреченной красотой сияя, всё освещать вокруг очищающим светом, светом, призывающим к смирению и непорочности. Но главное — она должна гореть перед Ликом Бога.

Она должна гореть до последней возможности и у всякого близкого вызывать возвышенное состояние, привлекающее к молитве». («Размышления после крещения»)

Душа Юрия Куранова горела здесь, на Земле, для людей до последней возможности. Его творчество — светильник, освещающий путь к горним высям.

Бережок

Александр Мамнев

Александр Мамнев родился в 1954 году в Калининграде. Здесь же окончил школу и Калининградское Высшее Инженерное Морское училище. После краха, к которому он не причастен, рыбной отрасли России уволился в должности старшего механика. Художественную ликвидацию безграмотности проходил в Художественной школе и студиях Калининграда. Параллельно основной работе сотрудничал художником-оформителем, публиковал карикатуры в газетах «Калининградский комсомолец», «Маяк», «Калининградская правда», иллюстрировал журналы «Балтийский рыбовод», «Бобренок», в которых публиковались его рассказы и сказки. Постепенно творчество стало главным делом. Последние 15 лет занимается изготовлением и реставрацией витражей из цветного стекла, основав витражную мастерскую, подготовил несколько витражных мастеров из числа студентов Калининградского художественного училища. Одновременно он ведет детскую изостудию. Член творческого объединения «Абрис», два года был его председателем. Провел три персональные выставки живописи и графики, постоянный участник выставок ТО «Абрис».

Как Турунька-Бурунька на охоту ходила

Жила, была Турунька -Бурунька. Собралась она как-то на охоту. Взяла бындель, позвала Вихляку и пошла. Идет Турунька-Бурунька по тропинке. Вихляка скакунчиков по траве гоняет.

Навстречу ей Драбарь с Драбарихой. Ой,- говорит Турунька- Бурунька, — сколько не видела. А как маняшки ваши? А что посохло? А что помокло? То, да се. И вам того же. И дальше пошла.

Навстречу ей Крамарь с Крамарихой. Ой,- говорит Турунька-Бурунька, — сколько не видела. А как маляшки ваши? А что посохло? А что помокло? То, да се. И вам того же. И дальше пошла.

Навстречу ей Ласкарь с Ласкарихой. Ой,- говорит Турунька- Бурунька, — сколько не видела. А как малюшки ваши? А что посохло? А что помокло? То, да се. И вам того же. И дальше пошла.

Пришла Турунька-Бурунька на охоту. Бындель достала, да к-а-ак дыкнет, аж Вихляка присел. — А ну,- кричит Турунька-Бурунька, — кто живой: выходи!

Выскочил один только Холодырчик. Испугался. — А нету никого,- говорит, — один я остался. Холодно, все на юг пошли. И Драбарь с Драбарихой, и Крамарь с Крамарихой, и Ласкарь с Ласкарихой. Глянула Турунька -Бурунька, кругом снег лежит. — Ладно,- говорит Турунька-Бурунька, — пойдем ко мне, Холодырчик, пироги с черникой есть.

Пришла Турунька-Бурунька с Холодырчиком домой, меня позвали. Напекли пирогов. Черника-то тем летом что-то и не родилась, а муку Холодырчик еще прошлым разом поел. Сидим-пируем. Сказки рассказываем. За окном зной-суховей, а нам хорошо.

Вилка и Ложка

Давным-давно, когда устал Человек воевать, взял он свой старый Меч и пришел в кузницу. Выковал Кузнец из Меча Человеку Вилку, Ложку и Ножик. С тех пор всегда они с Человеком. Все у них спорится. Если что жидкое зачерпнуть — Ложка, если твердое подцепить — Вилка, как отрезать — Ножик. Друг без дружки никуда. Вместе трудятся за столом, вместе моются, вместе сохнут — отдыхают. Много времени так было.

Сварил как- то Человек кашу гречневую, рассыпчатую, зернышко к зернышку, да с кусочками мяса тушеного. Маслица сверху сливочного положил. Позвал Вилку с Ложкой и Ножик. Ножик посмотрел: — Мне пока делать нечего, — и задремал. А Вилка с Ложкой заспорили, кому Человеку помогать. Вилка: — Мне, — говорит, — мясо там!

Ложка его отталкивает, кричит: — Мне, потому что каша!

Как начали ругаться. Кипит в них кровь старого меча. Маслице пробовало их помирить, не успело — подтаяло, больно жарко спорили Вилка с Ложкой. Тут еще Солонка с Перечницей

подключились. Перечница за Ложку перчика в спор подсыпает, Солонка за Вилку подсаливает. Хорошо — Ножик не проснулся. Нашумели-назвенели, насолили, наперчили, каша остыла. Рассердился Человек, кладет теперь на столе их порознь. Вилку с одной стороны Тарелки, Ложку с другой. А как каша с мясом, то кто первым под руку попадет, тем и ест, пока не остыло.

Самый- самый...

Заспорили как- то братья пальчики, кто из них — самый, самый...!

Большой пальчик говорит: — Я — самый, самый! Я толще всех и сильнее и зовут меня — Большой!

— Нет,- говорит Указательный пальчик, — самый-самый — это я! Я всегда показываю, куда нужно идти и еще я умею лучше всех выковыривать что-нибудь!

Тут встречает Средний пальчик: — Самый- самый, конечно, я! Ведь я длиннее всех, всегда по середине и без меня никуда!

Не утерпел Безымянный пальчик: — Только посмотрите на меня, и вы сами поймете, кто самый-самый! Когда придет день свадьбы, на меня оденут красивое золотое колечко!

И только последний братик — маленький Мизинец скромно молчал. Стыдно было ему за братьев.

Разгорячились братья пальчики, сцепились в споре так, что о деле забыли. А дело было в том, что нужно было держаться за перильца, пока Мальчик переходил по узкому мостику через речку. Поскользнулся Мальчик и упал в воду. Подхватила его быстрая река, понесла. Плывет Мальчик, захлебывается.

Стоит на берегу дубок, веточку в воду свесил. Большой пальчик кричит: — Вот я сейчас схвачусь самый первый! — Растолкал всех. Схватился за веточку, да не удержался. Несет речка Мальчика дальше.

Стоит на берегу кленок, веточку в воду свесил. Указательный пальчик показывает: — Вот как надо! — Схватился за веточку, да не удержался. Шире, глубже речка становится.

Стоит на берегу березка, веточку в воду свесила. Средний пальчик вперед всех выскочил: — Все теперь увидите, кто самый-самый! Схватился за веточку, да не удержался. А речка бурлит, водовороты крутит.

Стоит на берегу липка, веточку в воду свесила. Безымянный пальчик красуется: — Такого вы еще не видели! — Схватился за веточку, да не удержался. Впереди на речке омут-яма.

Стоит на берегу ивушка, веточку в воду свесила. Только и успел самым кончиком Мизинец до веточки дотянуться, ухватился-удержаться не может. Кричит Мизинец: — Помогайте, братья! — Спорить некогда! Не то сами пропадем и Мальчика нашего погубим!

Схватились все пальчики за веточку и выбрались на берег.

С тех пор братья пальчики никогда не спорили. Все делали вместе, и все у них ладилось. А когда вдруг кто хотел обидеть их Мальчика, то в такой кулачок сжимались, что разбегались всякие обидчики. Пошла о них слава: — Эти братья — самые, самые!



Наши друзья

Советуем почитать:

Дальневосточный журнал «Сихотэ-Алинь»: haos216@mail.ru Почтовый адрес: 690003, Владивосток, ул. Авраменко, д.17, кв. 65

Литературный журнал «Наш современник»: nash-sovremennik.ru

Журнал «Великоросс»: http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_29/article_1253/

Журнал «Экоград» Москва: <http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/zhurnal-berega-pobedil-v-konkurse-zhurnalistikogo-masterstva-slava-rossii>

Виртуальный салон искусств «Преголя-арт»: <http://pregolia-art.com>

Международный пресс-клуб: <http://www.pr-club.com/>

Русский народный дом: <http://rusnardom.ru/russkaya-literatura/poeziya/intervyu-yunnyi-morits/>

Журнал «Воин России»: voin-rossii.ru

Журнал «Новая Немига литературная»

Портал Переправа <http://pereprava.org/>

Общество Русско-Американской дружбы «Добрая Воля» в Вашингтоне www.raga.org

Русская народная линия <http://www.rusklina.ru>

Журнал «Подъем» — <http://www.podiem.vsi.ru>

О приобретении и подписке на журнал

Дорогие друзья!

Помощь журналу, приобретение и подписка на журнал «Берега» осуществляется перечислением на карточку Сбербанка Маэстро на счет: **63900220 9003003076**.

Стоимость одного журнала — 400 руб.

Подписка на год — 2400 рублей.

Свой почтовый адрес после оплаты
выслать Лидии Владимировне Довыденко:

dovidenko_L@mail.ru